

# ДЖЕФФРИ ЕВГЕНИДЕС

## девственницы-самоубийцы

АМФОРА-ИЗДАНИЯ



## Annotation

«Девственницы-самоубийцы» — первый роман современного американского писателя Джеки Евгенидеса. В нем рассказывается история о пяти юных сестрах Лисbon, которые сложностям и несправедливости этой жизни предпочли бегство в небытие. Эта книга немедленно завоевала мировое признание. Искренне и глубоко она повествует о любви и страхе, памяти и одиночестве.

---

- [Джеки Евгенидес](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)

- [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
  - [35](#)
  - [36](#)
  - [37](#)
  - [38](#)
  - [39](#)
  - [40](#)
  - [41](#)
  - [42](#)
  - [43](#)
  - [44](#)
  - [45](#)
  - [46](#)
  - [47](#)
  - [48](#)
  - [49](#)
  - [50](#)
  - [51](#)
-

**Джеффри Евгенидес**  
**Девственницы-самоубийцы**

*Гусу и Ванде*

# 1

В то утро, когда пришел черед последней из сестер Лисбон (на этот раз Мэри, которая, как и Тереза, приняла снотворное) наложить на себя руки, в доме появились два судебных медика — к тому времени они совершенно точно знали, где здесь хранятся ножи, где установлена газовая плита с духовкой и на какую из балок в подвале можно прицепить петлю. Они выскочили из фургона неотложки, двигаясь, как им казалось, слишком медленно, и тот, что был потолще, еле слышно выдохнул: «Да, ребята, это вам не телевидение. Быстрее мы не умеем». Он тащил на себе тяжеленный аппарат искусственного дыхания и чемоданчик с кардиологическим оборудованием — мимо чудовищно разросшихся кустов, прямо по запущенной лужайке, что была безупречно ухожена всего тринадцать месяцев тому назад, когда эта прискорбная история только началась.

Первой была Сесилия, младшая из сестер, тринадцати лет, — подражая стойкам, она вскрыла себе вены на запястьях, пока принимала ванну. Когда ее нашли лежащей в мутно-розовой воде, с желтыми белками приоткрытых глаз, как у одержимой, и детским тельцем, окутанным запахом взрослой женщины, медики были так напуганы спокойствием ее черт, что поначалу просто стояли вокруг, словно завороженные. Затем, впрочем, в ванную с воплем вбежала миссис Лисбон, и жестокая реальность вернулась на место — с кровью на банном коврике и мраморными разводами на поверхности воды в унитазе, причиненными утонувшим там бритвенным лезвием мистера Лисбона. Медики выудили Сесилию из теплой воды, поскольку та усиливала кровотечение, и наложили на руки девочки жгуты. Мокрые пряди волос рассыпались по ее спине, а ноги и руки уже приобрели голубоватый оттенок. Она не произнесла ни слова, но, расцепив ей пальцы, медики обнаружили в них глянцевую пластиковую картинку с изображением Девы Марии, которую Сесилия прижимала к едва набухшей груди.

Это случилось летом, в сезон размножения мошек, рыбьего лакомства; да, ежегодно в июне наш город покрывается сплошным слоем этих мелких насекомых, живущих всего один день. Поднявшись плотными облаками с водорослей загрязненного озера, они закрывают собою свет, налипая на оконные стекла, выстилают живым ковром автомобили и уличные фонари, обволакивают доски муниципальной пристани и гирляндами свисают с такелажа парусных яхт, так что яркие краски

обираются вездесущим грязно-коричневым налетом легкого, чуть шевелящегося мусора. Миссис Шир, живущая дальше по улице, сообщила нам, что видела Сесилию за день до попытки самоубийства. Девочка стояла у обочины в своем всегдашнем сшитом по старинной моде подвенечном платье с обрезанным подолом и пристально разглядывала припаркованный рядом автомобиль марки «тандерберд» в доспехах из мушиных телец. «Ты бы лучше сходила за метлой, дорогуша», — посоветовала миссис Шир. Сесилия, однако, просто перевела на соседку пристальный, невидящий взгляд спиритки. «Они все мертвые, — заявила она. — Они живут всего двадцать четыре часа. Выходят из яиц, совокупляются и отдают концы. У них даже нет времени перекусить». С этими словами она сунула палец в пенистый слой роящихся на стекле мошек и вывела свои инициалы: «С. Л.»

Мы попытались разложить фотографии в хронологическом порядке, хотя из-за давности событий сделать это оказалось непросто. Качество иных из них оставляет желать лучшего, но, тем не менее, они о многом способны рассказать. Экспонат № 1 представляет собой снимок дома Лисбонов, сделанный незадолго до предпринятой Сесилией попытки покончить с собой. Автор фотографии — агент по продаже недвижимости мисс Кармина д'Анжело, которую мистер Лисbon нанял, намереваясь продать дом, давно ставший тесным для его разросшегося семейства. Как видно на карточке, крытая шифером крыша еще не потеряла ни плитки, крыльце еще можно различить за кустами, а стекла, не заклеенные полосками липкой ленты, еще целы. Уютный пригородный дом. В окне второго этажа виднеется размытое светлое пятно, в котором миссис Лисбон признала одну из своих дочерей, Мэри. «Она то и дело сушила и укладывала волосы, потому что считала их слишком тонкими и слабыми», — спустя годы заявит миссис Лисбон, вспоминая о внешности, которой обладала ее дочь в период недолгого пребывания на этой земле. На фото Мэри запечатлена в процессе укладки волос феном. Кажется, будто ее голова охвачена пламенем, но это всего только игра света. Было 13 июня, почти тридцать градусов тепла, и в безоблачном небе стояло солнце.

\* \* \*

Удовлетворившись тем, что кровь уже не текла струйкой, а едва капала, медики уложили Сесилию на носилки и понесли прочь из дома, к фургону у подъездной дорожки. Она была похожа на маленькую Клеопатру в царском паланкине. Первым мы увидели выход веселого санитара с

усищами Уайта Эрпа<sup>[1]</sup> (тот, кого по ходу трагедии в доме Лисбонов мы видели еще не раз и впоследствии окрестили Шерифом), а за ним появился и толстяк; он цепко сжимал ручки носилок и, чинно вышагивая по газону, так вглядывался в свои полицейские ботинки, будто выискивал собачьи какашки, — впрочем, позднее, поближе ознакомившись с действием медицинских приборов, мы поняли, что он не сводил глаз с индикатора кровяного давления. Потея и спотыкаясь, они приблизились к дрожащему, поблескивавшему на солнце фургону. Толстый санитар наткнулся на одинокие воротца для игры в крикет и, обойдя их, в отместку лягнул препятствие. Воротца подпрыгнули, разбросав землю веером, и со стуком упали на дорожку. В этот самый момент миссис Лисбон, за которой волочилась фланелевая ночная рубашка Сесилии, выбежала на крыльцо с долгим истошным криком, от которого само время прекратило бег. Все четыре фигуры застыли живописной группой между размытыми, растекшимися по небу деревьями и пылающей, словно на передержанном фотоснимке, травой: два смиренных раба, приносящих жертву на алтарь (поднимающих носилки к зеву фургона), вознесшая факел жрица (машущая фланелевой рубашкой) и полуживая юная дева в попытке подняться на локти, с неземной улыбкой на бескровных губах.

Миссис Лисбон забралась в фургон «скорой помощи», чтобы быть поближе к носилкам, тогда как мистер Лисбон последовал за ним в семейном авто при соблюдении всех ограничений скорости. Двое из их дочерей были в отъезде: Тереза — на собрании школьного научного общества в Питтсбурге, а Бонни — в летнем лагере музыкальной школы, где она пыталась обучиться игре на флейте, уже успев рас прощаться с пианино (кисти рук были слишком маленькие), со скрипкой (болел подбородок), с гитарой (кровоточили пальцы) и трубой (вспухла верхняя губа). Мэри и Люкс, заслышав сирену, сбежали домой прямо с урока вокала, который проходил у мистера Джессапа в доме через дорогу. Влетев в забитую народом ванную, они испытали тот же шок, что и родители, при виде языческой наготы Сесилии и ее забрызганных кровью рук. Снаружи они обнялись — как раз на том клочке нескошенной травы, который Буч, мускулистый парень, подстригавший газоны по субботам, отчего-то оставил нетронутым. На противоположной стороне улицы работники Парковой службы, прибывшие в заполненном до отказа грузовике, пытались как-то помочь нашим умирающим вязам. Взвизгнула, удаляясь, сирена неотложки, и мистер ботаник с помощниками прекратили качать насосами инсектицид, чтобы проследить за фургоном. Стоило тому скрыться из виду, и они вновь принялись распылять отправу.

Величественный вяз, ясно различимый на заднем плане Экспоната № 1, с тех пор уступил поползновениям грибка, чьи споры разносили голландские жуки, и был-таки спилен.

Санитары доставили Сесилию в больницу «Бон-Секурс», что на перекрестке Керчевал и Мауми-стрит. В отделении реанимации Сесилия с жутковатой невозмутимостью наблюдала за попытками врачей спасти ей жизнь. Ее желтужные глаза не мигали; она даже не вздрогнула, когда ей в руку запустили иглу. Доктор Армонсон зачинил раны на ее запястьях аккуратными стежками. Через пять минут после переливания крови он объявил, что девочка находится вне опасности. Потрепав ее за щеку, он осведомился: «Что ты здесь делаешь, милая? Ты ведь еще слишком мала, чтобы знать обо всех ужасах этой жизни».

И вот тогда Сесилия в устной форме изложила свою единственную версию предсмертной записи, к тому же совершенно бесполезную, поскольку собирались выжить:

— Очевидно, доктор, — сказала она, — вы еще не бывали в шкуре тринадцатилетней девочки.

\* \* \*

Сестрам Лисбон было тринадцать (Сесилия), четырнадцать (Люкс), пятнадцать (Бонни), шестнадцать (Мэри) и семнадцать (Тереза). Никто из них не отличался ростом, джинсы выгодно подчеркивали их округленные ягодицы, а пухленькие щечки каждой из сестер отличались тою же мягкостью. Всякий раз, когда нам выпадала возможность взглянуть на них, их лица казались непристойно открытыми, словно бы мы привыкли созерцать женские лики исключительно затянутыми вуалью. Никто не мог уразуметь, как же мистеру и миссис Лисбон удалось произвести на свет столь миловидное потомство. Мистер Лисбон преподавал математику в средней школе. В своей худобе он походил на подростка, сам удивляясь тому, что волосы его уже поседели. У него был высокий голос. Джо Ларсон рассказал, что, когда Люкс увозили в больницу после очередной истории с попыткой самоубийства, мистер Лисбон заплакал — и нам не составило труда вообразить звук его девчоночных всхлипов.

Встречая миссис Лисбон, мы всякий раз тщетно старались отыскать признаки красоты, которой она должна же была когда-то обладать. Снова и снова нас ставили в тупик эти пухлые руки, эти безжалостно укороченные волосы, словно стальная проволока, и эти ужасные очки, которые

пришлись бы к лицу разве что библиотекарше. Увидеть миссис Лисбон нам удавалось изредка, чаще по утрам, когда она, при полном параде (хотя солнце еще не встало над горизонтом), делала шаг на крыльцо, чтобы подобрать запотевшие картонки с молоком, или же по воскресеньям, когда семейство отправлялось в своем автомобиле в католическую церковь святого Павла на озере. В эти утренние часы в голосе миссис Лисбон звенел лед, а сама она проявляла властность правящей королевы. Золотистая сумочка дрожала в стиснутых пальцах, когда она выискивала на лицах дочерей легчайшие следы косметики, и соизволение сесть в салон автомобиля получали лишь прошедшие эту проверку. В обыкновение миссис Лисбон входило также отсылать Люкс обратно, чтобы та надела блузку поскромнее. Почти никто из нас не посещал церковь, так что в нашем распоряжении оставалось предостаточно времени для наблюдения за семьей Лисбон: старшее поколение, словно две выцветшие до полной потери красок фотокарточки, и пять сверкающих дочерей в самодельных платьях, сплошь кружева да оборки, пышущих свежей, наливающейся соком плотью.

Лишь однажды нога подростка мужского пола переступила порог этого дома. Питер Сиссен помог мистеру Лисбону установить врачающуюся модель солнечной системы в школьном кабинете, и в качестве ответной услуги математик пригласил юного помощника отобедать у него в гостях. Питер рассказал нам, что девушки постоянно пихались под столом, со всех сторон, и оттого ему было невдомек, кто именно из них этим занимается. Они не сводили с него лихорадочно блестящих голубых глаз и широко улыбались, выставляя напоказ тесно поставленные зубы — единственную черту сестер Лисбон, в которой мы могли усмотреть какой-то недостаток. Бонни была единственной, кто не бросал на Петера Сиссена косых взглядов и не лягал его украдкой. Постепенно освобождая от пищи тарелку, она лишь вежливо отвечала на обращенные к ней вопросы, околдованная благочестием своих пятнадцати лет. После трапезы Питер Сиссен попросил разрешения воспользоваться уборной, и, поскольку в общей ванной комнате в нижнем этаже уже успели закрыться, шушукаясь и хихикая, Тереза с Мэри, ему пришлось подняться наверх, в уборную девушек. Он вернулся к нам с рассказами об изобилующих смятыми трусиками спальнях, о погибших от жара девичьих объятий мягких игрушках, о намотанном на стенное распятие бюстгальтере, о полуопрозрачных балдахинах над пышными кроватями, о воздухе, насыщенном испарениями полудетских тел, бок о бок взрослеющих в одном тесном помещении. В уборной, пустив воду, чтобы

скрыть шорох, Питер Сиссен приступил к поискам и довольно быстро обнаружил принадлежащую Мэри Лисбон потайную косметичку в виде привязанного под раковиной чулка: тюбики алой помады, вторая кожа в виде дневного крема и румян, а также депиляционный воск, что и поведало нам о волосках на верхней губе Мэри, видеть которые нам никогда не доводилось. Признаться, мы догадались, чье же богатство отыскал Сиссен, лишь две недели спустя, когда на пирсе перед нами предстала Мэри Лисбон с губами того алого оттенка, который идеально подошел под данное Питером описание.

Он перечислил дезодоранты, флаконы с туалетной водой и косметические подушечки для удаления с лица ороговевшей кожи, и мы с удивлением узнали, что в ванной комнате не оказалось душевой кабинки; мы-то полагали, что девочки привыкли ежевечерне принимать душ, не задумываясь, — как чистят зубы. Впрочем, разочарование через секунду было забыто: Стивен поведал нам о находке, помыслить о которой мы не могли и в самых буйных фантазиях. В мусорном ведре лежал смятый «Тампакс» с красными пятнами, едва-едва вынутый из тела одной из сестер Лисбон. Сиссен признался, будто хотел захватить его с собой, принести его нам, что это была никакая не гадость, а замечательная вещь, вам бы только взглянуть, что-то вроде произведения современного искусства, и потом добавил, что насчитал в шкафчике двенадцать пачек таких же «Тампаксов». Лишь тогда в уборную постучала Люкс с вопросом, не умер ли он там, и Питер поспешил распахнуть дверь. Волосы девушки, скрытые за обедом под беретом, теперь рассыпались по плечам. Люкс не вошла в ванную, но уставилась в глаза Питеру. Затем, расхохотавшись на манер гиены, она миновала его со словами: «Ты уже закончил? Мне здесь кое-что нужно». Направилась к шкафчику, постояла рядом с ним и сложила руки за спиной. «Это личное. Выйдешь?» — спросила она, и Питер Сиссен скатился вниз по лестнице с пылающим лицом, поблагодарил мистера и миссис Лисбон за прекрасное угощение и поспешил прочь, чтобы сообщить нам: у Люкс Лисбон между ног течет кровь, прямо сейчас, в этот самый миг, когда небо заслонили собою полчища мошкарь, а на улицах зажигаются фонари.

\* \* \*

Когда Пол Балдино услыхал рассказ Питера Снесена, то побожился, что проберется в дом Лисбонов и станет свидетелем вещей даже еще похлеще, совсем немыслимых. «Я увижу, как эти девчонки принимают

душ», — поклялся он. В свои четырнадцать лет Пол Балдино уже отличался отвагой гангстера и суровым обликом, унаследованными от отца, Сэмми Балдино по кличке Акула, и от таких же крутых ребят, наведывавшихся в большую усадьбу Балдино, где два вырезанные из камня льва залегли по обе стороны парадной лестницы. Он двигался с плавной связностью городских хищников, что пахнут одеколоном и имеют привычку делать маникюр. Мы побаивались и самого Пола, и сопровождавших его туповатых кузенов Рико Манолло и Винса Фузилли, и отнюдь не только потому, что в газетах то и дело появлялись фотографии его дома, а черные бронированные лимузины описывали круги по кольцевой дорожке, обсаженной привезенными из Италии лаврами, — но еще и оттого, что под глазами Пола лежали голубоватые тени, ляжки его были поистине слоновыми, а начищенные до зеркального блеска ботинки он не снимал, даже играя в бейсбол. Кроме того, ему и прежде удавалось проникать в запретные места — и пусть даже правдивость добытых им сведений не всегда внушала доверие, мы до сих пор оставались под впечатлением от его храбрости, которую он проявил в разведке. В шестом классе, когда девочки закрылись в актовом зале для просмотра специального «секретного» фильма, именно Пол Балдино проник в кинозал и спрятался в старой кабинке для голосований, чтобы впоследствии рассказать, о чем повествует лента. Мы ждали его на игровой площадке, нервно поддавая ногами гравий, и когда Пол наконец появился, катая в уголке рта зубочистку и поигрывая золотым кольцом на пальце, затаили дыхание в предвкушении.

— Видел я кино, — объявил Пол. — Знаю про что. Слушайте-ка. Когда девчонкам бывает лет по двенадцать или вроде того... — он подался поближе, —.. у них кровь течет из титек.

Теперь мы уже твердо знали о лживости этих сведений, но Пол Балдино по-прежнему внушал страх и пользовался нашим уважением. Его носорожки бедра стали еще толще, а тени под глазами углубились до оттенка сигарного пепла пополам с пылью, от чего в лице появилось нечто, намекающее на знакомство Пола со смертью. Примерно тогда же по городу пополз слух о потайном туннеле. Несколько годами ранее, как-то утром, за усаженным острыми пиками забором Балдино, чью неприступность охраняли две совершенно одинаковых немецких овчарки, показалась группа рабочих. Чтобы скрыть цель своего появления на территории усадьбы, они установили шесты вокруг площадки и развесили на них маскировочный брезент, а через три дня, когда тот был сорван, как раз посередине газона уже возвышался искусственный ствол дерева. Он был

слеплен из цемента, прямо с дуплом и двумя воздетыми к небу спиленными ветками, что казались культуями убогого калеки. Внутри ствола было выпилено клинообразное углубление, забранное металлической решеткой.

Пол Балдино заверил нас, что это сооружение — всего лишь решетка для жарки мяса, и мы поверили ему, но время шло, а никто так и не воспользовался этим приспособлением. В газетах писали, что установка решетки для барбекю обошлась в 50 тысяч долларов, но на ней так и не приготовили ни единого гамбургера или хот-дога. Вскоре стали поговаривать, будто бы под стволов скрывался потайной ход, который вел к укрытию где-то у реки, там Акула держал скоростной катер, и будто бы за брезентом рабочие скрывали истинную цель своих трудов. Затем, спустя несколько месяцев после появления слухов, Пол Балдино стал вылезать из чужих подвалов, проникая туда по канализационным трубам. Он поднялся в дом Чайза Бьюэлла, с ног до головы покрытый пахнущей сухим дерьямом серой пылью; он протиснулся в подвал Дэнни Зина, на сей раз имея при себе фонарик, бейсбольную биту и пакет с двумя дохлыми крысами; и, наконец, он явился возле парового котла Тома Фахима и трижды звонко стукнул в него.

Нам он всегда объяснял, что просто исследовал систему стока дождевой воды под собственным домом, но заблудился, — мы же начинали подозревать, что на самом деле Пол забирался в отцовский потайной ход поиграть. Когда он объявил, будто посмотрит, как сестры Лисбон принимают душ, все мы решили, что он намерен проникнуть в дом Лисбонов тем же образом, как посещал и другие дома. Мы так никогда и не узнали, что именно произошло. Полицейские допрашивали Поля Балдино битый час, но и они услышали от него то же, что и мы. Пол рассказал, что забрался в канализационный люк под фундаментом собственного дома и пошел куда глаза глядят, отыхая через каждые несколько футов. Пол описал длиннющие ряды труб, оставленные рабочими кофейные стаканчики и сигаретные бычки, а также сделанные углем рисунки обнаженных женских торсов, напоминавшие наскальную живопись. Он выбирал куда свернуть наугад и рассказал, будто, проходя под домами разных людей, мог учゅять, что они готовят на кухнях. В конце концов он поднялся наверх через канализационный люк в подвале Лисбонов. Отряхнувшись, Пол отправился на поиски хозяев — но, осмотревшись, понял, что дома никого нет. Снова и снова он звал на помощь, обходя комнаты одну за другой, а потом поднялся по лестнице на второй этаж. Там Полу померещился шум бегущей воды в конце коридора, и он подошел к двери в ванную комнату. Он особо настаивал на том, что постучал

несколько раз. А затем Пол Балдино рассказал нам, что, войдя внутрь, увидел Сесилию, голую, с кровоточащими запястьями, и что, преодолев шок, помчался вниз и первым же делом позвонил в полицию, ибо именно этому всегда учил его отец.

\* \* \*

Разумеется, глянцевая карточка была первым, что нашли санитары, осматривая пострадавшую, но действовать надо было быстро, и тот, что потолще, сунул картинку в карман. Лишь в больнице он вспомнил о ней и решил отдать мистеру и миссис Лисбон. К этому времени жизни Сесилии уже ничто не угрожало, и ее родители сидели в комнате ожидания, облегченно и вместе с тем сконфуженно вздыхая. Мистер Лисбон поблагодарил санитара за спасение дочери. Затем перевернул картинку и увидел отпечатанное на обратной стороне послание:

*В нашем городе появляется Дева Мария, несущая послание добра и мира гибнущей планете. Как ранее в Лурде и Фа-тиме, Богородица являет свое присутствие простым людям, таким же, как вы. Для получения дополнительной информации наберите 555-Мэри.*

Мистер Лисбон дважды перечитал эти слова. После чего выдавил голосом побежденного в неравном бою: «Мы крестили, мы конфирмовали ее, и теперь она верит во всю эту дребедень».

То было единственное богохульство, упавшее с его губ за все это время. Миссис Лисбон ответила тем, что смяла карточку в кулаке (тем не менее та сохранилась; у нас здесь имеется фотокопия).

Местная газета отказалась напечатать сообщение о попытке самоубийства, поскольку редактор, мистер Боуби, решил, что подобные гнетущие новости крайне неудачно разместились бы между заметкой о Цветочном параде лиги юниоров (на первой полосе) и фотографией улыбающихся молодоженов (на последней странице). Единственное достойное внимания сообщение в том номере было посвящено забастовке работников кладбищ («Тела громоздятся одно на другое, но выхода не видно»), да и то разместилось на четвертой странице, как раз под таблицей с результатами матчей любительских команд.

По возвращении из больницы мистер и миссис Лисбон заперлись в

доме вместе с дочерьми и ни единственным словом не поминали случившееся. Лишь давление со стороны миссис Шир заставило миссис Лисбон обмолвиться о «происшествии с Сесилией», да и его она представила так, будто ее дочь случайно порезалась при падении. Тем не менее Пол Балдино, который порядком насмотрелся на кровь, описал увиденное точно и объективно, постаравшись не оставить у слушателей никаких сомнений в том, что Сесилия намеренно нанесла себе жестокие раны.

Миссис Бак сочла странным, что бритвенное лезвие нашли в унитазе. «Если бы я сама резала вены в ванне, то положила бы бритву на ее краешек», — резонно заметила она. Что естественным образом наводило на вопрос, порезала ли Сесилия запястья, уже принимая ванну, или же сделала это, стоя на коврике, где потом нашли кровь. У Пола Балдино никаких сомнений не оставалось: «Она резалась, сидя на толчке, — определил он, — а потом забралась в ванну. Пятна были повсюду, парни».

Ровно неделю Сесилию продержали под наблюдением врачей. Оставшиеся в больнице записи подтверждают, что артерия на ее правом запястье оказалась рассечена полностью, поскольку девочка была левшой, а вот разрез на правой руке не был настолько глубок и лишь частично затронул артерию. Медики наложили двадцать четыре шва на каждую руку.

Сесилия вернулась в своем подвенечном платье. Миссис Патц, чья сестра работала в «Бон-Секурс» сиделкой, пояснила, что Сесилия отказалась носить больничный халат и взамен потребовала принести ее собственное платье, а доктор Хорникер, тамошний штатный психиатр, посчитал лучшим не перечить ей. Домой Сесилия вернулась во время жуткой грозы. Когда прозвучал первый раскат грома, мы сидели дома у Джо Ларсона, точно напротив. Мать Джо крикнула снизу, чтобы закрыли окна, и мы поспешили выполнить ее просьбу. Снаружи вместо воздуха был вакуум. Порыв ветерка потревожил покой брошенного бумажного пакета, и тот, вращаясь, поднялся до нижних ветвей деревьев. Затем пустота обрушилась водопадом, небо почернело, и машина Лисбонов попыталась незамеченной проскользнуть к дому почти в полной темноте.

Мы позвали мать Джо, чтобы она тоже посмотрела. Не минуло и нескольких секунд, как ее ноги мягко простучали по укрытым коврами ступенькам, и она присоединилась к нам у окна. То был вторник, и с собой она принесла запах средства для полировки мебели. Все вместе мы наблюдали за тем, как миссис Лисбон ногой распахнула дверцу и выбралась под дождевые струи, подняв над головой сумочку. Ежась и хмурясь, она открыла заднюю дверь. Ливень не утихал. Волосы миссис Лисбон облепили лицо. Наконец на виду появилась головка Сесилии:

нечеткая из-за дождя, она плыла странным дерганым курсом, так как руки ей сковывали плотные повязки. Отнюдь не сразу Сесилии удалось перекатиться на бок и встать на ноги. Выбравшись наконец, она проковыляла вперед и подняла обе забинтованные руки, как холщовые крылья, и миссис Лисбон, подхватив дочь под левый локоть, повлекла ее к дому. К этому моменту дождь достиг апогея, и мы уже ничего не могли разобрать.

В последующие дни мы часто видели Сесилию. Она сиживала на ступеньках крыльца и, срывая с кустов красные ягоды, поедала их одну за другой или втирала сок в ладони. На ней всегда было ее свадебное платье, а босые ноги неизменно оставались грязны. По вечерам, когда двор перед домом заливало солнце, она выслеживала сновавших в трещинах тротуара муравьев или лежала на спине в скошенной траве, просто наблюдая за бегом облаков. Всякий раз ее сопровождала одна из сестер. Тереза выносila на ступени стопку учебников и отрывалась от изучения фотографий дальнего космоса, только если Сесилия подходила к границе двора. Люкс расстилала пляжные полотенца и принимала солнечные ванны, пока Сесилия палочкой выводила арабески в пыли на собственных ногах. Порой Сесилия приближалась к охранницам, обнимая их за шею или что-то шепча на ухо.

У каждого была своя теория, из-за чего она пыталась покончить с собой. Миссис Бьюэлл уверяла, что винить следует родителей девочки. «Бедняжка вовсе не хотела умереть, — заявила она нам. — Она просто мечтала выбраться из этого дома». К чему миссис Шир добавила: «Ей хотелось сорвать с себя оковы лжи во благо». В день, когда Сесилия вернулась домой из больницы, эти две женщины решили, проявив сочувствие, угостить миссис Лисбон тортом домашней выпечки, но та встретила приношение решительным отказом признать существование каких-то неполадок в жизни ее семейства. Много лет спустя мы обнаружили, что сильно постаревшая и здорово раздавшаяся в талии миссис Бьюэлл по-прежнему спит в разных комнатах со своим мужем, христианским мыслителем. Опираясь на подушки в своей постели, в дневные часы она по-прежнему защищала глаза жемчужными солнечными очками «кошачий глаз» и по старому обыкновению катала кубики льда в высоком стакане, содержащем, по ее уверениям, только воду и ничего более; тем не менее вокруг нее витал теперь аромат вечерней праздности, запах мыльных опер. «Как только мы с Лили протянули ей торт, эта женщина велела девочкам удалиться наверх. Мы говорим: „Он еще теплый, давайте все вместе съедим по кусочку“, а она берет поднос и без лишних

слов сует наш торт в холодильник. Прямо у нас на глазах». У миссис Шир остались другие воспоминания: «Говорю об этом с неохотой, но Джоан слегка тронулась — столько лет минуло. На самом деле миссис Лисbon весьма вежливо поблагодарила нас. Все прошло настолько гладко, насколько возможно. Я даже засомневалась: может, и вправду девочка порезалась, поскользнувшись в ванной? Миссис Лисbon пригласила нас пройти в комнату на солнечной стороне, и все мы попробовали по кусочку торта. Потом ни с того ни с сего Джоан извинилась и ушла. Наверное, отправилась домой надеть поясок посвободнее. Меня бы это ничуть не удивило».

Мистера Бьюэлла мы нашли за соседней дверью, в спальне, обставленной по-аскетически просто. На полке красовалась фотография первой жены, которую он любил с момента развода, и когда он поднялся из-за своего рабочего стола нам навстречу, мы увидели, что он все так же горбится из-за так и не зажившей толком травмы плеча. «В нашем прискорбном обществе иначе и быть не могло, — поведал нам мистер Бьюэлл. — Ни у кого из них не было привязанности к Господу». Когда мы напомнили ему о картинке с Девой Марией, он ответил: «Ей следовало бы иметь при себе изображение Иисуса, и никого иного». Под сеточкой морщин и буйно разросшимися белыми бровями мы все же смогли разглядеть красивое мужественное лицо человека, столько лет тому назад учившего нас бейсбольным подачам. Во время Второй мировой войны мистер Бьюэлл был пилотом. Сбитый в небе над Бирмой, он привел своих людей в безопасное место, одолев сотню миль пути по непроходимым джунглям. С тех пор он не принимал никаких лекарств, даже аспирина. Как-то зимой он сломал плечо, катаясь на лыжах, и врачам лишь удалось убедить его сделать рентгеновский снимок, не более. С этого момента он только моргал в ответ, когда мы старались переубедить его, сгребал листья, управляемые граблями при помощи одной руки, и больше уж не совершил отважных прыжков с парашютом по утрам в воскресенье. В остальном мистер Бьюэлл остался прежним и всегда мягко осаживал нас, когда нам случалось помянуть всеу имя Господне. За стенами спальни его плечо изогнулось, превратившись в изящный горб. «Об этих девочках я вспоминаю с печалью, — признался он нам. — Такая напрасная трата жизни».

Наибольшую популярность в те давние времена завоевала теория, обвинявшая в произошедшем Доминика Палаццоло. Доминик был сыном недавно прибывших иммигрантов, обосновавшихся у родственников до той поры, пока сами они не осели где-то в Нью-Мехико. Он первым из

мальчишеч во всей округе нацепил солнцезащитные очки и успел влюбиться, не прошло и недели с момента его появления в городе. Предметом страсти Доминика была отнюдь не Сесилия, а Диана Портер — девочка с каштановыми волосами и заметно вытянутым, но все равно милым лицом, жившая в заросшем ивами доме у озера. К несчастью, Диана не замечала взглядов, которые Доминик бросал на нее сквозь просвет в заборе всякий раз, когда она выходила сыграть жаркую партию в теннис на земляном корте или поваляться, источая пот с запахом цветочного нектара, в шезлонге у кромки бассейна. Доминик Палаццоло не бывал в углу двора, где собиралась наша группка, и не вступал в рассуждения о бейсболе или о происшествиях в салоне школьного автобуса по одной простой причине: по-английски он знал всего несколько слов, но зато то и дело задирал голову — так, чтобы в солнечных очках отразилось небо, — и изрекал: «Я люблю ее». Всякий раз, когда Доминик говорил это, он вроде бы и сам удивлялся, как это у него получилось, будто выплюнул вдруг крупную жемчужину. В начале июня, когда Диана Портер отправилась на каникулы в Швейцарию, Доминик испытал сильнейший удар. «Трахать Святая Мать, — сообщил он, совсем упав духом. — Трахать Бог». Потом, чтобы продемонстрировать глубину охватившего его отчаяния и серьезность намерений, он вскарабкался на крышу дома своих родственников и спрыгнул оттуда.

Мы видели, как Сесилия Лисбон наблюдала за прыжком со двора перед своим домом. Доминик Палаццоло — в тесных брючках, в ботинках «динго», со взбитой надо лбом челкой — направился в дом; мы видели, как он прошелся мимо раскрашенных стеклянных панелей первого этажа; затем он появился у окна наверху уже в повязанном вокруг шеи шелковом платке. Выбравшись на карниз, он одним рывком подтянулся на плоскую крышу дома. Там, под небесами, он казался хрупким, болезненным и очень темпераментным, чего и можно было ожидать от европейца. Он покачался на носках у самой кромки крыши, как это делают прыгуны в воду, и прошептал: «Я люблю ее», падая мимо окон в тщательно подстриженный кустарник во дворе.

Он не убился и даже ничего себе не повредил. После падения он поднялся на ноги; его любовь прошла испытание, а по соседству, признав его поступок героическим, Сесилия Лисбон полюбила сама. Эми Шрафф, хорошо знавшая Сесилию по школе, уверяет, что та могла говорить только о Доминике на всем протяжении последней недели перед актовым днем. Вместо того чтобы готовиться к экзаменам, она часами просиживала в библиотеке, выискивая словечко «Италия» в энциклопедиях. При

расставании она стала говорить «Чао» и временами проскальзывала в двери католической церкви святого Павла на озере, чтобы обрызгать себе лоб святой водой. В школьной столовой, даже если день выдавался душным и запахи дешевой еды становились невыносимыми, Сесилия всегда брала спагетти с фрикадельками — словно, поглощая одинаковую с Домиником пищу, становилась к нему чуточку ближе. На пике влюбленности она приобрела распятие — то самое, на котором Питер Сиссен заметил потом украшение в виде лифчика.

Те, кто придерживались этой теории, обязательно подчеркивали ее центральное звено — тот факт, что за неделю до предпринятой Сесилией попытки расстаться с жизнью семья Доминика Палаццоло увезла его с собою в Нью-Мехико. Он отправился туда, беспрестанно советуя Всевышнему оттрахать себя самого, поскольку Нью-Мехико располагался еще дальше от Швейцарии, где в эту самую минуту Диана Портер безмятежно прогуливалась под сенью древ, неуклонно удаляясь от мира, в котором Доминику предстояло обосноваться в качестве владельца конторы по чистке ковров. Эми Шрафф объясняла резаные вены Сесилии пришедшей из древнего Рима традицией принимать подобные ванны в случаях, когда жизнь становится невыносимой; Эми полагала, будто Доминик, созерцающий теперь кактусы по обочинам шоссе, непременно догадался бы о любви Сесилии, услышь он только о подоплеке несостоявшейся трагедии.

Большинство страниц в больничной карте отведены отчету психиатра. Побеседовав с Сесилией, доктор Хорникер поставил диагноз: ее самоубийство явилось выплеском агрессии, накопившейся в результате сублимации инспирированных подростковым либидо желаний. При виде трех совершенно разных чернильных пятен Сесилия неизменно говорила: «Это банан». В других пятнах ей удалось различить «тюремную решетку», «болото», «африканца» и «Землю после атомной катастрофы». На вопрос, почему она пыталась покончить с собой, Сесилия отвечала только: «Это было ошибкой», а когда психиатр попробовал добиться более четкого ответа, окончательно замкнулась в себе. «Несмотря на серьезность ее ран, — говорилось в отчете, — я не склонен верить, что пациентка действительно намеревалась оборвать свою жизнь. Ее поступок был криком о помощи». Доктор Хорникер встречался с мистером и миссис Лисбон и рекомендовал им несколько ослабить заведенные в семье порядки. Ему казалось, что Сесилии пошла бы на пользу «некая социальная отдушина вне школьного распорядка, в рамках которой она могла бы взаимодействовать со сверстниками мужского пола.

Тринадцатилетней девочке следовало бы разрешить пользоваться косметикой того рода, что имеет хождение среди ее ровесниц, — это помогло бы ей установить с ними более прочные контакты. Подражание заведенным в группе порядкам является неотъемлемой вехой процесса индивидуализации».

С этого момента для семейства Лисбонов наступила эпоха перемен. Люкс загорала на своем полотенце почти каждый день, даже если не приглядывала за Сесилией, — при этом на ней красовался такой миниатюрный купальник, что точильщик ножей совершенно бесплатно устроил для нее пятнадцатиминутную демонстрацию своего искусства. Парадная дверь дома Лисбонов не закрывалась: кто-нибудь из девочек вечно шмыгал туда или обратно. Однажды, играя в мяч у дома Джекфа Малдрума, мы увидели девчонок, танцевавших под звуки рок-н-ролла в его гостиной. Они упорно и деловито отрабатывали основные движения, и мы были поражены, уяснив себе, что девушки порой танцуют просто ради удовольствия, в то время как Джекф всего лишь размахивал бокалом и чмокал губами, пока не задернули штору. Прежде чем они скрылись из виду, мы заметили Мэри Лисбон, стоявшую в глубине комнаты, у книжного шкафа: на ней были клешеные джинсы с вышитым на заду сердечком.

Чудесные перемены на этом не кончились. Бучу, подстригавшему газон Лисбонам, отныне было позволено входить в дом и выпивать стакан воды, тогда как раньше ему приходилось пить, склоняясь к выведенному наружу крану. Потный, обнаженный по пояс, весь в татуировках, Буч прошел прямо на кухню дома, где жили сестры Лисбон, вдыхая тот же воздух, которым дышали и они, — но мы не стали спрашивать его о впечатлениях, потому что побаивались мускулов Буча и окружавшей его ауры бедности.

Мы полагали, что мистер и миссис Лисбон пришли к согласию относительно новой политики терпимости, но когда, годы спустя, встретились с мистером Лисбоном, тот опроверг наши домыслы, сказав, что жена разошлась с психиатром во мнениях. «Она просто пошла на временные уступки», — пояснил он. Давно уже разведенnyй, он жил в одиночестве в однокомнатной квартирке с кухонной нишей, пол которой был устлан стружками: он занимался резьбой по дереву. Резные фигурки птиц и лягушек громоздились на полках. По признанию мистера Лисбона, его давно уже посещали сомнения относительно установленных женою строгих порядков: сердце подсказывало ему, что девочки, которым не разрешалось танцевать, могут показаться желанными только мужьям, обладающим хилой комплекцией или впалой грудью. Кроме того, его стал беспокоить и душок от постоянного пребывания стольких юных дев в

одном закрытом, тесном, душном помещении. Временами ему казалось, что он живет в зоопарке и не выходит из клетки для птиц. Куда ни глянь, всюду лежали заколки для волос и щетки с торчащими во все стороны зубьями, а поскольку в доме обитало столько женщин, они все как-то запамятали, что мистер Лисбон — мужчина, и преспокойно обсуждали свои менструальные циклы в его присутствии. Сесилия как раз испытала это впервые, в те же дни, что и все ее сестры, в четком согласии с ритмами лунных фаз. Эти пять дней каждого месяца были для мистера Лисбона серьезнейшим испытанием: ему приходилось разбрасывать таблетки аспирина так, словно он кормил уток у пруда, а также сражаться с водопадами слез всякий раз, когда по телевизору машина сбивала собаку. Он признался, что девочки выказывали чрезвычайную женственность на протяжении своих критических дней: они проявляли необыкновенную томность, сходили по лестнице, подобно примадоннам немого кино, и все повторяли, подмигивая: «Кузина Херби пожаловала в гости». В иные вечера они посыпали мистера Лисбона пополнить запасы «Тампаксов» — им требовалась не одна упаковка, а сразу четыре или пять, так что в магазине молодые продавцы с тонкими усиками только хмыкали. Мистер Лисбон обожал дочерей, он души в них не чаял, но в то же время мечтал и о появлении в доме одного-двух мальчишек.

Именно поэтому, через две недели после возвращения Сесилии домой, мистер Лисбон уговорил жену устроить девочкам первый и единственный званный прием в их короткой жизни. Каждый из нас получил по уведомлению, вручную изготовленному из цветной бумаги, где имя получателя было красиво выведено «волшебным фломастером» в специальном овале. Изумление от официального приглашения в дом, куда мы проникали лишь в тайных видениях, обуревавших нас за запертой дверью туалета, было столь велико, что нам пришлось показать друг другу наши пригласительные открытки, чтобы в это поверить. Особая дрожь охватывала нас при мысли, что сестры Лисбон помнят наши имена, что их нежные голосовые связки произносили составляющие эти имена слоги и что эти звуки что-то для них означали. Сестрам пришлось потрудиться над верным написанием и уточнить наши адреса в телефонной книге или по прибитым к деревьям металлическим пластинкам.

По мере приближения назначенного срока мы наблюдали за домом Лисбонов, ожидая увидеть на нем какие-нибудь украшения или другие свидетельства подготовки к празднеству, но ничего такого не заметили. Желтые кирпичи хранили надменность, свойственную сиротским приютам на церковном попечении, а на газоне перед домом не было ни души.

Занавески не колыхались за оконными стеклами, а грузовики не подвозили к крыльцу коробки сэндвичей «субмарина»<sup>[2]</sup> или пакеты с картофельными чипсами.

Знаменательный вечер настал. В синих свитерах, брюках цвета хаки и в галстуках на заколках мы шли по тротуару перед домом Лисбонов, как проделывали это бес счетное множество раз, но теперь повернули на дорожку и, взойдя по ступеням, украшенным по краям горшками с красной геранью, нажали кнопку дверного звонка. В роли нашего лидера выступил Питер Сиссен, уже довольно вяло повторявший снова и снова: «Подождите, пока не увидите сами». Дверь открылась. Полутьма над нашими головами, сгустившись, приняла черты лица миссис Лисбон. Она пригласила нас войти, и второпях мы застряли, столкнувшись в дверях; когда же мы ступили на вязаный ковер в прихожей, то увидели, что описания дома, данные Питером Сиссеном, сильно расходились с действительностью. Вместо удушливой атмосферы и свойственного женским колониям беспорядка мы обнаружили аккуратно прибранный, без излишеств дом с витающим в нем слабым запахом подвявшей воздушной кукурузы. Над входной аркой было укреплено полотно с вышитыми по нему со словами: «Благослови жилище сие», а справа от него, на полке над батареей отопления, пять пар потемневших детских башмачков хранили для истории не воодушевивший нас факт былого младенчества сестер Лисбон. Столовую заполняли мало удобные предметы мебели в колониальном стиле. На одной из стен висела картина, изображавшая первых английских колонистов за оципыванием индейки. В гостиной обнаружились оранжевый ковер на полу и мягкий диван, обитый коричневым кожзаменителем. Принадлежавшее мистеру Лисбону удобное офисное кресло было придвинуто к журнальному столику, на котором высилась почти готовая модель парусного судна, пока еще без оснастки и с тщательно раскрашенной фигурой грудастой русалки под бушпритом.

Нас направили вниз, в игровую комнату. Подбитые металлическим уголком ступени были круты, и по мере спуска сияние внизу становилось все ярче и ярче, будто мы приближались к расплавленному ядру планеты. Мы на какое-то время ослепли в тот миг, когда наши ноги коснулись последней ступеньки. Над головами жужжали лампы дневного света; повсюду, куда ни глянь, стояли зажженные светильники. Под пряжками наших ботинок пылала зелено-красная шахматная доска линолеума. На карточном столике расплавленной магмой дышала чаша с пуншем. Убранные панелями стены светились изнутри, и несколько первых мгновений сестры Лисбон казались нам размытым светящимся облачком,

сбившимися в стайку ангелами. Затем, однако, глаза привыкли к освещению и мы увидели то, чего не понимали прежде: сестры Лисbon оказались совсем разными. Вместо пяти точных копий, наделенных светлыми волосами и пухлыми щечками, перед нами предстало пятеро разных существ. Неповторимые черты уже отметили сестер, отражаясь у каждой на лице. Мы сразу увидели, что Бонни (назвавшаяся теперь Бонавентурой) отличается сухой комплекцией, а острый нос придавал ей сходство с монахиней. Глаза ее слезились, и она была на фут выше любой из сестер — в основном благодаря длинной шее, которой в дальнейшем предстояло еще больше вытянуться в петле. У Терезы Лисbon были более крупные черты лица: трогательно-коровьи глаза и щеки; она шагнула навстречу, чтобы приветствовать нас неуклюжим реверансом. Волосы Мэри Лисbon казались темнее, чем у сестер, и спускались со лба этаким острым крылом, указывая суеверным людям на вероятность ее раннего вдовства; на верхней губе Мэри виднелся темный пушок — стало быть, мать все-таки нашла ее депиляционный воск. Люкс единственная из пяти вполне соответствовала нашему представлению о сестрах Лисbon. Она излучала здоровье и озорство. Тесноватое платье обтягивало ее фигуру, и, подойдя пожать нам руки, она каждому незаметно пощекотала ладонь, в то же самое время прысая странноватым хриплым смехом. На Сесилии, как обычно, было свадебное платье с косым подолом, сшитое не позднее двадцатых годов. По пустующему пока лифу были рассыпаны блестки, а подол кто-то отпорол (либо сама хозяйка, либо владелец магазина подержанной одежды), сделав это наспех, неровно, — так что теперь платье доходило Сесилии лишь до поцарапанных коленок. Она не спустилась к нам с высокого круглого табурета и не оторвала взгляд от бокала с пуншем. Бесформенное платье мешком сидело на ней. Губы Сесилия подкрасила красным химическим карандашом (что придало ей вид умственно отсталой проститутки), однако вела себя так, словно рядом никого нет.

Мы сразу сообразили, что докучать ей не стоит. Бинты исчезли с запястий, но, скрывая шрамы, Сесилия надела множество браслетов. Больше ни у одной из девушки браслетов не было, и мы догадались, что сестры отдали Сесилии все, какие у них только были. Чтобы те не соскользнули с назначенного им места, браслеты были подклеены к запястьям липкой лентой. На свадебном платье виднелись пятна от больничной кормежки — тушеной моркови со свеклой. Приняв предложенные бокалы с пуншем, мы выстроились по одну сторону комнаты, а сестры Лисbon — по другую, напротив нас.

Прежде нам не доводилось бывать на светских приемах, где за соблюдением приличий в речах и жестах наблюдал кто-то из взрослых. Мы привыкли к вечеринкам, которые наши старшие братья закатывали всякий раз, стоило родителям уехать из города. Мы привыкли к темным комнатам, пульсировавшим беспорядочно нагроможденными телами, к музыкальным звукам рвоты, к пивным банкам, разбросанным по груде колотого льда в ванне; к перебранкам в коридорах и к попранию украшавших гостиную предметов скульптуры. Здесь все было иначе. Пока мы наблюдали, как играют в домино Тереза и Мэри, миссис Лисбон орудовала черпаком, наполняя все новые бокалы пуншем, а в другом конце комнаты мистер Лисбон достал свой набор инструментов. Он показал нам отвертки с храповиками (и крутил их, демонстрируя, как те стрекочут), а также длинную заостренную штуковину, которую назвал «моя стамеска», и другую, покрытую шлифовальным порошком, — «мой скребок», и еще одну, с зубчатым окончанием, — «мое долото». Рассказывая об этих приспособлениях, мистер Лисбон говорил вполголоса и ни разу не оглянулся на нас, а смотрел только на инструменты, лаская их нежными прикосновениями или испытывая их остроту подушечкой большого пальца. Единственная вертикальная морщинка углубилась на его лбу, а сухие губы на строгом лице увлажнились.

На протяжении этих томительных минут Сесилия оставалась недвижима.

Поэтому появление Дурачка Джо нас только обрадовало. Он пришел, цепляясь за руку матери, в своих мешковатых шортах и в голубой бейсбольной кепке; по лицу Джо, черты которого в нашем представлении ничем не отличались от черт любого другого монголоида, блуждала вечная улыбка. Вокруг руки Дурачка было завязано красной ленточкой присланное ему приглашение, и это значило, что сестры Лисбон вывели его имя столь же безупречно, как и наши имена. Войдя, он сразу принял бормотать что-то — Дурачок Джо, с его чрезмерно тяжелой нижней челюстью и отвислыми губами, с узенькими восточными глазками, с гладенькими щечками, которые ему брили братья. Никто в точности не знал, сколько лет Дурачу Джо, но баки были при нем все время, что мы себя помнили. Его братья, прихватив ведерко, выводили его бриться на крыльце с криком: «Сиди тихо! Если мы случайно перережем тебе глотку, это будет не наша вина». Джо бледнел и превращался в неподвижного истукана, вроде застывшей на камне ящерки. Мы знали также, что недоумки долго не живут и стареют быстрее, чем все остальные, — это объясняло седину, выбивавшуюся из-под кепки Джо. Детьми мы считали, что Дурачок успеет

отбросить коньки к тому времени, когда мы начнем взрослеть, но теперь мы уже были подростками, тогда как сам Джо так и остался ребенком.

С его появлением в комнате мы смогли продемонстрировать сестрам Лисбон все, что знали о Дурачке, — то, как шевелятся его уши, если почесать ему подбородок, и то, как, бросая монетку, он мог загадать только «решку» и никогда не называл «орла», для него это было чересчур сложно. Даже если ему советовали: «Попробуй загадать „орла“, Джо», он всякий раз протестовал: «Нет, „решка“!», полагая, что мы ему подыгрываем. Мы упросили его спеть песенку, которую он всегда пел, — ту, что научил его мистер Юджин. Дурачок пропел: «О-о, обезьянки без хвостов в Самбо-Ванго, о-о, обезьянки без хвостов в Самбо-Ванго, о-о, потому что их хвосты съели дикие киты», и мы зааплодировали, и сестры Лисбон тоже хлопали в ладоши, и Люкс хлопала, а потом обняла Дурачка Джо, но тот был слишком глуп, чтобы по-настоящему оценить это.

Вечеринка только начинала набирать обороты, когда Сесилия соскользнула с табурета и прошла прямо к матери. Поигрывая браслетами на левой руке, она попросила разрешения удалиться. То был единственный раз, когда мы услышали ее голос, поразивший нас прозвучавшей в нем неожиданно взрослой ноткой. Казалось, голос принадлежит очень старой и очень усталой женщине. Она все теребила свои браслеты, пока миссис Лисбон не ответила: «Если только ты действительно хочешь, Сесилия. Ты ведь знаешь, мы пошли на все эти муки только для того, чтобы развлечь тебя».

Сесилия дергала браслеты, пока липкая лента не отклеилась, и тогда замерла. Миссис Лисбон сказала: «Хорошо. Поднимись к себе, если хочешь. Повеселимся и без тебя». Получив разрешение, Сесилия направилась к лестнице. Она не отрывала взгляд от пола, двигаясь в привычном трансе: похожие на подсолнухи, глаза Сесилии следили за сопровождавшими ее жизнь несчастьями, понять которые бедняжка была не в состоянии. Одолев ступени, она оказалась на кухне, закрыла за собою дверь и прошла наверху по коридору. Мы слышали ее шаги прямо над нашими головами. На полпути по лестнице на второй этаж шаги стихли, но лишь полминуты спустя мы услыхали влажный звук от падения ее тела на ограду, стоявшую рядом с домом. Сначала раздался свист рассекаемого воздуха — стремительный порыв ветра, причиной которого, как мы поняли позже, было развевающееся в падении свадебное платье. Звук этот длился очень недолго, ведь человеческое тело падает быстро. В этом-то и вся суть: то, что было человеком, мгновенно обретает свойства простого физического объекта и летит вниз со скоростью камня. Не было уже

никакой разницы, продолжал ли работать мозг Сесилии во время падения, пожалела ли она о своем поступке и успела ли сфокусировать зрение на рванувшихся ей навстречу острых пиках ограды. Ее сознание уже не существовало в любом из имеющих хоть какое-то значение смыслов. Что-то просвистело в воздухе, лишь мгновение, и затем нас потряс мокрый шлепок, звук лопнувшего арбуза, и все мы застыли, подобравшись, словно бы прислушиваясь к тихому звучанию оркестра, чуть склонив головы набок, чтобы лучше слышать, и еще не веря услышанному. Спустя минуту миссис Лисбон выдохнула так, словно была одна: «Боже мой».

Мистер Лисбон метнулся вверх по лестнице. Миссис Лисбон, прибежав наверх, встала там, держась за перила. В пролете нам был виден ее силуэт, мощные ляжки, гигантская покатая спина, отяжелевшая от переполнявшего ее ужаса большая голова с отразившими свет, устремленными вдаль очками на носу. Миссис Лисбон заняла большую часть лестничной площадки, и мы не решались обойти ее, пока это не сделали сестры Лисбон. Тогда уж и мы просочились вперед. Сквозь боковое окно нам был виден стоявший в кустах мистер Лисбон. Высыпав на крыльцо, мы увидели, что он держит Сесилию: одной рукой за шею, другой под колени. Он пытался приподнять дочь и снять с пики, кончик которой пробил ей левую грудь, прошел сквозь ее загадочное сердце, скользнул меж двух позвонков, не раздробив при этом обоих, и вышел со спины, разорвав платье и вновь оказавшись на свободе. Пика так быстро прошла через тело девочки, что на ней не осталось и следа крови. Она была абсолютно чистой, и Сесилия, казалось, просто балансирует на шесте, подобно гимнастке. Колышущееся подвенечное платье по моде незапамятных времен усиливало этот слегка цирковой эффект. Мистер Лисбон предпринимал все новые попытки снять Сесилию с пики как можно мягче и нежнее, но даже в полном своем невежестве мы уже осознали всю их бесплодность. Несмотря на то, что глаза Сесилии были широко распахнуты, а рот открывался и закрывался, словно у рыбы на крючке, то была лишь агония нервных окончаний; ей все-таки удалось, со второй попытки, вырвать себя из этого мира.

## 2

Мы не понимали, зачем Сесилии было убивать себя в первый раз, и поняли даже еще меньше, когда это произошло снова. Ее дневник, который полицейские проштудировали в ходе рутинного следствия, не подтвердил предположений о безответной любви. В этом маленьком блокноте из рисовой бумаги, разукрашенном цветными фломастерами на манер Часослова или средневековой Библии, имя Доминика Палаццоло всплыло только однажды. Миниатюрные картинки усыпали страницы. Ангелы с пузырями от жевательной резинки на устах устремлялись вниз с верхних полей или чистили перышки между многословными параграфами. Златоволосые девы роняли ярко-голубые слезы в переплет. Киты цвета незрелого винограда разбрзгивали яркую кровь вокруг газетной вырезки (вклейкой в дневник), перечислявшей виды животных, недавно внесенных в списки вымирающих. Шестеро птенчиков пищали из разбитых скорлупок по соседству с записью, сделанной на Пасху. Сесилия щедро заполняла страницы буйством красок и замысловатыми орнаментами, лестницами на небеса и полосатыми трилистниками, но пассаж о Доминике звучал так: «Сегодня Палаццоло спрыгнул с крыши ради этой богатой сучки, Портер. Есть ли предел глупости?»

Двою прибывших санитаров оказались теми же, что и в прошлый раз, хотя узнать их мы смогли далеко не сразу. Из страха и вежливости мы перешли через улицу и прислонились к капоту «олдсмобиля» мистера Ларсона. Уходя, никто из нас не промолвил ни слова, и только Валентин Стамаровски крикнул через газон: «Спасибо за вечеринку, мистер и миссис Лисбон!» Мистер Лисбон все еще стоял в кустах, скрытый ими по пояс, и спина его заметно содрогалась — то ли от стараний высвободить Сесилию, то ли от плача. На крыльце миссис Лисбон развернула дочерей лицами к дому. Поливальная система, настроенная на включение в пятнадцать минут девятого, воспряла к жизни как раз в тот момент, когда в конце квартала появился фургон «скорой помощи» с выключенными мигалкой и сиреной, — санитары особенно не торопились, словно догадываясь, что это уже бесполезно. Первым наружу выбрался худощавый санитар с усами, а за ним и толстяк. Начали они с того, что, еще не успев осмотреть пострадавшую, вытащили носилки; как нам потом объяснили врачи-профессионалы, это было грубым нарушением предписанной процедуры. Мы недоумевали, кто мог позвать на помощь и откуда санитарам было

знать, что сегодня им предстояло выступить в роли служителей морга, не более? Том Фахим уверял, будто Тереза заходила в дом и звонила, но все остальные запомнили, что четыре сестры Лисбон неподвижно стояли на крыльце и не трогались с места вплоть до прибытия неотложки. Никто на нашей улице еще не был в курсе событий. Выстроившиеся в ряд одинаковые лужайки квартала пустовали. Кто-то жарил мясо, но не было видно где. Из-за дома Джо Ларсона до нас доносились неспешные щелчки величайших игроков в бадминтон, непринужденно посыпавших друг другу волан.

Санитары отодвинули мистера Лисбона в сторонку, чтобы подойти к Сесилии вплотную.

Пульса обнаружить им не удалось, но они все равно решили попробовать спасти ее. Толстый принял пилить пику, тогда как худой изготовился подхватить девочку на руки: выдернуть шипастый стержень было опаснее, чем просто оставить его в теле. Когда пика поддалась и переломилась, худого санитара качнуло назад под освобожденным весом девочки. Он, впрочем, быстро восстановил равновесие, развернулся на пятках и плавно опустил Сесилию на носилки. Когда санитары несли ее к машине, отпиленный кусок пики приподнимал простыню на манер шатра.

Когда фургон укатил прочь, было уже не меньше девяти. С крыши дома Чейза Бьюэлла, куда, едва успев посыпать с себя праздничные шмотки, мы забрались, чтобы следить за дальнейшим развитием событий, нам ясно была видна над сбившимися в кучу кронами тянувшихся к небесам деревьев четкая демаркационная линия меж покрытой зеленью областью пригорода и городскими окраинами. Солнце падало к горизонту в дымке далеких заводов, и россыпь оконных стекол в льнущих к ним трущобах отразила неяркое свечение отравленного смогом заката. Звуки, которые обыкновенно не долетали сюда, настигли нас на крыше, и, присев на корточки на просмоленных черепицах кровли, подперев подбородки ладонями, мы различили слабое гудение неразборчивой, пущенной задом наперед записи городской жизни, ее вопли и крики, лай цепного пса, гудки автомобилей, голоса девчонок, называвших ряды цифр в ходе игры с неясными правилами, — звуки обедневшего города, бывать в котором нам не приходилось, перемешанные и приглушенные, лишенные смысла, издалека принесенные ветром. Потом темнота. Искорки далеких фар. Гораздо ближе — вспыхнувшие в окнах желтоватые огни, осветившие семьи, усевшиеся перед телевизорами. Один за другим, мы разошлись по домам.

\* \* \*

В нашем квартале еще никого не хоронили — по крайней мере, на нашей памяти. Все смерти пришлись в основном на Вторую мировую, когда наши отцы были невероятно тощими юнцами с черно-белых фотографий: папы на спрятанных в джунглях взлетно-посадочных полосах, прыщеватые папы с татуировками, папы на фоне пришпиленных к стенке скабрезных плакатов. Эти отцы писали любовные письма девушкам, которым только предстояло стать нашими мамами, а неприкосновенный запас продовольствия, одночество и буйство гормонов в пропитанном малярией воздухе вдохновляли их на романтические вирши, забытые сразу же по прибытии домой. Наши отцы относились к «людям среднего возраста», наевшим брюшко и потерявшим волосы на голенях за годы ношения брюк, но еще и близко не подступившим к смерти. Их собственные родители, помнившие родные языки и, подобно нечистоплотным скупцам, обитавшие в подвальных квартирах, теперь пользовались наилучшим медицинским обслуживанием из всех возможных и грозили дожить до начала будущего столетия. Ни у кого из нас еще не умирал дедушка или бабушка, никто не терял родителей; правда, умерло несколько собак: сначала Пышка, коротконогая гончая Тома Берка, подавившаяся жевательной резинкой «Базука Джо», а затем, уже в то лето, ушло и существо, по собачьим меркам еще пребывавшее в щенячьем возрасте, — Сесилия Лисbon.

На день ее смерти забастовка кладбищенских работников разменяла уже шестую неделю. В нашем кругу никто даже не задумывался ни о самой забастовке, ни о причинах недовольства рабочих, поскольку большинство из нас ни разу не бывали на кладбище. Иногда из городского гетто до нас долетали звуки выстрелов, но наши отцы всякий раз настаивали, что это просто хлопки автомобилей с неисправными двигателями. Таким образом, когда газеты объявили об отмене процедуры похорон в городе, мы сочли невероятным, чтобы нас хоть как-то задело это обстоятельство. Подобно нам, мистер и миссис Лисbon, едва одолевшие планку сорокалетия, но уже с выводком юных дочерей, уделяли забастовке ничтожно мало внимания — до тех пор, пока их дочери не принялись убивать себя.

Похороны все же устраивались, но не заканчивались погребением. Гробы доставляли на дорогах к невырытым могилам; священники держали заупокойные речи; родственники проливали слезы; после чего покойников отправляли в морозильники городского морга, чтобы там они дожидались

вечного успокоения. Резко возросла популярность кремации. Миссис Лисbon, впрочем, противилась этой мысли, опасаясь языческих корней обряда и указывая на то место в Библии, где говорилось о Втором Пришествии: мертвым, похоже, предстояло восстать во плоти, а о каком-то там прахе даже не упоминалось.

Неподалеку располагалось одно только кладбище — нагоняющее тоску и дремоту поле, в последние годы официально сменившее множество конфессий-покровителей, от лютеранской церкви до англиканской и католической. Там покоились трое канадцев-меходобытчиков французского происхождения, длинная череда буличников по фамилии Кропп и некто Дж. Б. Милбэнк, изобретатель рецепта местного лимонада на основе приправленных мускатным маслом пахучих корешков. С его покосившимися надгробиями, посыпанной гравием красноватой дорожкой в форме подковы и многочисленными деревьями, взращенными на удобрении в виде хорошо упитанных тел, это кладбище было заполнено до отказа уже задолго до последних смертей. По каковой причине мистер Элтон, распорядитель похорон, был вынужден сопровождать мистера Лисбона в его экскурсии по рассмотрению возможных вариантов.

Эту прогулку он отлично запомнил. Вообще говоря, дни кладбищенской забастовки оказалось не так-то просто забыть, но мистер Элтон признался также: «То было первое самоубийство, с которым мне пришлось столкнуться. Более того, молодая особа, совсем девчушка. Тут с обычными соболезнованиями не подступишься. Да, по правде сказать, намаялся я в тот раз изрядно». Вдвоем они посетили тихое кладбище в палестинском районе на западе от города, но мистеру Лисбону не пришелся по сердцу чуждый его слуху стон муэдзина, собиравшего правоверных на молитву, к тому же поговаривали, будто местные жители до сих пор практикуют ритуальные жертвоприношения коз в своих ваннах. «Не здесь, — повторял он. — Не здесь». Затем они побывали на маленьком католическом кладбище, которое, казалось, подходит идеально, пока, дойдя до его конца, мистер Лисбон не увидел две мили пустырей, напомнивших ему фотографии Хиросимы. «Польский район, — пояснил нам мистер Элтон. — „Дженерал Моторс“ выселил оттуда не меньше двадцати пяти тысяч поляков, чтобы построить на этой земле огромный автомобильный завод. Снесли двадцать четыре городских квартала, а потом у них кончились деньги. Короче, сплошные руины и сорняки. Бесплодная пустыня, но видно ее только с дальней стороны участка». В итоге они приехали на общественное кладбище, расположенное между двумя скоростными трассами, где покоились и верующие и не верующие, и

именно здесь Сесилия Лисбон удостоилась всех предписанных католической церковью погребальных церемоний, за исключением погребения. В официальных церковных записях смерть Сесилии называлась «несчастным случаем», как и смерть ее сестер годом спустя. Когда мы спросили об этом у преподобного Муди, тот ответил: «Мы не хотели придираться. Откуда нам было знать, не упала ли она с крыши?» Когда же мы упомянули о сноторном, о петле и о прочем, он сказал: «Самоубийство как смертный грех зависит от намерения. Сложно понять, что именно задумали девушки. Чего они пытались достичь на самом деле».

Многие из наших родителей были на похоронах, но нас самих оставили дома, чтобы уберечь от скверны этой трагедии. Все они сошлись на том, что кладбище оказалось самым плоским из всех, какие им только доводилось видеть. Там не было памятников или надгробных скульптур, только утонувшие в земле гранитные плиты, а на могилах ветеранов Второй мировой, Кореи и Вьетнама — траченные дождем пластиковые американские флаги да проволочные каркасы искусственных букетов. Процессия не сразу попала за ворота кладбища из-за выставленного там пикета, но, узнав о возрасте покойной, рабочие вскоре расступились и даже опустили гневные плакаты. Внутри взорам скорбящих предстали очевидные признаки запустения. У некоторых могил скопилась грязь. Экскаватор застыл с опущенными в землю челюстями, словно призыв трудового союза застал его в самый момент работы. Члены семей умерших, приняв на себя обязанности кладбищенских сторожей, предпринимали трогательные попытки собственоручно ухаживать за могилами близких, поддерживая порядок и подкармливая зелень. Избыток удобрений выжег один участок, окрасив траву в ярко-желтый цвет. Чрезмерный полив превратил другой в болотце. Поскольку воду приходилось носить вручную (оросительную систему отключили саботажники), от могилы к могиле протянулись цепочки глубоких следов, и человеку со стороны могло показаться, будто мертвые разгуливают здесь по ночам.

Траву не подрезали уже почти семь недель, и, ожидая выноса гроба, скорбящие утопали в ней по щиколотку. Из-за низкой смертности среди подростков поставщики похоронных лавок почти не делали гробов среднего размера. Впрочем, сколачивалось немного младенческих гробиков, чуть побольше хлебницы величиной. Следом шел «взрослый» гроб, великоватый для Сесилии. Когда на церемонии прощания открыли крышку, взорам каждого предстали лишь атласная подушка и гофрированные кружева внутренней обивки. Миссис Тернер вспоминала: «С минуту мне казалось, что эта штука вообще пуста». Но затем из

глубины гроба всплыла Сесилия, словно размытая фигурка на оптической картинке, — этого не произошло сразу по причине ее незначительного веса, бледной кожи и того, что волосы сливались с белым атласом подушки. Ее одели не в свадебное платье, которое миссис Лисбон уже успела выбросить, а в бежевое с кружевным воротничком, подаренное бабушкой на Рождество: Сесилия терпеть его не могла и ни разу не надевала при жизни. Открытая створка оставляла на виду не только лицо и плечи девочки, но и ее руки с обкусанными ногтями на пальцах, ее острые локти, два одинаковых бугорка костлявых бедер и даже колени.

Только члены семьи подходили к гробу. Сначала мимо прошествовали сестры с безразличными, ничего не выражавшими лицами; люди потом говорили, что уже тогда могли бы догадаться о грядущей катастрофе. «Они словно подмигивали ей, — вспоминала миссис Каррутерс. — Им следовало бы рыдать, а что делала каждая вместо этого? Подойдет к гробу, кинет взгляд и обратно. Почему только мы не поняли сразу?» Курт ван Осдол, единственный мальчишка в семье владельцев похоронного бюро, заявил, что решился бы тайком потрогать Сесилию напоследок, прямо на глазах священника и всех остальных, если бы только и мы были там, чтобы оценить это. После того как подошла к гробу последняя из дочерей, поддерживающая мужем миссис Лисбон тоже одолела десять скорбных ступенек, чтобы покачать головой над лицом Сесилии, подрумяненным в первый и последний раз. «Посмотри на эти ногти, — вроде бы послышалось мистеру Бертону. — Разве с ними ничего нельзя было сделать?»

И тогда мистер Лисбон ответил: «Ничего, еще отрастут. Ногти ведь продолжают расти. И она уже больше не сможет грызть их, дорогая».

\* \* \*

Наши собственные познания о Сесилии тоже продолжали расти, накапливаясь с тою же противоестественной настойчивостью. Хотя она редко подавала голос и не имела настоящих подруг, у каждого остались свои яркие воспоминания о Сесилии. Кто-то из нас присматривал за нею, еще совсем малышкой, те пять минут, что требовались миссис Лисбон, чтобы вернуться в дом за забытой сумочкой. Кто-то играл с Сесилией в песочнице, сражаясь из-за лопатки, или демонстрировал свое хозяйство, спрятавшись за тутовым деревом, в искалеченный ствол которого вросла цепь ограждения.

Вместе с нею мы стояли в очереди за прививками от оспы, вместе с нею катали под языком рафинад, пропитанный профилактическим средством от полиомиелита, учили ее прыгать через скакалочку и запускать воздушных змеев, советовали не сдирать корку с болячек (множество раз), а также рекомендовали держаться подальше от питьевого фонтанчика в парке Трех миль. Кое-кто из нас влюблялся в нее, но держал это в секрете, зная, что из всех пяти сестер Лисбон самая странная именно Сесилия.

Спальня Сесилии (когда мы наконец получили ее описание от Люси Брок) подтвердила это мнение о своей хозяйке. В придачу к вращавшемуся под потолком шару с зодиакальными символами, Люси обнаружила там целую коллекцию аметистов — камней с могучими магическими свойствами, а еще наткнулась на колоду карт Таро под подушкой Сесилии, все еще хранившей запах благовоний и ее волос. Люси специально посмотрела — мы просили ее об этом, — застелена ли кровать чистыми простынями, и дала отрицательный ответ. К комнате не прикасались; ее оставили нетронутой, в качестве музея. Окно, из которого выпрыгнула Сесилия, по-прежнему оставалось распахнутым. В верхнем ящике бюро Люси нашла семь пар трусиков, окрашенных в черный цвет «Ритом». Она также увидела там пару парусиновых кед безупречной белизны. Нас это, конечно, не удивило. Мы давно уже знали о черном белье Сесилии, потому что всякий раз, когда она приподнималась на педалях велосипеда, чтобы набрать скорость, мы заглядывали ей под юбку. И частенько видели ее на ступенях позади дома, где она выводила пятна на кедах, обмакивая зубную щетку в чашку с жидким отбеливателем.

Сесилия начала вести дневник за полтора года до самоубийства. Многие посчитали, что разрисованные картинками страницы представляли собой не поддающуюся расшифровке иероглифическую вязь истории отчаяния, пусть даже большинство картинок и выглядели достаточно весело. У дневника был замочек, но Дэвид Баркер, получивший тетрадь от Скипа Ортеги, помощника водопроводчика, сказал, что Скип нашел дневник рядом с унитазом в родительской уборной, причем замок был уже взломан, — по-видимому, мистер и миссис Лисбон сами читали его. Тим Вайнэр, наш умник, настоял на том, чтобы увидеть дневник воочию. Мы принесли его в обставленный родителями Тима кабинет, где зеленели абажуры настольных ламп, красовались глобус и позолоченные обрезы толстых энциклопедий. «Эмоциональная неуравновешенность, — установил Тим, разглядывая почерк Сесилии. — Взгляните на эти точки над „i“, вот и вот, повсюду». И затем, наклонившись вперед и выставив напоказ голубые вены под бледной кожей, добавил: «В целом, перед нами

творение рук мечтательницы. Кого-то, кто утратил всякую связь с реальностью. Когда прыгала, ей, наверное, казалось, что она не упадет, а полетит».

Теперь мы знаем иные записи из дневника наизусть. Мы отнесли его на чердак Чайза Бьюэлла и многие пассажи зачитывали вслух. Мы передавали дневник по кругу, листали страницы и нетерпеливо выискивали свои имена. Мало-помалу, впрочем, до нас дошло, что Сесилия, хоть и оглядывалась по сторонам не без интереса, ни о ком из нас не помышляла. Ее дневник был свидетелем необычного взросления, и в нем редко появлялись приметы развития личности. Здесь не нашлось места обычным метаниям, жалобам, влюбленностям и мечтам. Вместо всего этого Сесилия описывала саму себя и сестер как единый организм. Часто трудно было установить, о какой из сестер идет речь, и множество темных в этом отношении фраз вызывали в воображении читателя образ мифического монстра о десяти ногах и пяти головах, лежащего на кровати, поедающего готовые бутерброды из закусочных, страдающего от визитов нежных и любящих родственниц. Большая часть дневника повествовала о том, что это значит — быть девочкой, а вовсе не о том, почему девочка кончает с жизнью. Вскоре мы уже не могли без раздражения слушать о ежедневном меню сестер Лисbon («Понедельник, 13 февраля. Сегодня мы ели замороженную пиццу...»), а также о том, что именно они надевали и какие цвета предпочитали всем прочим. Все как одна они ненавидели протертые каши. Мэри сломала зуб, ударившись о перекладину турника, и ей поставили коронку («Я же говорил», — произнес Кевин Хед, прочитав это). Мы многое узнали об их жизни, оказались посвящены в коллективные воспоминания о событиях, свидетелями которых не были, представляли маленькие памятные эпизоды: вот Люкс перегибается через перила палубы, чтобы коснуться вынырнувшей из глубин спины кита, и говорит: «Не думала, что они так воняют», на что Тереза отвечает: «Это гниют водоросли, застрявшие у кита между усов». Мы свыклись с уймой звезд, на которые засматривались девочки в давних походах, со скучой череды летних дней, потраченных на бесцельное хождение от заднего двора к газону перед домом и обратно, и даже с особым неопределенным душком, исходившим от унитазов в дождливые ночи, о котором сестры Лисbon говорили: «Пахнет трубами». Мы знали теперь, что это такое — увидеть мальчика без рубашки, и почему это зрелище заставило Люкс исписать именем «Кевин» (фиолетовым фломастером) корсаж своего платья и даже лифчики с трусиками; мы смогли понять ярость, вспыхнувшую в ней однажды, когда, придя домой, она обнаружила, что миссис Лисbon утопила

ее вещи в «Клороксе», надеясь избавиться от бесчисленных «кевинов». Мы познали холод задевающего под юбку зимнего ветра, боль судороги в коленях, вынужденных оставаться сомкнутыми в школьном классе, и то, какой злостью и тоской заполняется душа, если приходится прыгать через скакалку, в то время как мальчишки играют в бейсбол. Мы не могли, не умели понять, отчего девочек так заботит своя и чужая зрелость или почему необходимость похвалить подругу или ее наряд доставляет им столько досады, — но порой, после чтения вслух большого отрывка из дневника, мы боролись с искушением заключить друг друга в объятия или завопить о том, как нам повезло и какие мы замечательные. Мы испытали несвободу девчоночьего бытия, делавшую поток их мыслей направленным и отвлеченным одновременно, чтобы в итоге наделить, к примеру, абсолютным знанием об удачных цветовых сочетаниях. Но теперь мы видели в девчонках и своих близнецов, схожих вплоть до мелких черт. Мы поняли, что условия существования определили наше подобие — так же, как обстоит дело с одинаковым окрасом шкуры у животных; вот только наши сверстницы знали о нас решительно все, тогда как мы вовсе не умели понять их. Наконец, мы уяснили, что на самом деле они были замаскированными, переодетыми женщинами, нашедшими точные определения словам «любовь» и даже «смерть»; на нашу долю выпадало создавать беспорядок и шум, которые, кажется, их завораживали.

Дневник Сесилии говорит о ее постепенном отчуждении от сестер и, по сути дела, от какого бы то ни было повествования от собственного имени. Со страниц практически совсем исчезает местоимение в первом лице единственного числа, и этот процесс можно сравнить с движением камеры, в конце фильма отъезжающей от персонажей, чтобы поочередно показать дом, улицу, город, страну и наконец планету, которая не просто затмевает собой образы действующих лиц фильма, но и окончательно уничтожает, изглаживая их существование из памяти. Не по годам развитый стиль письма Сесилии обращается к обезличенным предметам — эпизоду из рекламного ролика (плачущий индеец гребет в своем каноэ по потоку сбрасываемых в воду нечистот) или счету потерь из репортажа о ходе «вечерней войны». Последняя треть дневника выказывает смену двух настроений. В романтических пассажах Сесилия оплакивает гибель наших вязов. В более реалистичных записях она рассуждает о том, что деревья вовсе не больны, а уничтожение зеленых насаждений составляет часть тайногоговора с целью «все сделать плоским». В тексте изредка попадаются намеки на разные «теории заговора» (иллюминаты, военно-индустриальный комплекс), но Сесилия ограничивается лишь беглыми

упоминаниями в этом направлении, не желая, видимо, поименно перечислять хитроумных заговорщиков, загрязняющих окружающую среду химическими отбросами. От обличительных выпадов она без каких-либо отступлений снова переходит к поэтическим грезам. Нам показалось, что двустишие о лете из так и не законченного ею стихотворения звучит очень даже недурно:

Деревья спешат сделать вдох, за собою маня,  
Сестра, задираясь, за волосы тянет меня.

Фрагмент датирован двадцать шестым июня, три дня спустя после возвращения Сесилии из больницы, когда мы увидели ее лежащей в траве перед домом.

\* \* \*

О душевном состоянии Сесилии в последний день ее жизни мало что известно. По уверению мистера Лисбона, она казалась довольно приближением вечеринки в ее честь. Когда он сошел вниз поглядеть, как идут дела, Сесилия стояла на стуле, красными и голубыми ленточками привязывая к потолку воздушные шарики. «Я сказал, чтобы она немедленно спустилась. Доктор говорил, ей нельзя поднимать руки над головой. Из-за швов». Она послушалась и провела остаток дня, лежа на ковре в своей спальне: глядела на зодиакальный шар и крутила те странные пластинки с кельтской музыкой, которые выписывала по почте. «Чье-то сопрано вечно распевало там о болотных топях да увядших розах». Мистера Лисбона озадачивала эта меланхолическая музыка, так явно контрастировавшая с оптимистичными ритмами его собственной юности, но, проходя по коридору, он подумал: во всяком случае, это ничем не хуже истеричного рока Люкс или нечеловеческого скрежета коротковолновика Терезы.

С двух часов дня Сесилия отмокала в теплой воде. Для нее прием подобных марафонских ванн не был чем-то из ряда вон выходящим, но после того случая мистер и миссис Лисбон не хотели рисковать. «Мы заставили ее оставить дверь приоткрытой, — рассказала миссис Лисбон. — Разумеется, ей это не понравилось. И на ее стороне было это новое оружие. Психиатр заявил нам, что Сил достигла возраста, когда ей особенно

требуется уединение». Весь остаток вечера мистер Лисбон снова и снова поднимался наверх, чтобы под разными предлогами пройти мимо приоткрытой двери. «Я ждал, пока не услышу плеска воды, и тогда шел дальше. Конечно, к тому времени мы уже убрали из ванной все острые предметы».

В половине пятого миссис Лисбон послала Люкс посмотреть, как там Сесилия. Вернувшись вниз, та не выказала озабоченности, и ничто в ее поведении не подсказывало, будто у Люкс появилось хоть слабенькое предчувствие грядущих событий. «У нее все нормально, — заявила Люкс. — Весь дом пропах солью для купания».

В половине шестого Сесилия вылезла из ванны и оделась к вечеринке. Миссис Лисбон слышала, как она ходит туда-сюда между спальнями сестер (Бонни делила свою с Мэри, а Тереза — с Люкс). Звяканье браслетов успокаивало родителей, поскольку позволяло им следить за перемещениями дочери, как если бы та была теленком с подвязанным к шее колокольчиком. За время, остававшееся до нашего прихода, до мистера Лисбона то и дело доносилось бряцание браслетов Сесилии, когда она поднималась и спускалась по лестнице, пробуя разные туфли.

По словам, прозвучавшим в разных ситуациях и в самом разном настроении, выходит, что мистер и миссис Лисбон не сочли поведение Сесилии на вечеринке сколько-нибудь странным. «В компании она всегда бывала тихоней», — пояснила миссис Лисбон. Быть может, из-за недостатка светского опыта супругам Лисбон вечеринка в подвале запомнилась как удавшееся предприятие. Напротив, миссис Лисбон была крайне удивлена просьбой Сесилии отпустить ее. «Мне казалось, она отлично проводила время». Даже в этот момент действия других сестер не позволяли предположить, что они догадывались о намерениях Сесилии. Том Фахим припомнил, что Мэри продолжала рассказывать ему о джемпере, который хотела купить в «Пенниз». Тереза и Тим Вайнер тем временем увлеченно обсуждали свои планы на поступление в колледж Лиги Плюща.<sup>[3]</sup>

Из данных позднейших находок следует, что Сесилия поднялась в спальню вовсе не столь стремительно, как нам запомнилось. Так, например, покинув нас, она ненадолго задержалась внизу, чтобы отпить грушевого соку (банку с единственной зияющей в крышке дырой она оставила на кухонном столе, проигнорировав методику двух отверстий, предписанную миссис Лисбон дочерям). Или до, или после сока Сесилия вышла на крыльцо позади дома. «Я уж решила, ее куда-то отправляют отдохнуть, — рассказывала миссис Питценбергер. — Она держала в руке

чемодан».

Никакого чемодана не нашли. Показания миссис Питценбергер мы можем объяснить только обманом зрения привыкшего носить очки человека или же ее способностью к предвидению: в позднейших самоубийствах ручная кладь сыграла не последнюю роль. В чем бы ни заключалась истина, миссис Питценбергер видела, как Сесилия притворила дверь и буквально секунды спустя уже поднималась по лестнице на второй этаж; эти ее шаги по ступеням мы вполне отчетливо слышали снизу. Войдя в свою спальню, Сесилия щелкнула выключателем, хотя на улице еще было светло. Из дома через улицу мистер Бьюэлл видел, как она распахнула окно спальни. «Я помахал рукой, но она не заметила», — сказал он нам. Как раз в это мгновение из соседней комнаты до него донесся стон жены. Мистер Бьюэлл узнал о самоубийстве Сесилии, когда фургон «скорой помощи» уже уехал. «К сожалению, у нас были тогда и свои проблемы», — вот собственные его слова. Мистер Бьюэлл направился проводить больную супругу, а Сесилия в это время высунулась из окна, чтобы вдохнуть багряный, влажный, душный воздух.

## 3

Цветы появились в доме Лисбонов позднее положенного срока. Из-за щекотливого оттенка понесенной ими утраты большинство людей решили не посыпать венков и букетов в зал для прощания, и вообще многие не спешили делать заказы, поскольку не знали еще, следует ли переждать катастрофу, храня молчание, или же отнестись к ней так, словно смерть Сесилии была вполне естественной. В итоге, однако, каждый что-то послал — венок белых роз, букетик орхидей, плакучие пионы. Питер Лумис, развозивший заказы, говорил, что цветы буквально заполонили гостиную Лисбонов. Букеты лавинами обрушивались со стульев и, никем не потревоженные, оставались лежать на полу. «Их даже не ставили в вазы», — негодовал Питер. Многие остановили выбор на готовых карточках с надписью: «Сочувствуем» или «Примите наши соболезнования», но те, кто гордился происхождением от первых поселенцев и привык по любому случаю посыпать письма, потрудились над личным выражением скорби. Миссис Бердс воспользовалась цитатой из Уолта Уитмена, которую мы еще долго шептали друг другу: «Все идет вперед и вперед, ничто не погибает. Умереть — это вовсе не то, что ты думал, но лучше». [4] Перед тем как подсунуть открытку под дверь Лисбонов, Чейз Бьюэлл заглянул, что написала его мать. Там было: «Не представляю себе, что вы сейчас чувствуете. Даже и притворяться не стану».

Лишь очень немногие отважились лично принести соболезнования. Мистер Хатч и мистер Питерс порознь заходили для этого к Лисбонам, но их отчеты мало в чем расходятся. Мистер Лисбон пригласил обоих пройти в дом, но прежде чем они смогли затронуть болезненную тему цели своего визита, он усадил каждого перед телевизором, где шел бейсбольный матч. «Да он только об игре и трещал, — говорил мистер Хатч. — Черт, да я сам был в колледже подающим. Пришлось объяснять ему самые простые вещи. Начать с того, что он все нахваливал Миллера, а тот и бегать-то толком не мог. Я забыл, ради чего явился». Мистер Питере добавил: «Парень наполовину отсутствовал. Он все крутил ручку настройки цвета, так что поле стало практически синим. Потом отходил и садился. И тут же вскакивал снова. Явилась одна из девиц — их можно хоть как-то различать? — и принесла нам по пиву. Хлебнула из отцовской банки и только потом отдала».

Оба так и не заговорили о случившемся. «Мне хотелось, действительно хотелось, — пояснил мистер Хатч, — да все как-то было некстати».

Отец Муди выказал большую настойчивость. Пригласив духовника пройти в дом, мистер Лисбон предложил ему, как и остальным, сесть перед телевизором и посмотреть бейсбол. Через несколько минут, точно по сигналу, Мэри принесла им пиво. Но отвлечь священника было не так-то просто. В самом начале второго иннинга он спросил:

— Может, нам пригласить вашу супругу спуститься? Поболтали бы немножка.

Мистер Лисбон, сгорбившись, подался к экрану.

— Боюсь, сейчас она никого не принимает. Нездорова.

— Она примет своего духовника, — возразил отец Муди и решительно встал. Мистер Лисбон поднял два пальца. В глазах его стояли слезы.

— Отец, — произнес он, — разыгрывают двойную подачу, святой отец!

Паоло Конелли, алтарный служка, подслушал разговор отца Муди с Фредом Симпсоном. Священник рассказывал хормейстеру о том, как оставил «этого странного человека, да простит меня Господь за подобные речи, но Он сам создал его таким», и поднялся по лестнице. Признаки запустения уже виднелись в доме там и тут, но пока не шли ни в какое сравнение с тем, во что жилище Лисбонов превратилось позднее. Комочки пыли обрамляли каждую ступеньку. На площадке наверху лежал сэндвич с открученным краем, оставленный кем-то, кому кусок не полез в горло. Поскольку миссис Лисбон перестала заниматься стиркой и даже покупать порошок, девушки теперь стирали вручную в ванне, и отец Муди, проходя мимо, заметил блузки, брюки и белье, развешанные поверх занавеса. «Звуки были довольно приятные, — сообщил он, — совсем как капли дождя». С пола поднимался пар, насыщенный ароматом жасминового мыла (недели спустя мы попросили продавщицу отдела косметики в «Якобсенс» продать нам несколько кусков такого мыла, чтобы самим вдохнуть этот запах). Отец Муди постоял у двери ванной, слишком робкий, чтобы войти в эту сырую пещеру, ведущую в обе совместные спальни девочек. Внутри, не будь он священником и оглянись по сторонам, он увидел бы уподобленный царскому трону унитаз, где сестры Лисбон прилюдно опорожняли кишечник, и ванну, которую они, набив подушками, использовали как тахту, чтобы две сестры могли возлежать там, глядя на третью, завивавшую волосы. Его взгляду предстали бы загроможденная стаканами и банками из-под лимонада батарея отопления и в силу нужды превращенная в

пепельницу большая морская раковина. С двенадцати лет Люкс часами курила в ванной комнате, сидя на толчке и выдыхая дым либо в приоткрытую форточку, либо во влажное полотенце, которое впоследствии вывешивала наружу. Но отец Муди ничего этого не увидел. Он миновал распахнутую дверь, из которой вырывался воздух тропиков, и только. За его спиной по дому гуляли более прохладные воздушные течения, катавшие по половицам клочья пыли и разносившие тот особый запах семейного очага, которым обладает каждое жилище: дом Чайза Бьюэлла пах кожей, дом Джо Ларсона — майонезом, а дом Лисбонов, как нам казалось, — подвящей воздушной кукурузой; впрочем, отец Муди, побывавший там уже после того, как череда смертей началась, сказал: «То была смесь запахов похоронного бюро и шкафчика для щеток. Все эти цветы. Вся эта пыль». Ему хотелось вновь оказаться в благоухании жасмина, но он не двигался, прислушиваясь к звукам дождевых капель, постепенно смывавших отпечатки ступней с половых плиток, пока до него не донеслись голоса. Тогда священник быстро обошел коридор, громко вы кликая миссис Лисбон, но та не отвечала. Вернувшись к лестнице, он начал было спускаться, но в этот миг увидел сестер через узкую щель приоткрытой двери.

«В то время девушки не намеревались повторить ошибку Сесилии. Я знаю, все кругом думают, что таков был их план с самого начала, а мы пустили все на самотек, но тогда они были столь же потрясены трагедией, как и я сам». Отец Муди тихонько постучал в дверь и попросил разрешения войти. «Сестры сидели на полу, все вместе, и я сразу увидел, что совсем недавно они плакали. Наверное, собирались поболтать или погоревать вместе. Кругом лежали подушки. Не хочется этого говорить, и я помню, что упрекнул себя тогда за подобную мысль, но ошибиться было невозможно: они перестали мыться».

Мы поинтересовались у отца Муди, обсуждал ли он с девушками смерть Сесилии или их скорбь по сестре, но он ответил отрицательно. «Я пытался заговорить об этом пару раз, но они не поддержали разговор. По опыту я уже знал, что давить не стоило. Для подобных бесед следует выбрать нужное время и дождаться отклика сердец». Мы попросили выразить в нескольких словах его впечатление о состоянии девушек на тот момент, и он ответил: «Потрясены, но не сломлены».

\* \* \*

В первые дни после похорон наш интерес к сестрам Лисбон только нарастал. К их личной привлекательности добавилась новая загадка, мистика утонченно безмолвного страдания, заметного по голубоватым припухостям у них под глазами или по тому, как порой они замирали на полусладе, опустив лицо и качая головой, словно бы разойдясь во мнениях с самой жизнью. Скорбь гнала их прочь из дома. До нас доходили рассказы о сстрахах, бесцельно бродивших по Истленду, по ярко освещенной аллее с трепетом ее фонтанов и запахом жареных сосисок, насаженных на колья меж раскаленных решеток. Время от времени они касались кончиками пальцев то блузки, то платья в магазинчиках, но никогда ничего не купили. Вуди Клабо видел, как Люкс Лисбон разговаривала с байкерами, устроившими свою стоянку неподалеку от магазина «Хадсонс». Один из мотоциклистов предложил ей прокатиться, и, посмотрев в сторону дома, до которого было никак не меньше десяти миль, Люкс ответила согласием. Усевшись позади, она обхватила этого парня за пояс. Привычно взмыкнув, тот запустил двигатель. Позже люди видели, как Люкс возвращалась домой пешком, неся туфли в руке.

В подвале у Кригеров мы лежали на полоске неиспользованного линолеума и придумывали все новые способы, как утешить сестер Лисбон. Одни из нас мечтали поваляться с ними в траве, другие — сыграть им на гитаре, спеть для них. Пол Балдино хотел отвезти их всех на пляж, чтобы каждая хоть немного загорела. Чейз Бьюэлл, под влиянием своего ударившегося в богословие отца, объявил, что девушки нуждаются в «помощи, идущей не от мира сего». Но когда мы поинтересовались, что он хочет этим сказать, Пол ответил: «Ничего». В любом случае, когда сестрам Лисбон случалось пройти мимо, мы часто находили Пола скорчившимся под деревом. Его глаза были закрыты, а губы беззвучно шевелились.

Но отнюдь не все были поглощены мыслями о девушках. Еще до похорон Сесилии кое-кто из жителей не мог рассуждать ни о чем, кроме грозящей нам опасности в виде ограды, на которую Сесилия спрыгнула. «Этот несчастный случай непременно должен был произойти, — говорил мистер Франк, работавший в страховом агентстве. — Увидев этот забор, ни один агент не выписал бы полис».

«Наши дети тоже могут спрыгнуть на него», — за чашечкой кофе уверяла подруг миссис Заретти после воскресной мессы. Вскоре после этого несколько отцов семейств взялись выкопать это сооружение своими силами, причем совершенно бесплатно. Выяснилось, что ограда стояла на земле, принадлежащей Бейтсам. Мистер Бак, адвокат, договорился с мистером Бейтсом о том, чтобы снести ограду, но с мистером Лисбоном не

встречался вовсе. Все, разумеется, посчитали, что Лисбоны будут лишь счастливы, если та исчезнет из-под окон.

Мы крайне редко видели, чтобы наши отцы, в тяжелых рабочих ботинках, копались в земле, орудуя свежеприобретенными резаками для корневищ. Ограда сопротивлялась, и они вели борьбу в едином порыве, с полной отдачей, с надрывом — как морские пехотинцы, водрузившие флаг на Иводзиме.<sup>[5]</sup> То была величайшая демонстрация объединенных усилий соседских домов, какую мы только могли припомнить: все эти адвокаты, доктора наук и банкиры трудились в траншее рука об руку, а наши матери выносили им бутылки с оранжадом, и эпоха на мгновение вернула себе давно минувшее благородство. Даже воробы на проводах телефонных линий, казалось, взирают на них с нескрываемым уважением. Автомобили не проезжали мимо, не замедлив хода. Заводской смог над городом придавал работающим мужчинам сходство с вгрызшимися в породу рудокопами, но время перевалило за полдень, а они пока так и не сумели вытащить ограду. Мистеру Хатчу пришла в голову мысль перепилить решетку, как это делали санитары, и какое-то время мужчины пилили ее по очереди, но их руки, привыкшие разве что перекладывать бумаги, быстро уставали. В итоге они примотали ограду к полноприводному «бронко» дядюшки Такера. Отсутствие у Такера водительской лицензии, кажется, никого не волновало (инструктор по вождению всякий раз чуял в его дыхании перегар; даже если дядюшка Такер не брал в рот ни капли уже целых три дня, экзаменаторы улавливали алкоголь, испарявшийся из пор его кожи). Наши отцы просто крикнули: «Жми!», дядюшка Такер втопил педаль акселератора, но ограда даже не шелохнулась. К наступлению вечера они оставили всякие попытки стронуть ее с места и скинулись, чтобы нанять профессиональных буксировщиков. Спустя час подъехал одинокий работник в грузовике-тягаче, зацепил за ограду крюком, нажал кнопку, заставившую вращаться его громадную лебедку, и убийственный забор выскоцил из ямы с глубоким вздохом неохотно выпустившей его земли. «Кровь до сих пор видна», — заметил Энтони Теркис, и мы тоже пригляделись: не проявилась ли кровь, невидимая на пике ограды в момент самоубийства, спустя столько времени? Кто-то заметил ее следы на третьем пруте с краю, кто-то — на четвертом, но увидеть их было так же маловероятно, как и обнаружить окровавленную лопату на обложке «Эбби Роуд», где буквально все указывало на одну простую истину: Пол мертв.<sup>[6]</sup>

Никто из Лисbonов не помогал сражаться с оградой. Время от времени, впрочем, мы замечали в окнах быстро исчезавшие лица. Едва

тягач вытянул забор из ямы, мистер Лисбон собственной персоной вышел из боковой двери и сложил садовый шланг аккуратными кольцами. К траншею он и близко не подошел, только поднял руку в соседском приветствии и вернулся в дом. Рабочий привязал секции ограды к грузовику и (получив за это наличными) разворотил мистеру Бейтсу газон. Мы были потрясены тем, что наши родители позволили подобное святотатство, в то время как обычно незначительного посягательства на целостность лужаек бывало достаточно, чтобы вызвать копов. Теперь же мистер Бейтс не стал возмущаться и не записал номер грузовика, миссис Бейтс (заплакавшая, когда мы запустили фейерверк на ее клумбе с лучшими тюльпанами в штате) не произнесла ни слова, да и наши собственные предки тоже смолчали, — вот тогда мы и ощутили, насколько же все они стары, насколько привычны к травмам, кризисам и войнам. Мы поняли, что устройство мира, поддерживаемое ими ради нас, не походило на тот миропорядок, в который они сами по-настоящему верили, и что после всех трудов и нытья о ползучих сорняках, их распрекрасные газоны были им попросту до лампочки.

Когда грузовик с лебедкой скрылся из виду, наши отцы в последний раз сгрудились над ямой, разглядывая извивавшихся там дождевых червей, гнутые ложки и камень, в котором Полу Литтлу померещился наконечник индейской стрелы. Опираясь на лопаты, они платками вытирали пот со лбов, хотя сами ничего и не добились. Каждый почувствовал себя намного лучше, будто вода в озере вдруг очистилась от грязи, или воздух стал чище, или бомбы вероятного неприятеля рассыпались на части, все до единой. Мало что могло уберечь нас от напастей, но ограда у дома Лисбонов, по крайней мере, исчезла навсегда. Несмотря на варварское разорение газона, мистер Бейтс как ни в чем не бывало подровнял ему края, а престарелая чета Хессенов выбралась в свою увитую плетьми винограда беседку выпить по бокалу десертного вина. Как всегда, на головах у обоих немцев красовались альпийские шапочки (у мистера Хессена ее украшало крохотное зеленое перышко), а на поводке сопел шнауцер. Над старой четой лопались спелые виноградины. Сгорблена спина миссис Хессен то пропадала, то вновь вырастала над буйными розовыми кустами, которые та опрыскивала.

В какой-то момент мы посмотрели на небо и увидели, что последние в этом сезоне мошки уже погибли. Воздух казался уже не коричневым, но голубым. С помощью кухонных метелок мы смели насекомых со столбов, с окон, с проводки. Мы набили ими большие пакеты — тысячами и тысячами крошечных телец с крыльями из шелка-сырца, и Тим Вайнэр, наш

мыслитель, нашел определенное сходство между брюшками нашей мошки и хвостами омаров. «Они поменьше, — объяснил Тим, — но принципиальной разницы в строении нет. Омары относятся к Phylum Arthropoda, как и все насекомые. Они, в общем, тоже жуки. А крылатые мошки — это единственные омары, научившиеся летать».

Никто так и не взял в толк, что это нашло на нас в том году и почему мы вдруг так возненавидели покрывшую нашу жизнь корку из мертвых мошек. В общем, в какой-то момент мы уже не могли выносить всю эту летучую пакость, плёнкой затянувшую бассейны в наших дворах, забившую наши почтовые ящики, измаравшую звезды на наших флагах. Совместный акт уничтожения ограды заставил и нас сообща подметать, таскать пакеты, поливать. Метлы шуршили во всех направлениях, и бледные призраки мошки серыми хлопьями опадали со стен. Мы рассматривали их сморщеные старческие личики, растирали их меж пальцами, пока в воздухе не появлялся слабый запах рыбы. Мы пытались жечь их, но они не желали гореть (и это делало их еще мертвее). Мы околачивали кустарник, выбивали ковры, на полную катушку включали автомобильные «дворники». Мошка забила водостоки, и ее приходилось палками проталкивать внутрь. Скорчившись над отверстиями слива, мы прислушивались к шуму бегущей под городом реки. Мы бросали туда камни и старались не дышать, ожидая всплеска.

Закончив уборку собственных домов, мы не остановились на этом. Едва наши стены очистились, мистер Бьюэлл отправил Чайза смести мошек с дома Лисбонов. Благодаря своим религиозным убеждениям, мистер Бьюэлл нередко и сам проходил эту «лишнюю милю» — работая граблями, не считал зазорным на десяток футов углубиться на территорию соседей, Хессенов, счищал снег с их дорожки и даже разбрасывал по ней соль. Для него не казалось странным послать Чайза вычистить дом и двор Лисбонов, даже если они и жили не рядышком, а через улицу. Поскольку в этой семье росли только дочери, мальчики и мужчины и прежде вызывались подсобить мистеру Лисбону, скажем, оттащить со двора сбитые ударом молнии ветки, — так что, когда Чайз приблизился к дому, подняв метлу над головой, словно та была белым флагом капитуляции, никто и словечка не сказал. Затем, однако, мистер Кригер попросил Кайла поработать щеткой, а мистер Хатч выслал на подмогу Ральфа — так что вскоре все мы собирались во дворе Лисбонов, обметая стены метлами и прилежно сцарапывая с них невесомые хитиновые скорлупки. Мошки здесь было даже побольше, чем у нас, налет на стенах достигал толщиной дюйма, и Пол Балдино огорожил нас загадкой: «Что это — пахнет рыбой и

тает во рту, но не рыба?»

Стоило нам подойти к окнам Лисбонов, как наши новые невысказанные чувства по отношению к сестрам напрямую заявили о себе. Смахивая насекомых, мы увидели в кухне Мэри Лисбон с пачкой макарон с сыром от «Крафта» в руках. Казалось, она не может решиться вскрыть ее. Мэри изучила указания по приготовлению, перевернула коробку, уставилась на яркую этикетку, но потом все-таки вернула ее на полку. Прижимаясь лицом к стеклу, Энтони Теркис протянул: «Должна же она съесть хоть что-нибудь». Постояв, Мэри вновь достала коробку. Исполненные надежды, мы ждали дальнейших действий, но она развернулась и исчезла из нашего поля зрения.

Снаружи успело стемнеть. Вокруг один за другим загорались огни, но дом Лисбонов был погружен во тьму. Обстановка комнат потускнела, и вскоре стекла не выдавали уже ничего, кроме отражений наших собственных лиц. Было лишь девять часов, но люди, похоже, говорили правду: после самоубийства Сесилии Лисбоны едва могли дождаться наступления сумерек, чтобы забыться сном. В окне спальни на втором этаже три церковные свечи Бонни, дрожа, рассеивали красноватое мерцание, но в остальном дом будто бы впитал в себя ночные тени. Стоило нам повернуться к нему спиной, и спрятавшаяся в своих укрытиях живность завела обычную стрекотню, летевшую, казалось, со всех сторон. Все называют их сверчками, но нам ни разу не удавалось поймать хоть одного в опрыскиваемых химикатами кустах или в свежескошенной траве, так что никто из нас не представлял себе, как они выглядят. Для нас эти жучки так и остались чем-то бестелесным; сверчок — это не более чем звук его песни. А ведь наши родители водили с ними более тесное знакомство. Песнь сверчка, очевидно, не казалась им всего лишь механическим скрежетом. Она летела отовсюду, но непременно с высоты чуть выше или чуть ниже наших голов, и всегда заставляла предположить, что мир насекомых куда более насыщен сложными чувствами, чем наш собственный. Когда мы стояли во дворе, прислушиваясь к сверчкам, завороженные их трелями, из боковой двери выскоулзнул мистер Лисбон и поблагодарил нас за помощь. Нам показалось, что в волосах отца Сесилии прибавилось седины, но скорбь по дочери никак не отразилась на звуке его высокого голоса. На нем был рабочий комбинезон со следами опилок на колене. «Можете воспользоваться шлангом, если хотите», — разрешил он и проводил взглядом проезжавший мимо фургон с надписью «Хорошее настроение». Кажется, это зрелище вызвало в мистере Лисбоне какие-то воспоминания, потому что перед тем, как вернуться в дом, он то ли

улыбнулся, то ли моргнул — трудно сказать, что именно промелькнуло на его лице.

Мы последовали за ним — спустя уже много лет — призраками собственных расспросов. По всей видимости, войдя в дом, мистер Лисбон увидел вышедшую из столовой Терезу. Она набивала рот конфетами («M&Ms», судя по цвету), но прекратила это занятие, увидев отца. Все, что уже оказалось во рту, Тереза проглотила не жуя. Ее высокий лоб блестел в свете уличных фонарей, а губы сердечком казались меньше, ярче и более правильной формы, чем мистер Лисбон мог припомнить, — особенно по контрасту с немного оплывшими в последнее время щеками и подбородком. На ресницах Терезы виделись комочки слизи, словно совсем недавно кто-то заклеивал ей глаза. В этот момент у мистера Лисбона появилось ощущение, что перед ним стоит совершенно чужой человек, что он едва ли знает, кто такая Тереза, что дети — лишь незнакомцы, временно разделяющие жилье с родителями; тогда он шагнул вперед, чтобы познакомиться с дочерью. Опустил руки на плечи Терезе, но сразу же уронил их. Дочь отбросила с лица волосы, улыбнулась и стала медленно подниматься по лестнице.

Мистер Лисбон исполнил привычный вечерний ритуал: проверил, закрыта ли парадная дверь (не закрыта), выключен ли свет в гараже (выключен) и не осталось ли на кухне зажженной конфорки (не горела ни одна). Он потушил свет в уборной на первом этаже, где обнаружил корректирующую зубную скобку Кайла Кригера: она лежала там с тех пор, как Кайл вынул ее изо рта, чтобы съесть ломоть пирога на той памятной вечеринке. Мистер Лисбон промыл скобку водой и хорошенъко осмотрел точно подогнанную к нёбу Кайла розовую створку раковины, повторяющие выступы его десен углубления в пластике и согнутый в нужных местах проволочный полукруг передней части (с отчетливыми следами от плоскогубцев), осуществлявший тщательно выверенное давление на зубы. Мистер Лисбон понимал, что родительский и соседский долг повелеваю ему упаковать скобку в футляр на молнии, позвонить Кригерам и сообщить, что их дорогостоящее приспособление найдено и находится в надежных руках. Подобные поступки — простые, человеческие, добрые, великодушные — служат опорой жизни в обществе, позволяя человеку чувствовать себя комфортно среди ему подобных. Всего несколько дней тому назад мистер Лисбон еще был способен именно так и поступить. Но теперь он, подержав скобку в руках, уронил ее в унитаз.

Нажал ручку слива. Борясь с разыгравшейся стихией, скобка исчезла в фарфоровом зеве, но, когда поверхность воды успокоилась, с победной

издевкой всплыла наверх. Мистер Лисбон подождал, пока бачок не заполнится вновь, и снова нажал на слив, но эффект был прежним. Точная копия мальчишеского рта словно бы отказывалась тонуть, скользя по гладким белым утесам.

В эту минуту что-то шевельнулось на периферии зрения мистера Лисбона: «Мне показалось, там кто-то был, но, обернувшись, я ничего не увидел». Ничто не привлекло его взгляд и позднее, когда он вернулся из холла в прихожую и поднялся по лестнице. Оказавшись на втором этаже, мистер Лисбон прислушался под дверью, но до него донесся лишь сонный кашель Мэри да мурлыканье Люкс, шепотом подпевавшей приемнику. Он вошел в уборную сестер. Луна выкатилась на небо, и ее луч проник в окно, слегка осветив зеркало. Среди смазанных отпечатков ладоней зиял начисто вытертый овал, где девушка пристально изучали свое отражение, — а над самим зеркалом Бонни приклеила кусочком липкой ленты белого картонного голубка. Мистер Лисбон разжал губы, сстроив гримасу, и ясно увидел в овале, что один из мертвых клыков у него во рту успел основательно пожелтеть. Двери в общие спальни девушек были прикрыты не плотно, и оттуда доносились невнятное бормотание вперемешку с размеренным шелестом дыхания. Он прислушивался к этим звукам, как если бы те могли сообщить ему о чувствах девушек и о том, как можно утешить дочерей. Люкс выключила радио, и наступила тишина. «Я не мог войти, — признался нам мистер Лисбон годы спустя. — Не знал, что сказать». И лишь выскользнув из ванной, чтобы самому забыться сном, мистер Лисбон увидел призрак Сесилии. Она стояла в собственной спальне, успевшая каким-то образом избавиться от душившего ее в гробу кружевного воротничка и вновь надеть свадебное платье. «Окно все еще было распахнуто, — рассказывал мистер Лисбон. — По-моему, никто просто не догадался притворить его. Мне все стало вдруг ясно. Я понял, что должен немедленно закрыть окно, иначе Сесилия вечно будет бросаться вниз».

Если верить воспоминаниям мистера Лисбона, он даже не вскрикнул. Он вообще не хотел разговаривать с тенью дочери, не желал знать, почему та покончила с собой, не собирался просить у нее прощения или устраивать ей нагоняй. Он просто метнулся к окну, пробежав мимо Сесилии, чтобы поскорее закрыть его. Впрочем, сделав это и обернувшись, он ясно увидел, что призраком оказалась Бонни, завернутая в простыню. «Не волнуйся, — тихо произнесла она. — Ограды больше нет, ее снесли».

\* \* \*

В своей записке, выведенной отточенным за годы учебы в Цюрихе искусственным почерком, доктор Хорникер пригласил мистера и миссис Лисбон на повторное собеседование, но они так и не явились. Вместо этого, судя по нашим наблюдениям в конце того лета, миссис Лисбон вновь обрела контроль над домом, тогда как мистер Лисбон словно растворился в тумане, окончательно уступив инициативу супруге. Вновь представ перед нами впоследствии, он имел сконфуженный, робкий вид человека не от мира сего. К концу августа, в те несколько недель подготовки к школе, он стал покидать дом через дверь на заднем дворе, будто украдкой. Его машина завывала в гараже и, стоило подняться автоматической двери, нерешительно выбиралась наружу из его недр, припадая на бок, словно пес с перебитой лапой. Сквозь ветровое стекло нам был виден сидящий за рулем мистер Лисбон с еще влажными волосами и иногда с разводами крема для бритья на щеках — но лицо его ровным счетом ничего не выражало вплоть до момента, когда в конце подъездной дорожки выхлопная труба высекала сноп искр из асфальта (что происходило всякий раз). В шесть часов вечера он возвращался домой. Дверца гаража, содрогаясь, ползла вверх, чтобы впустить его, — и мы больше не видели мистера Лисбона, пока на следующее утро удар выхлопной трубы не объявлял о его отъезде на работу.

Сестер Лисбон вообще не было видно — за исключением того единственного случая, когда Мэри без предварительного звонка объявилась в стоматологическом кабинете доктора Бекера. Наша беседа с ним, состоявшаяся через много лет, проходила под беззвучный хохот десятков гипсовых слепков с зубов, расставленных на всеобщее обозрение за стеклами шкафов. Каждый слепок имел бирку с именем несчастного ребенка, которого когда-то заставили набить рот гипсовой кашей, и при виде этих экспонатов сразу ожили наши воспоминания о средневековых пытках, перенесенных в кресле того или иного дантиста. Таким образом, мы далеко не сразу смогли сосредоточиться на словах доктора Бекера, вновь ощущив холод его щипцов на своих коренных зубах и натяжение резиновой повязки, крепко прижавшей нижнюю челюсть к верхней. Наши языки задергались во ртах, нащупывая оставленные скобками старые рубцы и давно заросшие мягкой плотью углубления в деснах на месте удаленных зубов; даже пятнадцать лет спустя мы ощутили сладковатый привкус крови. Но доктор Бекер продолжал говорить: «Я запомнил Мэри,

потому что она пришла на прием без родителей. Ни один ребенок не делал этого раньше. Когда я поинтересовался, что ей угодно, она сунула в рот два пальца и приподняла верхнюю губу. Потом спросила: „Сколько?“ Беспокоилась, что родители окажутся не в состоянии заплатить по счету».

Доктор Бекер отказался назвать Мэри Лисбон точную сумму. «Приходи с матерью, и мы все обсудим», — сказал он. Честно говоря, возиться пришлось бы долго, поскольку у Мэри, как и у других сестер, выросло два лишних клыка. Разочарованная, она улеглась в кресло и подняла ноги на подставку, прислушиваясь к журчанию струйки воды, набиравшейся по тонкой стальной трубочке в чашку для полоскания. «Мне пришлось оставить ее в кресле, — рассказал доктор Бекер. — Меня уже ждали пятеро юных пациентов. Потом помощница рассказала мне, что слышала плач девочки».

Сестры Лисбон не появлялись вместе на людях вплоть до общего собрания школы. 7 сентября, в день, когда прохлада омрачила все надежды на бабье лето, Мэри, Бонни, Люкс и Тереза пришли в школу — так, словно вообще ничего не произошло. Потеря заставила их сомнуть строй, но мы все же сумели усмотреть новые различия меж сестрами, и ощущение, что если мы будем очень внимательны, то сможем подобраться к самой сути — приблизиться к пониманию владеющих девушками чувств и разобраться, кто они такие, — уже не оставляло нас. Миссис Лисбон не ходила с дочерьми за новыми школьными костюмами, так что на них были прошлогодние. Строгие платья были чересчур тесны им (вопреки всему девушки продолжали развиваться физически), и это, кажется, смущало сестер. В надежде отвлечь взгляды Мэри украсила себя браслетом из нанизанных на леску деревянных ягод клубники — того же пылающего цвета, что и ее шарф. Юбка в шотландскую клетку оказалась слишком коротка для Люкс и открывала не только ее обнаженные колени, но и по дюйму каждого бедра. На Бонни было нечто напоминающее плащ-палатку, с причудливыми извивами отделки по кайме. Тереза же надела белое платье, похожее на лабораторный халат. Так или иначе, сестры вошли в сразу зашумевшийся актовый зал единой группой с гордо поднятыми головами. Бонни собрала единственный букетик поздних одуванчиков на лужайке возле школы и теперь щекотала ими щеки Люкс, проверяя, любит ли та масло, — игра старая как мир. Недавнее потрясение не оставило на лицах девушек явного следа, но, рассевшись, они остались меж собой один пустой складной стул, словно сохраняя его за Сесилией.

Девушки не пропустили ни дня уроков, как, впрочем, и сам мистер Лисбон, преподававший с прежним энтузиазмом. Он продолжал вытягивать

из учеников ответы, делая вид, будто намерен придушить их, и с лихорадочной быстротой царапал на доске уравнения в окружении облачка меловой пыли. Во время перерыва на ленч, однако, он уже не удалялся в учительскую, но ел в классе, за своим столом, принося туда из школьного кафетерия яблоко и блюдце творога. В его поведении появлялись и иные странности. Так, мы замечали, что во время прогулок по Научному крылу он беседует с ползучими растениями, свесившими плети с «геодезических»<sup>[7]</sup> оконных проемов. По прошествии первой недели занятий он стал читать свои лекции, не поднимаясь с врачающегося стула: он то подкатывал на нем поближе к доске, то отъезжал к столу, оправдываясь повышенным содержанием сахара в крови. После уроков, в качестве помощника тренера по бейсболу, он стоял позади ворот и выкрикивал счет матча; когда же тренировка подходила к концу, брел по размеченному мелом полю, собирая брошенные учениками мячи в грязную холщовую сумку.

Мистер Лисбон подъезжал к школе в одиночестве, на час раньше спавших до последнего дочерей, которых доставлял автобус. Зайдя с главного входа, он шагал прямо в свой кабинет мимо оружейной комнаты (атлетическая команда школы называлась «Рыцари»), и его встречали все девять планет Солнечной системы, закрепленные на панелях под потолком (шестьдесят шесть отверстий в каждом квадрате, если верить Джо Хиллу Конли, который пересчитывал их на уроке). Планеты удерживались на месте при помощи тонких, почти незаметных белых струн. Каждый день они поворачивались вокруг своих осей и чуть-чуть продвигались вперед по траекториям: всем этим космосом управлял мистер Лисбон, который ежедневно поворачивал рычажок рядом с точилкой для карандашей, предварительно заглянув в астрономические таблицы. Под планетами висели черно-белые треугольники, оранжевые спирали, голубые конусы со снимающимся верхом. На столе мистера Лисбона был выставлен в собранном виде куб Сома,<sup>[8]</sup> раз и навсегда туго-натужно заклеенный липкой лентой. Сбоку от доски в проволочных зажимах крепились пять мелков, с помощью которых он мог рисовать нотный стан для секции мужского хора, которую вел. Мистер Лисбон преподавал математику уже столько времени, что в его кабинете была даже установлена раковина для умывания.

В отличие от отца, сестры Лисбон попадали в школу через боковой вход, украшенный клумбой поникших нарциссов, высаживаемых по весне миниатюрной, но прилежной и трудолюбивой супругой директора. Разойдясь по своим шкафчикам в раздевалке, девушки вновь собирались в

кафетерии во время перерыва на сок. Прежде Джулия Фриман считала себя лучшей подругой Мэри Лисбон, но после самоубийства Сесилии они и разговаривать-то перестали. «Она была прекрасной подругой, но я больше не могла этого выносить. Мэри меня просто бесила. И потом, к этому времени я уже стала встречаться с Тоддом». По школьным коридорам сестры Лисбон проходили с завидным самообладанием, прижав к груди учебники и устремив взгляды в пространство: они видели там что-то, что не дано было узреть нам. Сестры походили на Энея, который (как выяснилось после извлечения его из забвения книжной пыли) побывал в подземном царстве, встречался там с мертвыми и вернулся наверх с навсегда поселившейся в груди печалью.

Кто мог догадываться, о чем они думают или что чувствуют? Люкс по-прежнему глуповато хихикала, Бонни все так же теребила четки, спрятанные в глубине кармана вельветовой юбки, Мэри не изменила платьям, которые могла бы примерить и «первая леди», а Тереза вновь отказывалась снимать защитные очки в школьных коридорах, — но при этом они потихоньку отдалялись от нас, от других девочек, от собственного отца... Мы видели, как они стоят во дворе школы под моросящим дождем, по очереди откусывая от одного пончика, запрокинув головы в небо и постепенно вымокая до нитки.

\* \* \*

С сестрами Лисбон мы разговаривали урывками, когда каждый добавлял по фразе в общую беседу. Первым был Майк Оррайо. Его шкафчик располагался по соседству со шкафчиком Мэри, и однажды, выглянув из-за приоткрытой дверцы, он поинтересовался: «Как дела?» Волосы занавесом укрывали опущенное лицо Мэри, и Майк не понял, был ли услышан, пока та не пробурчала: «Нормально». Так и не обернувшись, Мэри хлопнула металлической дверцей и поплыла прочь, сжимая в руках стопку учебников. Сделав несколько шагов прочь, она одернула юбку сзади.

На следующий день Майк специально подождал ее и, когда Мэри открыла шкафчик, добавил еще одну фразу к начатому разговору: «Я Майк». На сей раз Мэри Лисбон вполне внятно выдохнула сквозь волосы: «Я знаю, как тебя зовут. Мне кажется, я провела в этой школе не меньше всей своей жизни». Майк Оррайо хотел сказать еще что-нибудь, но лишился дара речи, когда Мэри наконец повернулась к нему и посмотрела в

глаза. Он так и стоял там, без толку открывая рот, пока не услышал: «Ты ведь не обязан со мной разговаривать».

Другим повезло больше. Чип Уиллард, любитель побродить по школьному двору после уроков, однажды подошел к Люкс, когда та сидела, нежась на солнышке (то был один из последних теплых дней в году), и у нас на глазах (мы наблюдали из мансарды на втором этаже) присел рядом с ней. На Люкс была ее школьная юбка из шотландки и белые гольфы. Туфли-лодочки казались новыми. До того как к ней подошел Уиллард, она лениво ковыряла ими землю. Потом поставила ноги пошире, завела обе руки за спину и, опервшись на них, обернула лицо к последним лучам ушедшего лета. Подойдя, Уиллард заслонил ей солнце и о чем-то заговорил. Люкс поставила ноги вместе, почесала коленку и снова встала поудобней. Уиллард опустился на мягкую землю. Ухмыляясь, он подался к Люкс и, хотя нам ни разу не доводилось слышать из его уст что-либо разумное, умудрился рассмешить ее. Кажется, он знал, что делает, и мы были поражены глубиною знаний,обретенных в подвалах и на дешевых местах кинотеатров, — этим жизненным опытом малолетнего правонарушителя. Он раскрошил сухой лист над головою Люкс. Невесомые частички опустились ей за шиворот, и она стукнула Уилларда. Не успели мы опомниться, как эти двое уже направлялись за школу, мимо теннисных кортов, по мемориальной вязовой аллее — к нависавшему над школьной территорией забору, отмечавшему границу частных владений по ту сторону.

Чип Уиллард не был единственным. Пол Уанамейкер, Курт Сайлс, Питер Макгуайр, Том Селлерс и Джим Чеславски тоже водили дружбу с Люкс — по несколько дней каждый. Давно было известно, что мистер и миссис Лисбон не разрешают дочерям ходить на свидания, а миссис Лисбон в особенности не поощряет танцы, романтические прогулки и широко бытующее мнение, будто подросткам следует дозволять тискать друг друга на задних сидениях родительских автомобилей. Краткие моменты обретения благосклонности Люкс Лисбон так и оставались среди нас тщательно скрываемой тайной. Они пускали ростки в мертвленном безвременье школьных коридоров, расцветали по дороге к питьевому фонтанчику и приносили свои невзрачные плоды в каморке высоко над актовым залом, среди неудобно расставленных театральных прожекторов и мотков кабеля. Ребята встречались с Люкс, когда та выходила из дома по поручению и с милостивого разрешения родителей, в просвете меж прилавками аптеки, пока миссис Лисбон дожидалась возвращения дочери в машине, и однажды — при особенно дерзком randevu — в самом семейном

авто: свидание длилось те пятнадцать минут, что миссис Лисбон простояла в очереди в банке. Но парни, водившие компанию с Люкс, всегда были самыми тупыми, самыми себялюбивыми, самыми пришибленными в собственных семьях, и потому представляли собой сомнительные источники сведений. Неважно, о чем мы спрашивали; они всякий раз отвечали нам бесстыдными замечаниями вроде: «У девчонки все на месте. Уж ты мне поверь» или: «Хочешь знать, что между нами было? Понюхай мои пальцы, кореш». То, что Люкс соглашалась встречаться с ними под защитой лошин и зарослей школьного двора, лишь подчеркивало общее расстройство ее чувств. Мы интересовались, упоминала ли она о Сесилии, но развращенные ухажеры непременно отвечали, что вовсе не занимались там болтовней, если мы догадываемся, о чем это они толкуют.

Единственным, кто близко сошелся с Люкс в те месяцы и на кого стоило положиться, был Трип Фонтейн, но исповедываемые им понятия о чести продержали нас в неведении все эти годы. Всего за полтора года до начала самоубийств Трип сбросил детский жирок, к великой радости окружающих девочек и женщин. Поскольку все мы знали его как пухлого мальчишку, чьи зубы вечно высывались из вечно приоткрытого, что-то бормочущего рта, похожего на пасть глубоководной рыбы, мы были последними, кто осознал произошедшую с ним метаморфозу. Вдобавок все наши отцы, старшие братья и престарелые дядюшки в один голос уверяли, будто для парней внешность не имеет никакого значения. Мы не подозревали о зревшей в наших рядах мужской красоте, считая к тому же, что грош ей цена, — до тех самых пор, пока все до единой девушки, которых мы знали, а вместе с ними и их матери, не влюбились в Трипа Фонтейна. Их увлечение было немым, но очевидным: будто тысяча маргариток поворачивали головки вслед солнцу. Поначалу мы едва замечали смятые записки, брошенные в прорезь дверцы на шкафчике Трипа, да и не придавали значения экваториальным бризам, вызванным разгоряченной кровью, преследовавшей его в коридорах. В конце концов, однако, мы столкнулись с толпами умненьких девиц, вспыхивавших при приближении Трипа или дергавших себя за косички, прогоняя с лица поселившуюся там широкую улыбку, — вот тогда-то мы и осознали, что отцы, братья и дядя лгали нам и что никто и никогда не полюбит нас благодаря хорошей успеваемости. По прошествии лет, на конном ранcho, куда Трип Фонтейн удалился, чтобы на последние сбережения бывшей жены окончательно избавиться от наркотической зависимости, он вспомнил о страстиах, накалившихся добела в пору появления первых волос на его груди. Все это началось во время поездки в Акапулько, когда отец

Трипа отправился прогуляться по пляжу в сопровождении своего возлюбленного, предоставив Трипу полную свободу действий, ограниченную лишь владениями отеля (Экспонат № 7: фото, сделанное в ходе путешествия; бронзовокожий мистер Фонтейн позирует на нем с Дональдом, втиснувшись вдвоем на сидение «трона Монтесумы», оттененного пальмами шезлонга во внутреннем дворике отеля). В безалкогольном баре Трип встретил недавно разведенную Джину Десандер, которая угостила мальчишку первой пиноколадой<sup>[9]</sup> в его жизни. Джентльмен с рождения, Трип Фонтейн по возвращении домой поделился с нами лишь самыми благопристойными сведениями о жизни Джини Десандер: она работала крупье в Лас-Вегасе и научила его выигрывать в очко, писала стихи и употребляла в пищу сырье кокосовые орехи, извлекая мякоть швейцарским армейским ножом. И только годы спустя, ощупывая уходящую к горизонту выжженную степь загубленными глазами (его рыцарственное благородство было бессильно защитить честь женщины, которой к этому времени было уже далеко за пятьдесят), Трип признался, что именно с Джиной Десандер он «впервые возлег».

Это многое объясняло. Это объяснило, почему Трип никогда не снимал с шеи ожерелье из ракушек — ее подарок. Это объяснило, почему над его кроватью висел плакат с изображением окруженного брызгами счастливчика, несущегося по бухте Акапулько за моторной лодкой. Это объяснило резкую перемену в манере Трипа одеваться, наступившую за год до серии самоубийств: приличествующие школьнику рубашки и брюки сменились дорогими ковбойскими костюмами, сорочками с перламутровыми пуговицами, цветастыми накладными карманами и сборками на плечах. Каждый предмет подбирался так, чтобы в итоге создать образ, сходный с обликом мужчин Лас-Вегаса, что стояли под ручку с Джиной Десандер на извлеченных из бумажника фотографиях, которые она показывала Трипу во время длившегося семь дней и шесть ночей совместного комплексного тура. В свои тридцать семь Джина Десандер сумела разглядеть за непривлекательной внешностью пухленького, обутого в кеды Трипа Фонтейна дремавшую внутри изрядную порцию мужественности и за неделю, проведенную с ним в Мексике, умело обтесала его, придав мальчишке облик мужчины. Мы могли только воображать себе сцены, разыгрывавшиеся в ее гостиничном номере, когда Трип, хмелся от разведенного алкоголем ананасового сока, смотрел на то, как Джина Десандер с быстротой автоматной очереди сдает колоду в центре расстеленной кровати. Раздвижная дверь на маленький бетонный балкончик в ее номере застряла, сойдя с рельсов, и Трип, чувствуя себя

мужчиной, пытался починить ее. Журнальные столики и кухонная стойка завалены свидетельствами вчерашней вечеринки — пустыми бокалами, палочками для размешивания тропических коктейлей, обсосанными досуха апельсиновыми корочками. С обретенным за время каникул загаром Трип выглядел, должно быть, примерно так же, как и в конце лета, когда наворачивал круги в своем бассейне: соски как две розовые клубничины, утопленные в жженом сахаре. Красноватая, в легких складках кожа Джинны Десандер пламенела осенней листвой. Туз червей. Десятка треф. Двадцать одно. Ты выиграл. Джина ерошит Трипу волосы, сдает по новой. Он так ничего и не открыл нам, никаких подробностей — даже потом, когда все мы уже были достаточно взрослыми, чтобы понять. Но мы и теперь воспринимали все это как чудесное посвящение, подаренное все понимающей милосердной матерью, и, пусть это так и осталось невысказанной тайной, та ночь набросила на плечи Трипа романтический плащ героя-любовника. Когда Трип Фонтейн вернулся из Акапулько, мы с недоумением услышали, как его обретший новую глубину голос раздается примерно на фут выше наших собственных голов, оценили (даже и не поняв) его туго обтянувшие зад тесные джинсы, вдохнули его одеколон и сравнили нашу собственную бледную, цвета несвежего сыра, плоть с его загаром. Но сопровождавший Трипа мускусный запах, гладкость и маслянистый блеск лица да все еще поблескивавшие в бровях золотые песчинки южных пляжей куда меньше привлекали нас, чем девушек, которые сначала по одной, а затем уже и десятками валились в обморок при виде Фонтейна.

Трип получил не менее десятка писем, алевших напомаженными оттисками (линии губ уникальны, наподобие отпечатков пальцев). Он перестал готовиться к экзаменам из-за всех этих девиц, что приходили к нему позаниматься вместе и тут же забирались в постель. Он проводил время, поддерживая загар, бултыхаясь на надувном матрасе в крошечном, немногим больше ванной, бассейне. Девушки не ошибались, выбирая Трипа в качестве предмета вздоханий, потому что он был единственным парнем, способным держать рот на замке. По натуре своей Трип Фонтейн обладал рассудительностью и благоразумием величайших любовников прошлого, соблазнителей похлеще Казановы, чьи имена нам не известны оттого, что, в отличие от хрестоматийного персонажа, после них не осталось двенадцати томов воспоминаний. Ни на бейсбольном поле, ни в мужской раздевалке Трип никогда не говорил ни об аккуратно обернутых фольгой кусках пирога, что находились вдруг в его шкафчике, ни о лентах для волос, привязанных к антенне его автомобиля, ни даже о тенниске,

болтавшейся на шнурке под зеркалом заднего вида, в носке которой лежала безупречно выведенная записка: «Счет матча — любовь: любовь. Твоя подача, Трип».

По коридорам побежала вибрация от произносимого шепотком имени Трипа. Тогда как мы звали его меж собой Триппером или Фонтаном, девчонки только и судачили: Трип то да Трип се. Все их разговоры крутились вокруг его имени, а когда того назвали первым в номинациях «Лучшая внешность», «Лучший костюм», «Лучший характер» и «Лучший спортсмен» (несмотря даже на то, что все мы голосовали против из неприязни, а сам он отнюдь не отличался идеальной координацией), вот тогда-то мы и осознали масштабы девичьей увлеченности. Даже наши собственные матери говорили о его внешности и приглашали Трипа заглянуть на обед, не обращая никакого внимания на его сильно отросшие, лоснящиеся волосы. Прошло совсем немного времени, и он стал жить, как турецкий паша, принимая подношения на своем синтетическом покрывале: добытые из материнских сумочек купюры с небольшим номиналом, пакетики с травкой, кольца выпускников школы, хрустящий воздушный рис в промасленной бумаге, скляночки с амилнитритом,<sup>[10]</sup> бутылки «Асти-спуманте»,<sup>[11]</sup> всяческие сыры голландского происхождения, изредка — шарики гашиша. Девушки приносили ему аккуратно отпечатанные и снабженные примечаниями шпаргалки, собственноручно составленные «выжимки» из учебников, чтобы Трип мог одолеть курс, прочитав страницу-другую. Со временем из этих щедрых даров он составил целую экспозицию сигарет с марихуаной — «Величайшее курево планеты», причем каждая размещалась в отдельной, специально для нее предназначеннной баночке из-под специй. Они были выстроены на краю его книжной полки: от «голубой гавайской» до «красной панамской» со множеством оттенков коричневого между ними, а один из экспонатов выглядел и пахнул, словно кусок грязного ворсистого ковра. Мы ничего толком не знали о девушках, бывавших у Трипа Фонтейна, — разве то, что они ездили на собственных тачках и непременно вносили в дом что-то, что извлекали из багажника. Все они принадлежали к типу «бренчащих сережек», высовывали челки и носили туфли на пробковой платформе, с завязками вокруг лодыжек. Щелкая жвачкой и улыбаясь, они прямо по газону ковыляли к дому Трипа, держа перед собой большие салатницы, прикрытые цветастыми посудными полотенцами. Наверху, в постели, они кормили Трипа с ложечки и вытирали ему рот уголком простыни, чтобы потом сбросить салатницу на пол и растаять в его объятиях. Время от

времени мимо шествовал мистер Фонтейн — либо в комнату Дональда, либо на обратном пути оттуда, — но от того, чтобы возмутиться шорохами и скрипами, долетавшими в коридор из-за закрытой двери сыновней спальни, его удерживала предосудительность собственного поведения. Эти двое, отец и сын, жили как соседи по комнате в общежитии. По утрам, запахнувшись в одинаковые халаты павлиньей расцветки, они натыкались друг на дружку в кухне, вечно ругались из-за не вовремя опустевшей банки кофе, но уже днем вместе бились о борта бассейна, скользя по водной глади, — собраться по духу в одном на двоих поиске великого чувства на этой земле.

У отца с сыном был самый великолепный загар во всем городе. Даже рабочие-итальянцы, день за днем трудившиеся на солнце, не могли добиться такого оттенка красного дерева. В сумерках кожа Трипа и мистера Фонтейна могла показаться почти синеватой, а с одинаково скрученными из полотенец тюбанами на головах они вообще выглядели близнецами-кришнайтами. Маленький круглый бассейн на заднем дворе их дома упирался в забор, и летящие оттуда брызги окатывали порой соседскую собачонку. Хорошенько натеревшись маслом для младенцев, мистер Фонтейн с Трипом укладывались на свои надувные матрасы с подголовниками и зажимами для напитков и безмятежно дрейфовали под нашим тускловатым северным небом, словно где-нибудь на Коста-дель-Сол. Мы наблюдали раз от раза за тем, как они постепенно добиваются насыщенного цвета коричневого крема для обуви. Мы подозревали, что мистер Фонтейн подкрашивает волосы в более светлые тона, а белизна его зубов просто била по глазам, все сильней и сильней. На вечеринках девушки, вытаращив глаза, хватались за нас только потому, что мы были знакомы с Трипом, — и немного времени спустя мы научились различать в них то же любовное смятение, что терзало и нас самих. Марк Питерс, однажды вечером подходивший к своей машине, почувствовал, как кто-то вцепился ему в ногу. Опустив взгляд, он увидел Сару Шид, которая призналась: ее любовь к Трипу настолько сокрушительна, что она не может идти. Он и сейчас еще помнит панический ужас на ее задранном вверх лице — лице взрослой и вполне здоровой девицы, известной к тому же внушительным размером бюста, лежавшей тогда как колода, беспомощнее безногого калеки, на влажной от росы траве.

Никто не знал, как встретились впервые Трип Фонтейн и Люкс Лисбон, что они говорили друг дружке при этой первой встрече — или же она проходила в полном безмолвии. Даже годы спустя, описывая их знакомство, Трип проявил сдержанность в полном соответствии с клятвами

верности, данными тем четыреста восемнадцати девушкам и женщинам, с которыми он занимался любовью на протяжении своей долгой карьеры. Вот его доподлинные слова: «Я так и не расстался с этой девчонкой, парни. Даже теперь». В том змеином раю, в той пустыне, где он оказался, под глазами Трипа залегла болезненная желтизна, но он зорко смотрел назад, в незрелое прошлое. Мало-помалу, благодаря нашим постоянным подначкам и особенностям состояния, в котором пребывал Трип (пытавшийся навсегда покончить со своей зависимостью наркоман испытывает потребность говорить не умолкая), нам все же буквально по крупицам удалось собрать воедино историю их любви.

Все началось в тот день, когда Трип Фонтейн ошибся классом и попал на чужой урок истории. На пятой перемене Трип имел обыкновение выходить из школы, забираться в свой автомобиль и курить там марихуану — он проделывал это с тем же постоянством, с каким Питер Петрович, мальчик-диабетик, колол инсулин. Трижды в день Петрович являлся в кабинет медсестры за очередной инъекцией: он вводил снадобье собственноручно, как самый трусливый из торчков, но после дозы мог направиться в актовый зал и с потрясающим мастерством сыграть что-нибудь на концертном рояле, словно бы инсулин был настоящим эликсиром гениальности. Подобно ему, Трип Фонтейн трижды в день ходил к машине (в десять пятнадцать, в двенадцать пятнадцать и в три пятнадцать) — так, будто часы на его запястье начинали, как у Петровича, верещать при наступлении часа «икс». Трип всегда парковал свой «транс-ам» в дальнем конце стоянки, передним бампером к школе, чтобы сразу заметить приближение кого-то из учителей. Отполированный капот, лоснящийся верх и выгнутая задняя часть автомобиля придавали ему вид жука-скарабея, сложенного по всем правилам аэродинамики. Хотя золотистая отделка успела пообтереться, выдавая истинный возраст машины, Трип подновил черные гоночные полосы и отраил блестящие диски на колесах, похожие на холодное оружие. Мягкие кожаные сиденья внутри хранили следы присутствия мистера Фонтейна: сразу было видно, куда он откидывал голову, попадая в пробки, — его красители для волос придали коричневой коже красноватый окрас. В салоне еще витал слабый запах «Бутс-энд-сэддл», освежителя воздуха для автомобилей, которым он пользовался, хотя аромат мускуса и сигареток Трипа проступал куда сильнее. Двери гоночного автомобиля закрывались герметически, и Трип говорил, что в машине улет мощней, поскольку дышать приходится запертым внутри дымом. Каждый перерыв на сок, на ленч и на обед Трип проводил в своей курильне, своей паровой бане: неспешной походкой он

шел к «транс-аму» и забирался внутрь. Пятнадцать минут спустя, когда он открывал дверь, чтобы вернуться в мир, оттуда валил дым как из трубы, рассеиваясь и завиваясь под музыку (обычно в исполнении «Пинк Флойд» или «Йес»), которую Трип не выключал, выбирайся проверить двигатель или протереть тряпкой ветровое стекло (главный предлог для вылазок к машине). Заперев дверцу, Трип прогуливался за школой — проветривал свою одежду. В дупле одного из наших мемориальных деревьев (посаженного в честь Сэмюэля О. Хастингса, выпускника 1918 года) Трип прятал от чужих глаз заветную коробочку мятных конфет. Из окон классов за его прогулкой следили девушки: одинокий и неотразимый, он бродил меж деревьев, усаживался под ними в позу лотоса — и даже прежде, чем Трип успевал встать, девушкам мерещились светлые пятна земли на каждой его ягодице. Ритуал оставался неизменным: Трип Фонтейн поднимался с земли, выпрямлялся во весь рост, поправлял на носу оправу авиаторских очков от солнца, резким движением отбрасывал назад волосы, застегивал «молнию» нагрудного кармана коричневой кожаной куртки и, будто бронированный танк, шагал вперед в своих тяжелых ботинках. Он проходил сквозь строй памятных деревьев, прямо по зеленой лужайке заднего двора, мимо зарослей плюща, и вступал в школу с черного хода.

Ни один парень не был таким крутым. Холодный и замкнутый, Фонтейн распространял вокруг себя ауру избранника, поднявшегося над остальными, одолевшего новый жизненный этап, ухватившего самую сердцевину того подлинного мира, что бушевал за стенами школы, — тогда как все прочие продолжали заучивать расхожие цитаты и протирали штаны в библиотеках, борясь за оценки. Трип не чурался учебников, но мы-то знали, что это лишь неизбежный реквизит, бутафория и что в жизни Трипа ведущую роль играл практический капитализм, а вовсе не наука, — это убедительно доказывал успех его сделок с наркоторговцами. Впрочем, в тот день, который ему не суждено забыть никогда, в тот сентябрьский день, когда листья начали опадать с веток, Трип Фонтейн вошел в школу и увидел приближившегося к нему директора, мистера Вудхауса. Коридор был узок, встреча — неотвратима. Накурившемуся Трипу было не привыкать сталкиваться с представителями школьных властей, и, по его собственным словам, он в жизни не страдал от мании преследования. Мы так и не сумели взять в толк, отчего тогда, при виде директора школы в широченных брюках и канарееочно-желтых носках, сердце его тревожно забилось, а на шее проступил пот. В любом случае, Трип спасся, небрежным движением распахнув ближайшую дверь класса и шагнув внутрь.

Занимая свободное место, он не обратил внимания на лица вокруг. Он не видел ни учителя, ни учеников, сознавая только божественно теплый свет, заливавший класс, да оранжевый пламень осенней листвы за окном. Казалось, помещение до потолка заполняла сладкая вязкая жидкость — мед, текущий и прозрачный, как воздух, — и Трип с готовностью вдохнул ее. Время замедлило бег, и в левом ухе Фонтейна телефонным звонком загудел вселенский клич: «Ом». Когда же мы предположили, что упомянутые детали были расцвечены изрядным содержанием галлюциногенов в крови, Трип высоко воздел указательный палец (его руки впервые перестали трястись за все время нашей беседы) и молвил: «Я знаю, что бывает, когда накуришься. Это совсем другое». В золотом свете головы учеников казались мягко пульсировавшими морскими анемонами, и в классе стояла тишина, подобная безмолвию глубин. «Каждая секунда тянулась, будто вечность», — рассказывал нам Трип, описывая, как сидевшая впереди девушка безо всякой на то причины обернулась к нему и окинула взглядом. Он не мог судить о ее привлекательности, потому что видел только глаза, и ничего более. Ее лицо — сочные губы, светлый пушок на щеках, нос с карамельно-розовыми полупрозрачными ноздрями — осталось где-то на периферии зрения, лишь два голубых глаза своим сиянием подняли Трипа на гребень приливной волны, да так и подвесили в этом беспомощном состоянии. «Осью мира была она, и земля кружила вокруг», — поведал нам Трип, цитируя Элиота, на томик которого под названием «Избранные стихотворения» наткнулся на полке реабилитационного центра для бывших наркоманов. Ибо всю вечность, что Люкс Лисбон взирала на него, Трип Фонтейн не сводил с нее ответного взгляда, и та любовь, что родилась в нем в это мгновение, осталась с ним навсегда и мучила по-прежнему, даже здесь, в пустыне, когда былая внешность и здоровье Трипа уже оказались растрячены. Перед той любовью померкли все последующие, ибо, в отличие от других, ей так и не довелось испытать поражение в битве с обыденностью. «Все что угодно могло срезонировать и напомнить мне о том кратком миге, — признался нам Трип. — Лицо ребенка. Бубенчик на ошейнике у кота. Что угодно».

Они не обменялись ни словом. Но последующие недели Трип целыми днями бродил по коридорам в надежде, что Люкс сейчас выйдет из какой-нибудь двери, — она была самым обнаженным человеком из всех, кого он видел одетыми. Даже в тесной школьной обуви она вышагивала так, словно была босая, а купленный матерью мешковатый наряд только подчеркивал ее очарование: словно Люкс разделась и затем нацепила первое, что попало под руку. В вельветовых брючках ее бедра, соприкасаясь, издавали еле

слышное мурлыканье, и при каждой встрече Трип замечал по крайней мере одну новую деталь, способную свести его с ума: чуть выглядывающий подол рубашки, дырка в гольфе, открывавшая волоски в углублении подмышки разошедшаяся на блузке строчка. Люкс переносила учебники из кабинета в кабинет, но никогда не открывала книг. Ее ручки и карандаши казались временным атрибутом, как метла в руках у Золушки. Когда она улыбалась, во рту обнаруживалось слишком много зубов, но по ночам Трип Фонтейн грезил об укусе каждого из них.

Он не знал, каким должен быть первый шаг к сближению, потому что никогда не предпринимал подобных шагов: это за ним все гонялись, а не наоборот. Мало-помалу Трип вынуждал у посещавших его спальню девиц, где живет Люкс, причем ему приходилось хорошенеко обдумывать и тщательно скрывать расспросы, чтобы не спровоцировать приступ ревности. Трип начал выстраивать маршруты своих поездок так, чтобы прокатиться мимо дома Лисбонов, — в надежде увидеть хоть краешком глаза ее саму или, в качестве утешительного приза, одну из ее сестер. В отличие от нас самих, Трип Фонтейн не смешивал сестер Лисбон в кучу, с самого начала разглядев в Люкс слепящую блеском жемчужину. Проезжая мимо, он опускал стекла в «транс-аме», одновременно прибавляя громкость на восьмиканальнике: ему хотелось, чтобы у себя в спальне Люкс услышала отголосок его любимой песенки. В иные дни, не справляясь с пожаром внутри, он жал на газ, оставляя в качестве символа любви лишь запах жженой резины.

Трип не понимал, как ей удалось приворожить его или почему, добившись своего, она выкинула из памяти само его существование, и в отчаянии спрашивал у собственного отражения в зеркале: отчего единственная девушка, по которой он сходит с ума, остается той одной, которую он совершенно не интересует? Довольно долго Трип цеплялся за проверенные временем, успешно опробованные методы привлечения девиц: проводил ладонью по волосам, когда Люкс проходила мимо, закидывал свои ботинки на крышку стола, однажды даже сдвинул темные очки на кончик носа, чтобы в глазах яснее читалась мольба. Но Люкс даже не посмотрела в его сторону.

Истина крылась в том, что даже непроходимые зануды, самые робкие и скучные из парней, по сравнению с Трипом были мастерами устраивать свидания. Их воробышьи грудки и вывернутые внутрь колени придавали им упорство и настойчивость в достижении цели, тогда как Трипу ни разу в жизни не приходилось даже набирать телефонный номер девушки. Ему все это было в новинку: заучивание наизусть стратегически важных реплик,

отработка возможных поворотов беседы, «глубокое дыхание» по системе йогов — все для того, чтобы головою вперед броситься в щелкающую статикой пучину телефонной линии. Ему не были ведомы страдания человека, целую вечность слушающего длинные гудки; его сердце не колотилось при звуках несравненно прекрасного голоса, внезапно сплетенного с твоим собственным; он не дрожал от сладости момента, когда можешь просто видеть ее почти рядом, от присутствия внутри ее уха. Он не знал того, как ноют раны, нанесенные унылыми, блеклыми ответами, не испытывал ужаса от слов: «А... ну привет» или мгновенной аннигиляции вопросом: «Кто-кто?». Физическая красота сделала Трипа совершенно беспомощным; неотлучно преследовавшая его горесть заставила обратиться за утешением к отцу и Дональду. Те вошли в его незавидное положение и, успокоив Трипа глотком самбуки, дали совет, которым могли поделиться лишь двое, отягощенные проклятием тайной любви. Прежде всего они строго-настрого запретили Трипу общаться с Люкс по телефону. «Это все тонкости, — пояснил Дональд, — сплошные нюансы». Далее они предложили Трипу не пытаться объясниться с Люкс в явной форме, но говорить с ней только о самых простых и банальных вещах: о погоде, о домашних заданиях — на любые темы, дающие возможность говорить лицом к лицу, возможность неслышной, но внятной беседы на языке красноречивых взглядов. Они заставили Трипа избавиться от темных очков и держать лицо открытым при помощи лака для волос. На следующий день Трип Фонтейн уселся в коридоре Научного крыла и подготовился увидеть Люкс, когда та подойдет к своему шкафчику. Солнце поднималось все выше, придавая шестиугольным сотам плит на полу багрянец смущения. Всякий раз, когда открывалась входная дверь, взор Трипа утыкался в лицо Люкс, но затем ее глаза, нос и рот начинали менять форму, складываясь в лицо какой-то другой девушки. Он посчитал это дурным предзнаменованием; ему казалось, что Люкс стремится ускользнуть от него, раз за разом скрываясь под чужой внешностью. Он боялся, что она так и не появится, или — самое страшное, — что она вот-вот войдет.

Проведя целую неделю в подобных муках, но так и не встретив Люкс, Трип решился на отчаянные меры. После полудня в следующую пятницу он оставил свой пост в Научном крыле, чтобы отправиться в актовый зал. То была первая общая лекция, которую он посетил за последние три года, поскольку прогулять подобное занятие было проще, чем любое другое, и Трип предпочитал проводить это время, потягивая кальян, спрятанный в отделении для перчаток своего автомобиля. Он не представлял себе, где

обычно сидит Люкс, и медлил у питьевого фонтанчика, намереваясь проследовать внутрь сразу за ней. Вопреки советам отца и Дональда он надел очки от солнца в надежде скрыть нетерпеливые взгляды, которыми обшаривал коридор. Трижды его сердце замирало при ложной тревоге в лице сестер Люкс, но мистер Вудхаус уже успел представить собравшимся лектора — метеоролога, ведущего прогноз погоды на местном телеканале, — к тому времени, как Люкс вышла из уборной для девочек. Трип Фонтеин глядел на нее столь сосредоточенно, что сам, казалось, перестал существовать вовсе. Вселенная в эту секунду вмещала только Люкс, и для всего прочего в ней попросту не осталось места. Ее окружал смутно различимый нимб, мерцание распадающихся атомов, порожденное (как мы решили впоследствии) мощным оттоком крови из головы Трипа. Люкс прошла рядышком с ним, не заметив, и в этот миг он уловил тонкий запах — но не сигарет, а жевательной резинки с арбузным вкусом.

Он последовал за нею в колониальную чистоту актового зала с куполом а-ля «Монтичелло»,<sup>[12]</sup> дорическими пилястрами и копиями газовых рожков, которые мы, бывало, наполняли молоком. Он уселся бок о бок с Люкс в последнем ряду и, не усматривая в том нужды, избегал смотреть на соседку: органы чувств Трипа Фонтеина, о существовании которых он даже не подозревал, прекрасно ощущали сидевшую рядом Люкс, регистрировали температуру ее тела, частоту сердцебиения, глубину дыхания — все жизненно важные процессы, текущие и пульсирующие в ее организме. Когда метеоролог перешел к показу слайдов, освещение в актовом зале стало тускнеть, и вскоре они оказались в полутьме — вдвоем, несмотря на присутствие где-то рядом четырех сотен учащихся и сорока пяти преподавателей. Парализованный любовью, Трип не шевелился, пока на экране один за другим вспыхивали снимки торнадо, и прошло не менее пятнадцати минут, прежде чем он набрался духу положить непослушные пальцы на подлокотник. Когда это было проделано, между ними остался какой-то дюйм свободного пространства, так что следующие двадцать минут — бесконечно малыми рывками, заставившими все его тело покрыться липким потом, — Трип Фонтеин пододвигал локоть все ближе и ближе к руке Люкс. В то время как остальные, затаив дыхание, следили за тем, как ураган Зельда рвет в клочья затерянный где-то в Карибском море прибрежный городишко, волоски на руке Трипа соприкоснулись с волосками на руке Люкс, и по созданной ими цепи заструилось электричество. Не обернувшись, не вздрогнув и не вздохнув, Люкс ответила сходным давлением. Воодушевленный Трип поднажал еще, она ответила снова, и так далее и тому подобное, пока их локти не прижались

друг к другу крепко-накрепко. И в это самое время произошло непредвиденное: какой-то озорник, сидевший ближе к экрану, прикрыл рот ладонями и издал громкий непристойный звук, отчего прыснула вся аудитория. Люкс побледнела, убирая руку, но Трип Фонтеин воспользовался шансом шепнуть первые слова, которые он когда-либо произнес, обращаясь к ней:

— Это, должно быть, Конли, — сказал он, — в его духе шуточки.

В ответ Люкс не удостоила Трипа даже кивком. Но тот продолжал, благо не успел отодвинуться:

— Я попрошу твоего старика отпустить тебя прогуляться.

— Бесполезно, — возразила Люкс, глядя прямо перед собой.

Зажегся свет, и ученики вокруг них вяло принялись хлопать. Трип подождал, пока аплодисменты не достигнут пика, чтобы заговорить снова. И сказал:

— Сперва я зайду к вам попялиться в ящик. В ближайшее воскресенье. Потом спрошу разрешения вывести тебя погулять.

И вновь Трип втуне прождал ответа — единственный знак ему подали растопыренные пальцы на перевернутой кверху ладони Люкс; видимо, так ему давали понять, что он может делать все, что ни заблагорассудится. Трип встал, собираясь выйти, но вначале перегнулся через спинку своего опустевшего кресла, и слова, которые он неделями носил в себе, все же вырвались наружу:

— Ты красивая, обалдеть можно, — сказал он и ушел.

Трип Фонтеин стал первым из парней, кто в одиночку вошел в дом Лисбонов после того памятного обеда с участием Питера Сиссена. Он сделал это, просто сообщив Люкс о времени предполагаемого визита и предоставив ей самой поведать об этом родителям. И теперь еще остается загадкой, как Трипу удалось пробраться в дом незамеченным нами; более того, в своем рассказе он особо настаивал на том, что не предпринимал мер предосторожности, подъехал к дому у всех на виду и оставил свой «транс-ам» у вязового пня, чтобы на машину не капало с дерева. Ради такого случая он постригся и вместо ковбойского костюма вырядился в белую рубашку и черные брюки, под стать официанту. Люкс встретила его в дверях и, не говоря ничего сверх необходимого (она вела счет петлям на вязании), провела к приготовленному месту в гостиной. Трип уселся на диване рядом с миссис Лисбон, а Люкс — по другую сторону от нее. Трип Фонтеин рассказал нам, что сестры обращали на него мало внимания; во всяком случае, меньше, чем мог бы ожидать школьный воздыхатель одной из них. Тереза сидела в углу и, потрясая чучелом ящерицы, объясняла

Бонни, что едят игуаны, как размножаются и на что похожа их естественная среда. Единственной из сестер, заговорившей с Трипом, была Мэри, которая то и дело предлагала вновь наполнить его стакан лимонадом. По телевизору шла подборка «Уолт Дисней представляет», и Лисбоны смотрели на экран с одобрением, присущим семье, привыкшей к бессодержательному развлечению, — хором смеялись над неудачными старыми трюками, дружно подавались вперед во время насквозь фальшивых развязок. Трип Фонтейн не заметил в сестрах ни малейших признаков странности; тем не менее позднее сказал: «Хотелось совершить самоубийство просто ради того, чтобы хоть что-то изменить». Миссис Лисбон поглядывала, как продвигается вязание Люкс. Прежде чем кто-то мог переключить канал, она утыкалась в «ТВ-гид», чтобы вынести решение о допустимости семейного просмотра объявленных там программ. Окна были плотно занавешены. На подоконнике стояло несколько горшков с хиловатыми растениями, и это зрелище настолько контрастировало с зеленью в гостиной его собственного дома (мистер Фонтейн слыл фанатиком цветоводства), что Трип почувствовал бы себя высажившимся на мертвую планету астронавтом, не пульсируй столь явственно жизненные токи в противоположном конце дивана, где сидела Люкс. Он видел ее босые ступни всякий раз, когда она закидывала их на кофейный столик. Пяtkи были черными, на ногтях виднелись пятнышки розового лака. Каждый раз, как только показывались ноги Люкс, миссис Лисбон щелкала по ним вязальной спицей, прогоняя под стол.

И это было практически все, о чем стоило бы рассказать. У Трипа не было возможности сидеть рядом с Люкс, говорить с ней или хотя бы видеть ее, но в мозгу нестерпимо ярко пылало сознание ее присутствия. В десять вечера по знаку супруги мистер Лисбон хлопнул Трипа по плечу со словами: «Ну, сынок, обычно к этому времени мы отправляемся на боковую». Трип пожал ему руку, подержал в ладони холодную на ощупь длань миссис Лисбон, и тогда с дивана поднялась Люкс, чтобы проводить его до двери. Она, видимо, сразу поняла всю тщетность затеи Трипа, поскольку даже не бросила на него и взгляда за время этого короткого путешествия в прихожую. Люкс шла с низко опущенной головой, выковыривая из уха серу, и только отворив дверь, посмотрела на Трипа и подарила ему печальную улыбку, не обещавшую ничего, кроме крушения всех планов. Трип Фонтейн уходил разбитым в прах; надеяться он мог разве что еще на один вечер в гостях у Лисбонов, на диване подле матери возлюбленной. Он пересек газон, который не подстригали со дня гибели Сесилии. Он сидел в машине и глядел на дом, наблюдая, как огни за

шторами перемещаются с первого этажа на второй и гаснут, один за другим. Он думал о том, как Люкс готовится ко сну, и один только мысленный образ ее с зубною щеткой в руке возбудил Трипа больше, чем полная нагота, с которой ему приходилось едва ли не ежедневно сталкиваться в собственной спальне. Он откинулся на подголовник и приоткрыл рот, стараясь ослабить тесноту в груди, когда совершенно неожиданно в салоне автомобиля всколыхнулся воздух. Трип почувствовал, как его хватают за отвороты на рукавах, тянут вперед и толкают обратно — так, будто неведомое существо с сотней глоток принялось вдруг высасывать костный мозг из его костей. Набрасываясь на него, подобно изголодавшейся волчице, она не сказала ни словечка, и Трип мог бы не понять, кто это, если б не вкус арбузной жвачки, которую после первых же пылких поцелуев обнаружил у себя во рту. Люкс уже успела снять брюки и пришла к Трипу в ночной рубашке из фланели. Ее влажные ступни принесли деревенский аромат свежескошенной травы. Он ощупал ее сырье голени, ее горячие колени, ее колючие бедра, и затем, объятый ужасом, сунул палец в алчную пасть зверя, сидевшего на привязи под тонкой талией. Ему словно еще не доводилось касаться девушки; он гладил шерстку, и пальцы скользили в подобии взбитого розового масла. В машине он столкнулся сразу с двумя животными: одно сопело и кусалось наверху, второе же стремилось порвать путы и выбраться на волю из своей волглой пещеры. Трип храбро пытался сделать все, что было в его власти, чтобы накормить обоих, умиротворить их, но сознание собственного бессилия все росло, и несколько минут спустя, проронив лишь: «Надо вернуться до вечернего обхода», Люкс покинула его, скорее мертвого, чем живого.

Даже если это стремительное нападение и длилось не более трех минут, оно все же оставило в памяти Трипа Фонтейна неизгладимую печать. Он говорил о случившемся, словно бы описывая сильное религиозное переживание, божественное вмешательство или видение, зияющую пропасть по ту сторону этого мира, где слова бессильны. «Порою мне кажется, что я видел сон», — поведал он нам, вспоминая ненасытность сотни жадных ртов, что высасывали из него соки в темноте, и несмотря даже на то, что впоследствии он продолжал наслаждаться любовными приключениями, одно похлеще другого, Трип Фонтейн признал, что ни единое не довело его до такого наслаждения. Никогда более его внутренности не скручивались в столь тугие узлы, и никогда более не изведал он чувства умощения всей поверхности тела чьей-то слюной. «Я будто превратился в почтовую марку», — вот его собственные слова. Через много лет он по-прежнему был поражен целеустремленностью Люкс,

полным отсутствием у нее всяких запретов, ее невероятному дару перевоплощения, наделявшему тремя или четырьмя руками одновременно. «Большинство людей так и умирают, не изведав подобной любви, — заявил он, собрав воедино все мужество, уцелевшее на руинах былой жизни. — Всего-то раз, но мне довелось вкусить ее, парни». Для сравнения, возлюбленные Трипа времен поздней юности и зрелости были послушными, покорными созданиями с гладкими боками и заученными стенами удовольствия. Даже во время акта любви Трип мог представить, как они приносят ему горячее молоко, заполняют его налоговые декларации или плачут навзрыд у его смертного ложа. Они были теплыми и любящими женщинами-грелками. Даже те из них, что кричали на пике страсти, всегда брали фальшивые ноты, и никакие эротические переживания минувших лет не достигали высот абсолютной тишины, в которой Люкс заживо содрала с него кожу.

Нам так и не удалось выяснить точно, поймала ли миссис Лисбон dochь, пытавшуюся тайком проникнуть в дом после отбоя, но по какой бы то ни было причине, когда Трип попытался устроить новое свидание на диване, Люкс отвечала, что впала в немилость и что мать запретила любые визиты друзей на будущее. Далее Трип Фонтейн проявил уклончивость в описании того, что же все-таки было между ними в школе, и, несмотря на настойчивое хождение слухов об их совместных экскурсиях в различные укромные уголки, продолжал настаивать, что единственным разом, когда они прикоснулись друг к дружке, так и остался тот вечер в машине. «В школе мы не могли подыскать себе хорошее местечко. Да и старикан следил за нею в оба глаза. Это была настоящая мука, ребята. Долбаная агония».

\* \* \*

По мнению доктора Хорникера, неразборчивость в связях, которую проявляла Люкс, была обычной реакцией на эмоциональную недостаточность. «Подросткам свойственно искать любовь там, где есть вероятность ее обнаружить, — писал он в одной из статей, которые надеялся опубликовать. — Половой акт Люкс ошибочно посчитала любовью. Для нее секс стал утешением, которого ей не хватало и найти которое она стремилась после самоубийства сестры». Некоторые из парней предоставили в наше распоряжение доказательства, подтвердившие правоту построений психиатра. Уиллард сказал, что однажды, когда они

лежали вдвоем в сарае, Люкс спросила, считает ли он содеянное ими чем-то грязным. «Я знал, какой ответ ей нужен. Нет, говорю. А она хвать меня за руку и давай ныть: „Я ведь тебе нравлюсь, правда?“ Ничего я ей не ответил. Лучше, когда девчонки не знают наверняка». По прошествии лет Трип Фонтейн был взбешен нашим предположением, что страсть Люкс могла проистекать из неверно понятой ею потребности. «Ты что же, хочешь сказать, будто я был для нее простым инструментом? Такое не подделаешь, друг. Все было взаправду». Мы даже ухитрились поднять эту тему в разговоре с миссис Лисbon, нашем единственном интервью с ней, проходившем в забегаловке у автобусного вокзала. В любом случае, она осталась непреклонна: «Всем моим дочерям вполне хватало любви. У нас дома любви всегда было в избытке».

Сложно сказать. К наступлению октября дом Лисбонов стал выглядеть не особенно весело. Синяя шиферная крыша, которая под определенном углом к солнцу напоминала подвешенный в воздухе бассейн, явно потемнела. Желтые кирпичи подернулись коричневой копотью. По вечерам вокруг каминной трубы парили летучие мыши, совсем как у особняка Стамаровски через квартал. Мы привыкли к этим зверькам, выписывавшим сложные зигзаги и резко нырявшим вниз, в то время как девушки визжали, накрывая руками длинные волосы. Мистер Стамаровски выходил на балкон в черном свитере с высоким глухим воротом. Он разрешал нам бегать на закате по его огромной лужайке, и как-то раз, в клумбе, мы нашли дохлую летучую мышь с усохшим лициком и торчавшими из пасти двумя острыми вампирскими зубами. Мы всегда считали, что летучие мыши прибыли к нам из Польши вместе с семейством Стамаровски; они очень подходили к этому мрачному зданию с его бархатными шторами и атмосферой упадка Старого света — и вовсе не шли к практическим двойным дымоходам дома Лисбонов. Были и другие признаки постепенно наступившего запустения. Дверной звонок с лампочкой наверху перестал работать. На заднем дворе с ветки сорвалась кормушка для птиц, да так и осталась валяться на земле. На картонном пакете у двери Миссис Лисбон оставила записку, предназначенную для молочника: «Прекратите доставлять кислое молоко!» Вспоминая те времена, мистер Хигби уверял нас, что мистер Лисбон закрыл тогда внешние ставни на всех окнах, дотягиваясь до второго этажа длинным шестом. Мы спрашивали у других, и все согласились с этим Мнением. Впрочем, Экспонат № 3 (фотография, сделанная миссис Бьюэлл: Чейз в стойке отбивающего с только что подаренной ему битой «Луисвиль Слаггер» в руках) утверждает обратное. Все ставни на доме Лисбонов, просматривающемся на заднем плане, открыты; это хорошо видно через

увеличительное стекло. Фотография сделана 13 октября, в день рождения Чайза, совпавший с открытием первенства по бейсболу.

Сестры Лисбон перестали появляться где бы то ни было, кроме школы и церкви. Раз в неделю грузовичок Крогера подвозил к дому заказанную снедь. Малыш Джонни Бьюэлл и Вине Фузилли остановили его однажды, сделав вид, что перетягивают натянутую через улицу воображаемую веревку, наподобие двойников Марселя Марсо.<sup>[13]</sup> Водитель разрешил обоим забраться внутрь, и они просмотрели его списки, соврав, что сами хотят вырасти и развозить покупателям заказы. Оказалось, список Лисбонов, который Вине Фузилли прибрал к рукам, походил на распоряжение о поставке продовольствия в армейскую часть:

Мука «Крог.» 1–5 ф.  
Сух. мол. «Гвозд.» 5–1 гал.  
Зуб. п. «Бел. Обл.» 18 тюб.  
Сливы «Дел.» 24 бан.  
Зел. гор. «Дел.» 24 бан.  
Цып. гр. 10 ф.  
Св. бул. 3 шт.  
Арах. масл. «Джиф» 1  
Кукурузн. хлоп. «Келл.» 3 кор.  
Тв. «Вк.» 5  
Майон. «Крог.» 1  
Салат «Айсб.» 1  
Бекон «Майск.» 1 ф.  
Масл. «Л. Люкс» 1  
«Вкус. о. ф.» 1  
Шок. «Херш.» 1 шт.

\* \* \*

Мы набрались терпения, чтобы увидеть, что станется с листьями. Они облетали уже две недели кряду, покрывая газоны, потому что в те далекие дни у нас все еще были деревья. Теперь по осени лишь считанные листочки совершают свой лебединый нырок вниз с верхушек немногих уцелевших вязов, а большинство же опадает с четырех футов подвязанных к колышкам саженцев — пришедших на смену былым гигантам карликов, высаженных городскими властями в надежде ублаготворить нас воображаемым

благолепием улицы, какой она станет лет через сто. Никто не знает толком, к какому виду принадлежат молоденькие деревца. Работник Службы паркового хозяйства объяснил лишь, что они отобраны за «сопротивляемость вязовому голландскому жуку».

— Стало быть, вообще никому они не нравятся, даже жукам, — постановила миссис Шир.

В прошлом осень начиналась с доносившегося со всех сторон шелеста листвы; вслед за этим листья отрывались от веток и бесконечной волной, как из рога изобилия, слетали вниз, кружась и подпрыгивая в восходящих потоках воздуха, словно бы начинал осыпаться весь мир. Мы разрешали листьям накапливаться. Выдумав какой-нибудь предлог для безделья, мы подолгу стояли под деревьями с задранными вверх головами: с каждым днем в ветвях наших вязов все увеличивались проплешины неба.

В первый же уик-энд после листопада мы выстроились по-военному в ряд и начали махать граблями, сгребая листья в кучи. В каждой семье применяли свою методику. Бьюэллы действовали втроем, причем двое подметальщиков шли параллельным курсом, а третий сгребал листву под прямым углом, имитируя строй, знакомый мистеру Бьюэллу по полетам над Гималаями. Питценбергеры трудились вдесятером: двое родителей, семеро подростков и католическое недоразумение в возрасте двух лет, спешившее на подмогу с игрушечными грабельками. Толстуха миссис Эмберсон удаляла сухие листья воздуховкой. Все мы исполняли свои роли. После уборки вид примятой граблями травы, похожей на хорошо расчесанные волосы, доставлял нам ни с чем не сравнимое удовольствие. Порой оно становилось столь острым, что мы сдирали граблями и саму траву, оставляя участки черной земли. В конце дня мы отходили к тротуару и буравили взглядами газоны, где каждая былинка знала свое место, где каждый комок земли был разрыхлен, где был нарушен покой даже дремлющих до поры луковиц крокусов. Про глобальное загрязнение тогда никто и не думал, так что нам разрешалось сжигать листья, и ближе к вечеру, в одном из последних ритуалов исчезающего племени, каждый из наших отцов торжественно сходил на улицу, чтобы принести в жертву листья, собранные его семьей.

Прежде мистер Лисбон орудовал граблями в одиночку, распевая что-то своим сопрано, но с тех пор как Тerezе исполнилось пятнадцать, она приходила на помощь, старательно гнула спину и скребла газон в мужской одежде — резиновых сапогах до колен и рыбакской кепке. С наступлением ночи мистер Лисбон поджигал собранную ими кучу, подражая остальным отцам семейств, но всю радость ему отравляло беспокойство о том, чтобы

огонь не вышел из-под контроля. Он ходил кругами вокруг костра, перебрасывал листья в центр, сбивал чрезмерно разросшееся пламя, и когда мистер Уэдсворт предлагал ему глотнуть из фляги с монограммой (он протягивал ее по очереди всем отцам в округе), мистер Лисбон неизменно отвечал: «Благодарю покорно, не хочется».

В год самоубийств листва на участке Лисбонов так и осталась неубранной. В соответствующую субботу мистер Лисбон так и не покинул своего жилища. Время от времени, работая граблями, мы поглядывали в сторону дома Лисбонов, чьи стены жадно впитывали осеннюю влагу, а лужайка в беспорядочно-разноцветных листьях явно выделялась на фоне окружавших ее уже убранных, зеленых газонов. Когда мы запалили свои костры той ночью, каждый дом шагнул вперед, осветившись желтым, и только дом Лисбонов остался в темноте: туннель, пустота, черная дыра, затерявшаяся меж столбов дыма и языков пламени. Шли недели, а листья так и оставались там, где упали. Когда ветер заносил их на чужие участки, люди ворчали. «Это не мои листья», — сетовал мистер Эмберсон, набивая ими мусорный бак. Дважды шел дождь, и листья потемнели, набухая, отчего лужайка Лисбонов стала напоминать грязный пустырь.

\* \* \*

Первых репортеров как раз и привлекла атмосфера запущенности, сгустившаяся вокруг дома. Мистер Боуби, редактор местной газеты, продолжал упорствовать в своем нежелании освещать столь частную трагедию, как самоубийство. Вместо этого он избирал нейтральные темы — недовольство, сопровождавшее установку заслонившего собою озеро дорожного ограждения, или тупик, в который зашли переговоры бастующих работников кладбищ с властями (тела уже стали вывозить за пределы штата в трейлерах-холодильниках). Рубрика «Добро пожаловать, сосед» продолжала представлять новых жителей, привлеченных зеленью и тишиной нашего городка, его поразительными верандами: кузен Уинстона Черчилля в своем доме на бульваре Уиндмилл-Пойнт, слишком тощий с виду, чтобы действительно оказаться родственником премьер-министра; миссис Шед Тернер, первая белокожая женщина, побывавшая в непроходимых джунглях Папуа Новой Гвинеи, запечатленная на фото с чем-то, напоминающим сморщенную голову мумии у нее на коленях (подпись объявляла размытое пятно Вильгельмом Завоевателем, йоркширским терьером путешественницы).

Летом городские газеты никак не комментировали самоубийство Сесилии по причине его полнейшей обыденности. Из-за череды увольнений, пронесшейся по автомобильным заводам, едва проходил хотя бы день без того, чтобы чья-то отчаявшаяся душа не сгинула под натиском снижения уровня жизни: людей находили задохнувшимися в гаражах или скрюченными в душе, все еще в рабочей одежде. В газеты попадали только истории, сопряженные с убийствами, да и о них можно было прочесть на странице третьей или четвертой, — об отцах, расстрелявших всю семью, прежде чем самим сунуть в рот дуло; о людях, поджегших собственные дома, предварительно подперев дверь. Мистер Ларкин, издатель самой крупной газеты в городе, проживал всего в полумиле от Лисbonов, и в том, что ему было известно о случившемся, можно было не сомневаться. Джо Хилл Конли, который время от времени приударял за Мисси Ларкин (она уже с год сохла по Джо, невзирая на его постоянные порезы при бритье), довел до нашего сведения, что Мисси обсуждала самоубийство Сесилии с матерью в присутствии мистера Ларкина, но тот не выказал ни малейшего интереса к их беседе и продолжал отдыхать в шезлонге с мокрым полотенцем на лице. В любом случае, 15 октября, спустя три месяца с лишком, в газете опубликовали письмо в редакцию, в крайне беглой манере описывавшее обстоятельства самоубийства Сесилии и кинувшее школам призыв «обратить внимание на всеподавляющее чувство ненужности, мучающее нынешних подростков». Письмо было подписано явным псевдонимом «Миссис И. Дью Хоупвелл»,<sup>[14]</sup> но некоторые детали указывали на кого-то из жителей нашей улицы. Прежде всего, к тому времени подавляющее большинство горожан уже забыли о трагедии Лисbonов, тогда как растущая на глазах обветшалость их дома постоянно напоминала соседям о так и не покинувшей эти стены беде. Минули годы, спасать было уже некого, и миссис Дентон призналась в авторстве того письма в газету: она решилась на это в приступе праведного негодования, настигшего ее под феном в местной парикмахерской. Нет, она не сожалела о своем поступке. «Нельзя же просто стоять в сторонке и смотреть, как соседи вылетают в трубу, — сказала она. — Тут у нас живут нормальные люди».

На следующий после публикации письма день к дому Лисbonов подкатил синий «понтиак», и из машины вышла никому не знакомая женщина. Сверив адрес по бумажке, она подошла к переднему крыльцу дома — тому, на который вот уже много недель не поднималась ни одна живая душа. Шафт Тиггс, мальчишка-почтальон, теперь швырял газеты в дверь с расстояния десяти футов. Он даже перестал заходить за деньгами

по четвергам (его мать выявила разницу по своей записной книжке и предупредила Шафта, чтобы тот ничего не говорил отцу): крыльцо Лисбонов, на которое мы выскочили когда-то, чтобы увидеть пронзенную пикой Сесилию, стало чем-то вроде трещины в асфальте тротуара; ступить на него грозило несчастьем. Коврик у двери загнулся по краям. Подмокшую груду непрочитанных газет пятнали номера цветного спортивного приложения, сочившиеся красной типографской краской. Металлический почтовый ящик распространял запах ржавчины. Приехавшая на «понтиаке» молодая женщина отодвинула газеты в сторонку носком синей туфли-лодочки и постучала в дверь. Та чуть приоткрылась на стук, и, косясь во тьму проема, женщина заговорила. В какой-то момент, осознав, что голова слушательницы находится где-то на фут ниже, женщина скорректировала угол взгляда. Она извлекла из кармана жакета блокнот и потрясла им, как законспирированные под журналистов шпионы в фильмах о войне. Это возымело результат. Пропуская ее внутрь, дверь приоткрылась еще на несколько дюймов.

Статью Линды Перл напечатали уже назавтра, хотя мистер Ларкин ни за что не стал бы обсуждать причины ее появления в газете. В статье давался подробный отчет о самоубийстве Сесилии. По приведенным в ней цитатам (при желании со статьей можно ознакомиться самостоятельно: мы прилагаем ее в качестве Экспоната № 9) становится ясно, что мисс Перл, недавно переведенная в собкоры из выпускавшейся в Мэкинаке провинциальной газетенки, успела побеседовать лишь с Бонни и Мэри, прежде чем миссис Лисбон вышвырнула ее из дома. Логика повествования выстроена по образу и подобию множества «очерков для широкой публики», начинавших входить в моду по тем временам: дом Лисбонов обрисован лишь самыми широкими мазками. Представление о стиле мисс Перл дают пассажи вроде: «Фешенебельный пригород, известный скорее первыми балами, чем похоронами девочек в возрасте дебютанток» или: «Живая, энергичная манера девушек говорить не несет признаков пережитой ими недавней трагедии». Предоставив самое поверхностное описание Сесилии («Она любила рисовать и вела дневник»), статья раскрывает тайну ее гибели, вдаваясь в пространные рассуждения наподобие: «Специалисты полагают, что нынешние подростки испытывают куда большее психологическое давление, чем в прошлом. Затянувшееся детство, которым Америка одаряет свою молодежь, оборачивается в современном мире зияющей пустотой, когда подростки отрезаны как от детства, так и от зрелости. Зачастую у них не возникает ни малейшего шанса на самовыражение. Все чаще и чаще, уверяют врачи, это

разочарование приводит к нервному срыву и как результат — к насилию над собой, реальность которого подростки не в состоянии отделить от воображаемого драматического эффекта».

Судя по всему, статья лишена пафоса сенсационности, спокойно сообщая читателю о широко распространенной социальной угрозе. Днем спустя в газете появилась колонка о молодежном суициде вообще (также за подписью мисс Перл), снабженная схемами и графиками. Сесилия упоминалась лишь в первой фразе: «Самоубийство девочки-подростка, потрясшее прошедшим летом восточный пригород, дало обществу повод задуматься над бедой, обретшей поистине общенациональный масштаб». С этого момента тема была отдана на растерзание писакам. Делались публикации, перечислявшие все самоубийства подростков за минувший год. Печатались и фотографии — как правило, школьные портреты юнцов в парадных костюмчиках и с тревожным выражением на лицах: мальчиков с клочковатыми усиками и громадным зобом галстука под подбородком, девочек со взбитыми, словно безе, прическами и с золотыми, снабженными бирками «Шерри» или «Гlorия» цепочками на шеях. Сделанные дома фото представляли подростков в редкие часы радости; на этих снимках будущие самоубийцы зачастую склонялись над озаренным свечами праздничным тортом, красноречивым итогом их короткой жизни. Поскольку мистер и миссис Лисбон отказывались разговаривать с журналистами, газеты были вынуждены заимствовать фото Сесилии из школьного альбома-ежегодника с надписью на обложке «Все вместе». На вырванной из него странице (Экспонат № 4) пытливое, проницательное лицо Сесилии выглядывает из-за плеч отстриженных редакторскими ножницами одноклассников в свитерах. Растущую безотрадность наружного вида дома Лисбонов по очереди запечатлели съемочные группы сначала Второго, затем Четвертого и, наконец, Седьмого каналов. Мы специально высматривали эти кадры по телевидению, но они так и оставались неиспользованными, пока с собой не покончили остальные сестры Лисбон. А на тот момент время года уже успело смениться. Тогда же одна из программ на местном телевидении посвятила передачу теме подросткового суицида, пригласив двух девушек и одного юношу объяснить зрителям, ради чего они пытались наложить на себя руки. Мы выслушали их, но с самого начала было ясно: все трое подверглись столь интенсивному лечению, что и сами уже ничего не понимали. Их ответы казались заученными и выстраивались вокруг самооценки и прочих умных терминов, с трудом покидавших их губы. Одна из девушек, по имени Ренни Джилсон, пыталась свести счеты с жизнью, приготовив себе пирог с начинкой из крысиного яда (она

намеревалась отравиться, не вызывая лишних подозрений), но в результате прикончила собственную бабушку, зядлую сладкоежку восьмидесяти шести лет. В этом месте своего рассказа Ренни разрыдалась, ведущий передачи неуклюже попытался утешить ее, и пошла реклама.

Многие встретили залп статей и телепередач протестами, ведь те появились спустя немалое время после совершившегося самоубийства и уже ничем не могли помочь. Миссис Юджин так и сказала: «Оставьте ее покоиться с миром», а миссис Ларсон тем временем сокрушалась, что пресса проявила свое внимание не вовремя: «Жизнь едва вернулась к норме». Как бы там ни было, репортажи предупредили нас о тревожных признаках, не искать которые мы не могли. Не расширены ли зрачки у сестер Лисбон? Не слишком ли часто они пользуются спреем от насморка? Глазными каплями? Не утратили ли они интерес к школьным занятиям, к спортивным мероприятиям, к личным хобби? Не отдаляются ли они от однокашников? Не страдают ли беспричинными приступами рыданий? Не жалуются ли на бессонницу, на боль в груди, на постоянные головокружения? По рукам пошли брошюры, рассылаемые местным отделением Торговой палаты, текст в которых был набран белыми буквами по темно-зеленой бумаге. «Мы полагали, что зеленый цвет оптимистичен, но не слишком весел, — пояснил нам мистер Бабсон, тамошний президент. — Зеленый, кроме того, вполне серьезен. Так что на нем мы и остановились». В брошюрах смерть Сесилии не упоминалась ни словечком; вместо этого безымянный автор вдавался в общие причины самоубийств как таковых. Мы выяснили, что каждый день в Америке кончают с собой 80 человек (30 тысяч в год); что суициdalная попытка предпринимается ежеминутно, а заканчивается успехом каждые 18 минут; что самоубийство удается в три-четыре раза большему количеству мужчин, чем женщин, но зато женщины в три раза чаще пытаются свести счеты с жизнью; что количество самоубийц среди молодежи (в возрасте от 15 до 24) троекратно возросло за последние сорок лет; что самоубийство — вторая по частоте причина смерти среди старшеклассников; что 25 процентов всех самоубийств приходится на возрастную группу «15–24» — и (вопреки всем нашим ожиданиям) что чаще всего руки на себя накладывают белые мужчины после пятидесяти. Впоследствии многие замечали, будто члены правления местной Торговой палаты (мистер Бабсон, мистер Лоури, мистер Питерсон и мистер Хокстедер) выказали редкостный дар предвидения, еще тогда узрев в повальном страхе суицида негативные последствия для облика города, да и последующее снижение коммерческой активности тоже. Пока продолжались самоубийства (и какое-

то время после того), Торговую палату меньше заботил приток чернокожих покупателей, чем отток клиентов с белым цветом кожи. Уже многие годы набравшиеся храбости негры то и дело заглядывали в наш пригород; впрочем, в большинстве своем то были женщины, сливавшиеся с толпой местных жительниц. Городской центр настолько загнил, что большинству чернокожих просто некуда больше было податься. В сущности, они тоже не выбирали холод наших витрин, где манекены выставляли напоказ зеленые юбки, розовые эспадрильи<sup>[15]</sup> и зажатые в позолоченных клешнях дамские сумочки дурацкого голубого цвета. Даже если мы сами всегда предпочитали играть в индейцев, а не в ковбоев, считали Тревиса Уильямса величайшим мастером всех времен и народов, способным отразить удар с центра, а Вилли Хортона — лучшим на свете отбивающим,<sup>[16]</sup> ничто не могло потрясти нас больше, чем вид покупателя с темной кожей в магазине где-нибудь на Керчевал-стрит. Мы не могли не подозревать, что некие «усовершенствования» в центре были произведены специально, чтобы отпугнуть негров. Призрак в витрине магазина готовой одежды, например, носил заостренный кверху капюшон, а кафе без всякого объяснения вычеркнуло из меню жареную курятину. Впрочем, мы не знали наверняка, спланированы ли эти шаги заранее, поскольку сразу после начала самоубийств Торговая палата бросила все силы на оздоровительную кампанию. Под прикрытием «пропаганды правильного образа жизни» палата установила в спортивном зале нашей школы столы с информационными буклетами, посвященными множеству заболеваний: от рака прямой кишки до диабета. Кришнитам разрешили обрить головы и прилюдно распевать мантры, а также раздавать всем желающим приторно-сладкую вегетарианскую пищу. Этот новый подход включал в себя и зеленые брошюрки, и занятия семейной терапией, где детям приходилось выходить вперед и подробно описывать своиочные кошмары. Вилли Кюнц, чья мать отвела его на подобное занятие, рассказывал: «Эти люди не выпускали меня, пока я, расплакавшись, не заявил маме, что люблю ее. Так оно и было. А вот плач пришлось имитировать. Нужно всего-то тереть глаза, пока не зашиблет. Вроде сработало».

Среди растущего к ним в школе интереса девушки умудрялись оставаться как бы в тени. Череда наших встреч с ними, относящихся к тому периоду, смешалась в собирательный образ их тесной группки, спокойно вышагивавшей поциальному коридору. Сестры проходили под огромным циферблатом школьных часов, где черный палец минутной стрелки указывал вниз, на мягкие овалы их голов. Мы всегда ожидали, что

часы вот-вот сорвутся со стены, но этого не происходило, и вскоре девушки были уже вне досягаемости, а юбки на их бедрах становились все прозрачнее в исходившем из дальнего конца коридора свете, и под тканью вырисовывались размытые контуры их ног. Впрочем, стоило нам попытаться догнать их, и сестры будто бы растворялись в воздухе; заглядывая в классы, куда они могли войти, мы видели сотни чужих лиц или же сбивались со следа, проскочив всю школу вплоть до начальных классов, с хаотичными цветными разводами на приколотых к стенам рисунках. И сейчас еще запах яичной темперы возрождает в нас воспоминания о тех бесполезных погонях. Коридоры, по вечерам подметаемые одинокими уборщиками, хранили молчание, и оставалось лишь следовать карандашной стрелке, нацарапанной на стене кем-то из учеников (не меньше пятидесяти футов длиной), и повторять себе, что на сей-то раз мы непременно заговорим с сестрами Лисbon и спросим наконец, что же их так гнетет. Иногда мы случайно замечали заворачивавшие за угол изорванные гольфы или неожиданно натыкались на сестер, в низком поклоне расставлявших учебники на полках в шкафчике и поминутно отбрасывавших с глаз волосы. Но всякий раз случалось одно и то же: в то время как бледные лица сестер скользили мимо, мы изо всех сил делали вид, будто вовсе их и не искали, будто даже не подозревали об их существовании.

От той эпохи у нас осталось всего несколько документальных свидетельств (Экспонаты №№ 13–15): листочки письменных работ Терезы по химии, подготовленный Бонни к уроку истории доклад о Симоне Вейль, [17] стопка выполненных рукою Люкс родительских освобождений от уроков физкультуры. В своих подделках она всякий раз пользовалась проверенной методикой — тщательно копировала твердые «т» и «б» в подписи матери и затем, чтобы скрыть почерк, выводила ниже собственную подпись: Люкс Лисbon, с двумя вялыми «Л», клонящимися друг к другу над бесформенной «ю» и колючими «кс». Джуллия Уинтроп тоже частенько прогуливала физру и провела немало часов, прячась вместе с Люкс в раздевалке для девочек. «Мы залезали на шкафы и курили, — рассказала она. — Снизу нас не было видно. Учителя, если заходили в раздевалку, не могли догадаться, откуда взялся дым, и обычно решали, что курильщики уже ушли». По словам Джуллии, они с Люкс были «подружками на одну сигаретку» и, сидя на шкафах, почти не разговаривали, чаще задумчиво затягиваясь дымом или прислушиваясь к шагам. Кроме того, Джуллия замечала в Люкс не свойственную той напускную суровость, которая, возможно, была реакцией на душевную боль. «Она то и дело повторяла:

„Да чтобы эта школа провалилась“ или: „Жду не дождусь, когда же выйду отсюда“, — но так говорили почти все мы». Тем не менее один раз, когда обе потушили сигареты, Джгулия спрыгнула со шкафа и направилась к выходу. Когда Люкс не последовала ее примеру, Джгулия позвала ее. «Она не отвечала, и мне пришлось вернуться и заглянуть наверх. Она просто лежала там, обхватив себя руками. Не было слышно ни звука, но Люкс колотило так, словно в раздевалке стоял лютый холод».

В воспоминаниях учителей, относящихся к тому периоду, девушки предстают совершенно по-разному, в зависимости от преподаваемого предмета. Мистер Ниллис говорил о Бонни: «Затишие перед бурей. Мы так и не смогли поговорить по душам», тогда как сеньор Лорка так вспоминал Терезу: «Большая девочка! Я думай, меньше счастливей. Так устроен мир и сердце мужчин». Судя по всему, хоть Терезе языки давались не особенно легко, она все же могла говорить с правдоподобным кастильским акцентом и быстро наращивала словарь. «Она могла говорить испански, — добавил сеньор Лорка, — но не умела пережить язык».

В своем письменном ответе на наши вопросы (ей требовалось время «на размышление и обдумывание») мисс Арндт, учительница рисования, вспоминает: «В акварелях Мэри выражала нечто, что, за неимением лучшего слова, я определю как „печаль“. Опыт преподавателя подсказывает мне, что все дети делятся на два основных лагеря: пустоголовые (цветы в манере фовистов,<sup>[18]</sup> собаки и парусные яхты) и умненькие (урбанистический упадок гуашью и мрачные абстракции), я и сама так рисовала в колледже и на протяжении тех безумных трех лет жизни в центре. Могла ли я предвидеть, что она совершил самоубийство? К сожалению, нет. По меньшей мере десять процентов моих учеников родились со склонностью к модернизму. Теперь я спрошу вас: не является ли тупость благословением, а ум — проклятием? Мне сорок семь, и я до сих пор живу в одиночестве».

День ото дня сестры все больше отстранялись от одноклассников. Из-за того что они постоянно держались сплоченной группой, другие девушки уже не могли, как бывало, прогуляться или поболтать с ними, и многие посчитали, что сестры Лисбон просто хотят, чтобы их оставили в покое. И чем больше времени они были предоставлены самим себе, тем дальше отодвигались от прочих. Шейла Дэвис рассказала о том, как вместе с Бонни Лисбон посещала занятия по углубленному изучению английского. «Мы обсуждали ту книгу, „Женский портрет“.<sup>[19]</sup> Нас попросили охарактеризовать Ральфа, одного из персонажей. Поначалу Бонни мало что

говорила. Но потом напомнила остальным о том, как Ральф постоянно держал руки в карманах. А у меня вырвалось: „Его так жалко, когда он умирает“, я и в мыслях не держала... Грейс Хилтон пихнула меня локтем, и я покраснела. Наступила тишина».

Идея Дня скорби родилась у миссис Вудхаус, жены директора школы. В колледже она специализировалась на психологии и теперь дважды в неделю добровольно участвовала в проводившейся в старой части города интеллектуальной программе «Интенсивное погружение». «В газетах только и писали о самоубийствах, но мы, между прочим, за весь тот год ни разу даже не произнесли этого слова в стенах школы, — сказала она нам по прошествии почти двадцати лет. — Мне хотелось, чтобы Дик произнес несколько фраз на эту тему, выступая в первый учебный день, но он посчитал это лишним, и мне пришлось согласиться. Впрочем, время шло, шумиха росла, и он постепенно встал на мою точку зрения». (Заметим, мистер Вудхаус все же упомянул проблему в своем выступлении перед учениками. Представив собравшимся нескольких новых учителей, он произнес: «Для некоторых из нас это лето выдалось особенно долгим и трудным. Но сегодня начинается новый учебный год, и он несет с собой новые надежды и задачи».) Миссис Вудхаус ознакомила нескольких старших преподавателей со своей идеей в ходе дружеского ужина, состоявшегося в скромном особняке, отвечающем положению ее мужа, и уже на следующей неделе внесла это предложение на рассмотрение общего учительского собрания. Мистер Палффи, вскоре после этого оставивший школу, чтобы заняться рекламным бизнесом, так вспоминает речь, произнесенную в тот день миссис Вудхаус: «„Скорбь вполне естественна, — сказала она. — Но ее преодоление — дело выбора каждого“. Я помню эти ее слова, потому что позднее воспользовался ими в рекламе диетических продуктов: „Питание — вещь естественная. Избыток веса — это ваш выбор“. Может, вы ее и видели». Мистер Палффи голосовал против проведения Дня скорби, но остался в меньшинстве. Дату назначили сразу же.

Большинство участников вспоминает День скорби как маловразумительное событие. Первые три урока отменили, и мы провели их, не покидая классных комнат. Учителя раздавали ксерокопии текстов по основной теме дня, которую нам так толком и не сообщили, поскольку миссис Вудхаус посчитала ненужным касаться конкретной трагедии, произшедшей в семье Лисбонов. В итоге та утратила хоть сколько-нибудь узнаваемые черты и охватила чуть ли не всю Вселенную. Как выразился Кевин Тиггс: «Похоже, от нас требовалось оплакивать всех и вся, горевать

обо всем, что только случилось в прошлом, настоящем и будущем». Учителей наделили полномочиями проводить уроки на любую тему по собственному выбору. Мистер Хедли, учитель английского, приезжавший в школу на велосипеде, в брюках, аккуратно защепленных металлическими зажимами, раздал нам подборку стихотворений поэтессы викторианской эпохи Кристины Росетти.<sup>[20]</sup> Дебора Ферентелл вспомнила для нас несколько строк из короткой поэмы под названием «Отдых»:

О земля! Навались на веки  
Ее милых усталых глаз.  
Нет вопросов и нет ответов.  
Стисни тело ее, чтобы для вздохов  
Не осталось места и смехом  
Не оскалиться, веселясь.

Преподобный Пайк говорил о христианском понимании смерти и возрождения, основывая свои философствования на зыбкой почве душераздирающей утраты, постигшей его в колледже, когда бейсбольная команда, в которой он играл, не сумела пробиться в дивизион. Мистер Тоновер, преподававший у нас химию и до сих пор живший с матерью, мало что мог сказать на тему дня и вместе с учениками готовил ореховые леденцы на химических горелках. Другие классы, разбившись на группы, занялись игрой, по правилам которой каждый участник должен был вообразить себя тем или иным произведением архитектуры. «Если бы ты был зданием, — вопрошал ведущий, — то каким именно?» Игрокам пришлось в мельчайших подробностях описывать конструкцию этих строений, чтобы затем самим же предложить способ ее усовершенствовать. Сестры Лисbon, порознь разведенные по отдельным классам, отказывались играть и постоянно отпрашивались в туалет. Никто из учителей не решился настаивать на их участии, так что День скорби оказался посвящен исцелению душевных ран тех, у кого и ран-то никаких не было. Несколькими часами позднее Бекки Толбридж видела сестер Лисbon, всех вместе, в уборной для девочек в Научном крыле. «Они втащили туда стулья из коридора и просто сидели там, пережидая, пока все это закончится. У Мэри спустилась петля на чулке (представить только, она носила нейлоновые чулки!), и она чинила ее пилкой для ногтей. Сестры вроде как наблюдали за ней, но мне показалось, что им невыносимо скучно. Я вошла в кабинку, но ощущала их присутствие и... в общем, у меня ничего не

получилось».

Миссис Лисбон так и не узнала о Дне скорби. Ни муж, ни дочери не заговаривали об этом, вернувшись из школы в тот день. Разумеется, мистер Лисбон присутствовал на общем учительском собрании, когда миссис Вудхаус поставила свою идею на голосование, но учителя по-разному описывают его реакцию. Мистер Родригес вспомнил, как «он покивал, но не сказал ни слова», тогда как мисс Шаттлворт уверяла, будто он ушел с собрания вскоре после начала и больше не возвращался. «Мистер Лисбон даже не слышал о Дне скорби. Ушел в растерянности и в зимнем пальто», — сказала она, по обыкновению ставя нас в тупик своими излюбленными риторическими вывертами (зевгма, в данном случае), что нам пришлось назвать, прежде чем мы смогли покинуть ее общество. Когда мисс Шаттлворт вошла в кабинет, где собирались побеседовать с нами, мы встретили ее стоя, как всегда; невзирая на то что мы уже достигли среднего возраста, а некоторые успели и облысеть, она все еще обращалась к нам «дети», как давным-давно у себя в классе. На столе у нее все еще красовались гипсовый бюст Цицерона и поддельная греческая ваза (которую мы подарили ей в день выпуска), а сама она по-прежнему казалась умницей и всезнайкой, давшей почему-то обет безбрачия. «Думаю, мистер Лисбон узнал о приближении Dies Lacrimarum,<sup>[21]</sup> только когда подготовка уже шла полным ходом. Во время второго урока я проходила мимо его кабинета, и он сидел на своем стуле у доски, что-то рассказывая. Едва ли у кого-то хватило духу порекомендовать ему посвятить занятие известной теме». Действительно, по прошествии времени мистер Лисбон смог лишь смутно припомнить школьный День скорби. «Спросите лучше что-нибудь про десятичные дроби», — попытался пошутить он.

Еще долго многочисленные попытки заговорить с сестрами Лисбон о самоубийстве Сесилии ни к чему не приводили. Миссис Вудхаус посчитала, что День скорби послужил жизненно важной цели, да и многие учителя выражали удовлетворение тем, что окутывавший тему занавес молчания был все-таки сорван. В школьном штате появилась и была занята должность психолога; раз в неделю эта женщина вела прием в медицинском кабинете, и любой ученик, у которого возникало желание поговорить на волнующие его темы, мог пойти туда и облегчить душу. Сами мы не были там ни разу, но каждую пятницу заглядывали в кабинет, чтобы поглядеть, не явился ли к психологу кто-то из сестер Лисбон. Звали психолога мисс Линн Килсем, но спустя год, уже после последнего самоубийства, она исчезла в неизвестном направлении, никому не сказав ни слова. Позже выяснилось, что ее диплом социального работника был

подделан; уже никто не знал толком, кем она была, действительно ли ее имя было Линн Килсем и куда она делась. В любом случае, школьный психолог числится в списке тех немногих, кого мы не сумели разыскать годы спустя. Ирония судьбы заключается еще и в том, что мисс Килсем, по всей вероятности, могла бы сообщить нам нечто интересное. Ибо, судя по всему, девушки все же общались с ней каждую пятницу, хотя мы и не сталкивались с ними в медицинском кабинете, зайдя туда под благовидным предлогом, чтобы получить аспирин или лейкопластырь. Записи о пациентах, которые вела мисс Килсем, были утрачены из-за пожара, уничтожившего медицинский кабинет пятью годами позже (причиной послужил электрический кофейник со старым проводом-удлинителем), и точной информации о проходивших там сеансах мы не имеем. Тем не менее Маффи Перри, консультировавшаяся у мисс Килсем по вопросам психологии спорта, часто заставала в кабинете Люкс или Мэри, а иногда и Терезу с Бонни заодно. По причине беспорядочных слухов о том, что после замужества Маффи сменила фамилию, мы и сами разыскали ее с превеликим трудом. Кое-кто говорил, что теперь ее зовут Маффи Фривальд, другие возражали: Маффи фон Рехевитц; но когда мы все же отыскали ее (она ухаживала за редчайшими орхидеями, которые ее бабушка завещала Ботаническому саду острова Бель-Айл), она твердо заявила, что звать ее Маффи Перри, и точка, как во времена ее былых триумфов на полях хоккея с мячом. Вообще-то поначалу мы не узнали Маффи в духоте теплицы, под гроздьями хищных выонков и ползучих лиан, так что нам пришлось выманить ее под специальную лампу, поощрявшую рост зелени, чтобы отметить морщины и следы неумеренного аппетита на ее лице, равно как и вопросительный знак, в который согнулась ее некогда прямая спина хоккейного форварда; тем не менее контраст белых зубов с ярко-красными деснами был по-прежнему разителен. Очевидный упадок самого острова Бель-Айл в немалой степени послужил тому, с каким недоверием и грустью мы согласились признать свою бывшую учительницу в этой пожилой женщине. Крошечный овальный островок, вытянувшийся между Американской империей и мирной Канадой, запомнился нам таким, каким он был многие годы назад, с его приветствовавшей новоприбывших бело-красно-синей клумбой в виде государственного флага, с радостным плеском его фонтанов, с европейской чинностью его казино, с тропами для верховых прогулок, шедшими сквозь лес, где деревья были согнуты в гигантские луки как это делали индейцы, расставляя силки. Времена изменились, и теперь к заваленным мусором пляжам острова, где дети удили рыбу на оторванные от пивных банок

ушки, неопрятными клочьями сбегали остатки былых газонов. Со стороны некогда ярких павильонов летели ошметья сухой краски. Питьевые фонтанчики вырастали из грязных луж, подойти к которым можно было только по осколкам кирпичей. Гранитное лицо стоявшего у обочины памятника герою Гражданской войны оказалось забрызгано черной краской из пульверизатора... Миссис Хантингтон Перри передала свои призовые орхидеи Ботаническому саду до массовых протестов, когда муниципалитеты еще распоряжались огромными суммами. Но после ее смерти истощение налоговых фондов заставило руководство пойти на сокращение штата: в год увольняли по одному опытному садовнику, так что растения, пережившие путешествие на остров из экваториальной полосы и какое-то время процветавшие в этом насквозь фальшивом раю, теперь зачахли; таблички с аккуратными надписями на латыни заросли сорной травой, а искусственное солнце вспыхивало только на пару часов в сутки. Единственным оставшимся на своем посту устройством оставался генератор пара, замутивший наклонные окна теплицы каплями-бусинками и заполнивший наши ноздри влагой и сладким смрадом гниения.

Общий упадок как раз и заставил Маффи Перри вернуться на остров. Бабушкины «лебединые» орхидеи едва не погибли от пересушки, насекомые-паразиты обосновались на всех трех ее восхитительных дендробиумах, а стоящие в ряд крохотные масдеваллии, чьи пушистые фиолетовые лепестки будто с капелькой крови на кончиках миссис Хантингтон Перри вывела самолично при помощи сложнейшей гибридизации, могли показаться непосвященному кустиками дешевых анютиных глазок. Ее внучка добровольно пожертвовала цветам все свое время, но от нее же мы и узнали, что все попытки вернуть им прежнюю славу бесполезны, все усилия тщетны. Цветы не способны расти в подвальных условиях. Да и набеги хулиганья сводят на нет все труды: юнцы перелезают через забор, носятся по теплице и вырывают растения из земли просто забавы ради. Одного из вандалов Маффи ранила попавшейся под руку садовой лопаткой. Отнюдь не сразу нам удалось перевести разговор на иные предметы, далекие от треснувших стекол, мусорных куч, не желающих платить за свои визиты посетителей и гнездящихся в египетском камыше крыс. Мало-помалу, однако (не переставая капать из пипетки на задранные вверх мордочки орхидей чем-то очень похожим на простое молоко), она открыла нам, как именно выглядели сестры Лисbon в приемной мисс Килсем. «На первых сеансах они так и оставались подавленными. У Мэри были эти огромные круги под глазами. Как прорези маски». Маффи Перри все еще могла возродить в памяти царивший в

медкабинете запах антисептика; он внушал ей суеверный страх, и с тех пор она полагала, что именно так пахло горе девушек. Когда она появлялась в кабинете, сестры обычно уже собирались уходить — с опущенным долу взором, с развязанными шнурками, — но они ни разу не забыли прихватить мятную конфетку с подноса, который медсестра ставила на стол у двери. Девушки выходили, оставляя мисс Килсем под тяжестью рассказанного. Обычно она сидела, покачиваясь, с закрытыми глазами за столом, вдавив в виски большие пальцы, и была в состоянии говорить лишь через несколько минут. «Я всегда подозревала, что мисс Килсем была единственной, кому они доверились, — сообщила нам Маффи. — Уж не знаю, что их толкнуло. Может, поэтому она и уехала».

Доверяли сестры мисс Килсем или нет, еженедельная терапия имела явные результаты. Почти сразу у девушек поднялось настроение. Входя в кабинет в условленное время, Маффи Перри нередко слышала, как они смеются или возбужденно болтают. Изредка мисс Килсем приоткрывала окно и наперекор всем школьным правилам покуривала с Люкс, или же девушки разоряли поднос с леденцами, разбрасывая обертки по всему столу.

Мы и сами заметили перемену. Усталость уже не сквозила в каждом движении сестер Лисбон. В классе они реже стали смотреть в окно, чаще поднимали руки и отвечали. Девушки моментально забыли о приставшем к ним клейме и вновь окунулись в школьную жизнь. Тереза посещала собрания научного кружка, проходившие в невеселом классе мистера Тоновера, среди столов с огнеупорным покрытием и темных глубоких раковин по стенам. Два вечера в неделю Мэри помогала некоей разведенной dame шить костюмы для школьного спектакля. Бонни даже заглянула на одно из христианских собраний в доме Майка Фиркина, который стал впоследствии миссионером и умер от малярии где-то в Таиланде. Люкс попробовала силы в школьном мюзикле, и поскольку Оджи Кент влюбился в нее, а режиссер постановки мистер Олифант влюбился в Оджи Кента, она получила маленькую роль в хоре, пела и танцевала так, словно была вполне счастлива. Распланированные мистером Олифантом мизансцены вечно заставляли Люкс выходить на сцену в тот миг, когда с нее сходил Оджи. Кент признался потом, что за все время репетиций ему так ни разу и не удалось утащить Люкс в темноту за кулисами или завернуться с нею в занавес. Само собой, четырьмя неделями позднее, после окончательного заточения сестер в родительском доме, Люкс перестала являться на представление, но все, кто видел спектакль, согласились, что Оджи Кент распевал пронзительным, ничуть не

примечательным голосом и явно больше интересовался собственной персоной, чем девушкой из хора, отсутствие которой на сцене решительно никому не бросилось в глаза.

К этому времени осень окончательно утратила краски и затянула небо сталью. Планеты в классе мистера Лисбона ежедневно продвигались на несколько дюймов, и, если задрать голову, становилось ясно, что Земля отвернула голубой лик от Солнца, устремившись по собственной темной дорожке, проложенной в космической пустоте, — туда, где в углу потолка слабо шевелились серые клочья паутины, недосягаемые для метел уборщиц. По мере того как летняя щедрость отходила в область воспоминаний, само лето обретало нереальность, и в итоге мы вовсе потеряли его след. Призрак бедняжки Сесилии возникал в нашем сознании в странные моменты, чаще всего при утреннем пробуждении или же при долгом взгляде на струящиеся по ветровому стеклу потоки воды: подернутая дымкой загробного мира, она материализовывалась в своем старом подвенечном наряде. Но затем кто-то выключал будильник, или радио выплевывало популярную песенку, и мы с явственно различимым щелчком возвращались к реальности. Другим удалось избавиться от воспоминаний о Сесилии даже с еще большей легкостью. В их разговорах ее имя упоминали для того лишь, чтобы подтвердить проницательность говорившего: да, они давно уже подозревали, что добром это не кончится, и, далекие от того, чтобы воспринимать девочек Лисбон как единый организм, особо выделяли Сесилию; она всегда держалась немного в стороне, этакая ошибка природы. Мистер Хиллер выразил общее впечатление того времени: «Девушек ждало большое, яркое будущее. А та, другая, могла только окончательно помешаться». Мало-помалу люди перестали судачить о таинственном самоубийстве Сесилии Лисбон, предпочитая видеть в нем самой судьбой предрешенную неизбежность или нечто такое, о чем следует забыть как можно скорее. Хотя миссис Лисбон продолжала оставаться в тени, в редких случаях покидая дом и заказывая продукты, никто не выражал ей свое неодобрение, а некоторые даже сочувствовали. «Больше всех мне жаль мать, — заявила миссис Юджин. — Только и думает небось, что могла что-то сделать, но не сделала». Что же до страдающих, с трудом возвращающихся к жизни девушек, то их статус в школе даже повысился, как это было с родственниками Кеннеди. В автобусе дети вновь подсаживались к ним вплотную. Лесли Томпкинс попросила у Мэри щетку, чтобы обуздать отросшие непокорные рыжие волосы. Джулия Уинтроп курила с Люкс в раздевалке и, по ее словам, приступы трясучки больше не повторялись. День за днем сестры

понемногу оправлялись от потери.

Именно в этот период сложного, медленного выздоровления Трип Фонтеин сделал очередной ход. Не посоветовавшись ни с кем и даже не признавшись Люкс в своих чувствах, Трип вошел в кабинет мистера Лисбона и вытянулся в струнку у преподавательского стола. Ему удалось застать мистера Лисбона в одиночестве; тот сидел на вращающемся стуле и безучастно разглядывал планеты, застывшие над головой. Молодецкий вихор поднимался над его седеющими волосами.

— Сейчас четвертый урок, Трип, — устало сказал он. — Я жду тебя на пятый, не раньше.

— Сегодня я не могу думать о математике, сэр.

— Вот как?

— Я пришел сказать, что мои намерения в отношении вашей дочери абсолютно честны.

Брови мистера Лисбона поползли вверх, но в остальном лицо его осталось бесстрастным — так, словно бы ему приходилось выслушивать подобные заявления от учеников по шесть, а то и по семь раз на дню.

— И о какого же рода намерениях идет речь?

Трип аккуратно составил вместе носки ботинок.

— Я хочу пригласить Люкс на школьный бал.

Выслушав это, мистер Лисбон предложил Трипу присесть и следующие несколько минут терпеливо объяснял, что у них с женой заведены определенные правила, которые касаются всех дочерей без исключения, и изменить эти правила в отношении старших девушки он не в силах, не говоря уже о младших. Но даже если бы он и захотел предпринять что-то в этом роде, то жена не позволила бы ему, ха-ха, впрочем, если Трип пожелает, то может прийти и провести еще один вечер у телевизора, но это не даст, ни в коем случае не даст ему права вывести Люкс из дома, а уж тем более усадить ее в машину и куда-то увезти. Трип рассказал нам, что мистер Лисбон говорил с поразительными сочувствием и симпатией, будто бы и сам еще не запамятовал присущую отрочеству тупую боль пониже пряжки брючного ремня. Трип ясно увидел также, насколько изголодался мистер Лисбон по сыновьям, поскольку во время разговора тот встал и трижды сильно хлопнул Трипа по плечу.

— Боюсь, такова политика нашей семьи, — в итоге сказал он.

Перед внутренним взором Трипа Фонтеина с треском захлопнулись ворота крепости. Затем он заметил семейное фото на столе мистера Лисбона. Люкс стояла на фоне «Чертова колеса» в парке аттракционов и держала в красном кулачке печеное яблоко, в полированном боку которого

отразились складки детского жирка под ее подбородком. Один из уголков обметанного сахаром рта разлепился, открывая одинокий зуб.

— А что если нас будет много? — спросил Трип Фонтеин. — Если ребята пригласят и других ваших дочерей? И если мы вернем их домой к любому названному вами часу?

Это новое предложение Трип высказал ровным тоном, но пальцы его дрожали, а глаза застилали туман. Мистер Лисбон долго глядел на него, не говоря ни слова.

— Ты играешь в бейсбольной команде, сынок?

— Да, сэр.

— На какой позиции?

— Нападающий полузащитник.

— В свое время я играл в защите.

— Ключевая позиция, сэр. Никого между игроком и пограничной линией.

— Вот именно.

— Дело в том, сэр, что мы устраиваем матч с «Кантри Дэй», а потом танцы и все прочее, и все ребята в команде должны прийти с подружками.

— У тебя прекрасные внешние данные, Трип. Не сомневаюсь, миллион девиц ждут не дождутся твоего приглашения.

— Миллион девиц меня не интересуют, сэр, — ответил Трип Фонтеин.

Мистер Лисбон опустился на табурет. Сделал глубокий вдох. Посмотрел на фотографию своей семьи, одно из лиц на которой, с мечтательной улыбкой, уже перестало существовать.

— Я поговорю с их матерью, — наконец выдавил он. — Сделаю что смогу.

\* \* \*

Вот так и вышло, что четверо из нас смогли пригласить сестер Лисбон на единственное свидание без родительского присмотра, какое у них только было. Оставив кабинет мистера Лисбона, Трип принял собирать команду. На вечерней тренировке бейсболистов, во время скоростного забега, он заявил: «Я вытаскиваю Люкс на школьный бал, и мне нужны четверо парней, чтобы сопровождать остальных цыпочек. Кто пойдет?» Задыхаясь в неуклюжей защитной экипировке после десятка напряженных попыток пройти дистанцию, мы наперебой принялись уговаривать Трипа Фонтеина выбрать именно нас. Джерри Верден предложил Трипу взятку в виде трех

косячков. Парки Дентон взялся отвезти всех на отцовском «кадиллаке». Каждый сказал что-то в свою пользу. Баз Романо по кличке Веревка (его звали так из-за дрессированного зверя потрясающей длины, которого он демонстрировал нам в душе) накрыл руками лицо в проволочном каркасе шлема и катался по зоне защиты, издавая жалобные стоны: «Я умираю! Умираю! Выбери меня, Триппер!»

В конце концов победили Парки Дентон (из-за «кадиллака»), Кевин Хед (потому что он помог Трипу установить в машине кассетник и вообще обустроить все по его вкусу) и Джо Хилл Конли (поскольку он выигрывал все школьные призы, и это, как полагал Трип, могло оказаться влияние на мистера и миссис Лисбон). На следующий день Трип представил список кандидатов мистеру Лисбону, и уже в конце недели тот объявил о решении, принятом ими с супругой. Девушки смогут пойти с ребятами на бал при соблюдении следующих условий: 1) они повсюду будут ходить вместе; 2) они направятся на танцы, и никуда более; 3) они вернутся домой к одиннадцати. Мистер Лисбон заверил Трипа, что условия окончательны и обжалованию не подлежат; более того, обойти их невозможно. «Я сам буду наблюдать за их выполнением», — добавил он.

Сложно сказать, как восприняли разрешение посетить школьный бал сами сестры Лисбон. Когда мистер Лисбон объявил дочерям радостную весть, Люкс подбежала и обняла его, поцеловав с раскованной игривостью маленькой девочки. «Она уже много лет не целовала меня вот так», — вспоминал он. Остальные отреагировали с меньшим энтузиазмом. Объявление застало Терезу и Мэри за игрой в китайские шашки, за которой наблюдала и Бонни. Они лишь ненадолго оторвались от фигур на продавленной металлической доске, чтобы поинтересоваться у отца, кто же еще будет их сопровождать. Мистер Лисбон назвал имена.

— И кто кого возьмет? — спросила Мэри.

— Да разыграют нас в лотерею, и дело с концом, — ответила Тереза и шестью скачками через фигуры неприятеля провела шашку в дамки.

Прохладцу, с которой они встретили известие о приглашении на бал, можно объяснить в духе семейных традиций Лисбонов. Сообща с другими посещавшими церковь матерями миссис Лисбон и прежде устраивала групповые свидания. Мальчики Перкинс, хлюпая веслами, катали сестер в пяти блестящих каноэ по угрюмому каналу на Бель-Айл, тогда как сидевшие в лодке мистер и миссис Лисбон с мистером и миссис Перкинс, ни на минуту не теряя бдительности, галантно выдерживали дистанцию между собой и своими отпрысками. Миссис Лисбон полагала, что темную природу юношеских влечений можно ублаготворить активными занятиями

на свежем воздухе, — так сказать, любовь, сублинированная игрой в дротики на зеленой полянке. Не так давно, во время пешего похода (предпринятого без особой на то причины, если не считать тоску в душе и разлитую в небесах серость), мы разбили лагерь в Пенсильвании и, покупая свечи в топорно обставленной лавке, узнали о распространенном среди аманитов [22] обычай: когда парень приглашает подругу прокатиться в горбатом черном драндулете, родители обоих неотступно следуют за ними в другом таком же. Миссис Лисbon, со своей стороны, тоже считала, что любовные чувства могут развиваться и под надзором. Но тогда как парень-аманит непременно возвращался глухой ночью забрасывать окно девушки галькой (звон которой о стекла с общего попустительства никто не слышал), в доктрине миссис Лисbon не нашлось места для подобных снисхождений. Под ее присмотром каноэ никогда не приставали к берегу у разбитых там палаточных лагерей.

Девушки не предполагали, что на сей раз им удастся выскользнуть из-под родительского микроскопа. Сопровождение в лице самого мистера Лисбона напоминало им о привычном коротком поводке. Иметь учителя в качестве отца и без того несладко; он зарабатывал на жизнь в той же школе и постоянно пребывал на виду, не вылезая из трех имевшихся в его распоряжении костюмных пар. Профессия отца давала сестрам возможность учиться бесплатно, но Мэри однажды призналась Джуллии Форд, что благодаря этому «понимает, каково быть побиушкой». Теперь же отец явится на танцы наблюдателем, как и другие учителя, которым предстояло играть роль общественной дуэнии добровольно или же принудительно. Обычно эта обязанность ложилась на плечи тех, кто, не тренируя спортивные команды, обладал относительным запасом свободного времени, или же тех, кому просто не хватало общения. Для таких школьный бал — редкий шанс скоротать очередной вечер, забыв о скуче вынужденного одиночества. Люкс это, кажется, не беспокоило, поскольку ее сознание целиком заполняли грэзы о Трипе Фонтеине. Она вновь принялась расписывать белье дорогим ее сердцу именем, но теперь использовала растворимые водой чернила, чтобы успеть смыть всех до единого «трипов», прежде чем их увидела бы мать (впрочем, имя то и дело заявляло о себе, проявляясь на коже). Надо полагать, Люкс призналась сестрам в своих чувствах к Трипу, но в школе из ее уст никто даже не слышал этого имени. За ленчем Трип и Люкс сидели рядом, и иногда мы замечали, как они шли бок о бок по коридору в поисках свободной каморки, вентиляционного шкафа или просто укромного уголка, чтобы немного побывать наедине. Тем не менее даже там мистер Лисбон постоянно

был начеку, а потому, описав по школе пару чинных кругов и миновав кафетерий, они ступали по резиновому коврику, устилавшему пологий подъем к классу мистера Лисбона, чтобы затем, еще на мгновение продлив касание рук, разойтись в разные стороны.

Другие сестры едва были знакомы с будущими кавалерами. «Их мнения никто даже не спрашивал, — негодовала Мэри Питерс. — Это походило на брак по договору или на что-то подобное. Аж мороз по коже». В любом случае, девушки не возражали — для того ли, чтобы порадовать Люкс, или развлечься самим, или же просто убить монотонность пятничного вечера. Когда спустя годы мы говорили об этом с миссис Лисбон, она сказала, что не испытывала беспокойства в связи с приближением бала, упомянув еще и тот факт, что специально для праздника были сшиты платья. За неделю до школьной вечеринки она лично отвела девушек в магазин тканей. Там сестры бродили меж развешанных во множестве моделей, где к каждой стойке был приколот вырезанный из папиросной бумаги силуэт платья их мечты, вот только в итоге выяснилось, что давшийся такими муками выбор вовсе не имел никакого значения. Миссис Лисбон прибавила по дюйму к линии бюста и по два — к талии и подолу, так что все четыре платья вышли одинаковыми бесформенными балахонами.

У нас сохранилась фотография, запечатлевшая тот памятный день (Экспонат № 10). Девушки в своих вечерних платьях выстроились на ней в ряд, плечом к плечу, как жены первых поселенцев. Их жесткие прически («Эти выкрутасы не для того, чтобы привлечь взгляд, а наоборот, чтобы оттолкнуть», — мнение Тесси Непи, местного косметолога) имели равнодушный, высокомерный флер европейских мод, устоявших в борьбе с хаосом дикой природы. Платья тоже походили на костюмы обитателей Дикого Запада, с их высокими воротниками и отороченными кружевом фартуками-нагрудниками. Вот они, перед вами, такие, какими мы знали их, какими запомнили, какими будем помнить: робкая Бонни, съежившаяся от фотовспышки, за ней — рассудительная Тереза, недоверчиво захлопнувшая ставни век; следом — прямая и гордая Мэри, стойко выдерживающая нужную позу, и рядом — Люкс, глядящая не в объектив камеры, но ввысь. В тот вечер то и дело принимался дождь, так что очередная туча разверзлась над головой Люкс (и уронила первую каплю ей на щеку) за мгновение до того, как мистер Лисбон попросил девушек сказать: «Cheese». Далекая от идеала (левый угол оказался засвечен), фотография тем не менее передает все очарование сознающих свою красоту девушек, равно как и едва прочитываемую торжественность момента. Лица сестер

светятся изнутри радостным ожиданием. Прижавшись друг к дружке, едва втиснувшись в кадр, они, кажется, предвкушают некое чудесное открытие или разительную перемену в их жизни. В жизни. По крайней мере, именно так мы склонны истолковывать запечатленное на снимке. Не трогайте руками, пожалуйста. Простите, но нам придется спрятать фотографию обратно в конверт.

После того как групповой портрет был готов, девушки стали ожидать прибытия кавалеров, каждая по-своему. Бонни и Тереза сели за карты, тогда как Мэри неподвижно застыла в центре комнаты, изо всех сил стараясь не смять платья. Люкс отперла дверь и вышла на парадное крыльцо. Поначалу мы решили, что она потянула лодыжку, но затем заметили на ней туфли на высоких каблучках. Люкс поднималась и спускалась по ступеням, практикуясь в ходьбе, пока в конце квартала не замаячила машина Парки Дентона. Тогда Люкс повернулась, нажала кнопку дверного звонка, предупреждая сестер, и вновь скрылась в доме.

Оставшись в стороне, мы наблюдали за приездом ребят. Желтый «кадиллак» Парки Дентона плыл по улице, и пассажиры выглядывали из него, словно из аквариума, наполненного какой-то иной, не земной атмосферой. Шел дождь, и «дворники» вовсю скребли по ветровому стеклу, но изнутри машины исходил ровный теплый свет. Проезжая мимо дома Джо Ларсона, парни подбодрили нас, показав поднятые большие пальцы.

Первым из машины появился Трип Фонтейн. Он поддернул рукава пиджака, как это демонстрировали модели в отцовских журналах мод. На шее у него красовался узкий галстук. На Парки Дентоне был синий свитер с высоким горлом, как и на Кевине Хеде, вышедшем вслед за ним; последним с заднего сидения выпрыгнул Джо Хилл Конли в мешковатом твидовом джемпере, взятом напрокат у отца — школьного учителя и убежденного коммуниста. Окружив машину полукольцом, ребята еще немного помешкали, но дождь все накrapывал, и в итоге Трип Фонтейн первым зашагал по дорожке к дому. Взойдя на крыльцо, они исчезли из виду, но из их рассказов мы знаем, что начало группового свидания напоминало любое другое. Делая вид, что еще не готовы, сестры удалились наверх, и мистер Лисбон пригласил ребят в гостиную.

— Девушки спустятся через минутку, — сказал он, поднося к глазам часы. — Боже, мне и самому пора бы поторопиться.

В дверной арке появилась миссис Лисбон. Она прижимала кончики пальцев к виску, словно у нее болела голова, но улыбка все равно получилась вежливой.

— Здравствуйте, мальчики.

В унисон:

— Здравствуйте, миссис Лисбон!

Как вспоминал Джо Хилл Конли, ее прямота и строгость казались неестественными, словно миссис Лисбон только что плакала в соседней комнате. Он почувствовал (конечно, это говорилось уже через много лет, когда Джо Хилл Конли, по его собственному признанию, научился открывать и перекрывать энергетические потоки в своих чакрах простым усилием воли) исходящую от миссис Лисбон древнюю боль, вовравшую в себя все горести ее народа. «Она потомок печальной расы, — объяснял Джо. — Тут дело не только в Сесилии. Печаль возникла задолго до того. Задолго до Америки. И в девочках она тоже была». Прежде он не замечал на лице миссис Лисбон очков. «Ее глаза как будто были разрезаны пополам».

— Кто из вас поведет машину? — осведомилась миссис Лисбон.

— Я, — ответил Парки Дентон.

— И давно ли тебе выдали лицензию?

— Два месяца прошло. Но разрешение у меня уже больше года.

— Мы вообще-то не любим, чтобы девочки выбирались куда-то на машине. В последнее время так много аварий... Дорога сейчас скользкая из-за дождя. Я надеюсь, вы будете предельно осторожны.

— Непременно.

— Вот и ладно, — сказал мистер Лисбон. — Допрос с пристрастием окончен. Девочки! (в потолок). Мне уже пора. Увидимся на танцах, ребята.

— До встречи, мистер Лисбон.

Он вышел, оставив их в обществе жены. Та не стала заглядывать им в глаза, но быстро осмотрела каждого с ног до головы, как медсестра, читающая карту больного. Потом отошла к лестнице и долгим взглядом взорвалась наверх. Никто, даже Джо Хилл Конли, не мог вообразить, о чем она думала в ту минуту. Возможно, о Сесилии, взбежавшей по этим самым ступенькам четыре месяца назад. Или о ступенях, по которым некогда сошла она сама, отправляясь на свое первое свидание. Или же о звуках, которые только материнское ухо и способно уловить. Никто из парней не мог припомнить Миссис Лисбон до такой степени отрешенной, словно она вдруг позабыла об их присутствии в доме. Она вновь коснулась виска (ее действительно мучила головная боль).

Наконец девушки высypyали на верхнюю площадку. Там, наверху, было темновато (перегорели три из двенадцати лампочек в люстре), и, спускаясь, они слегка касались перил. Просторные платья напомнили Кевину Хеду мантии на певцах из церковного хора. «Впрочем, их самих это, кажется,

совсем не раздражало. Или им уже было наплевать, что на них надето, — слишком велика была радость от возможности куда-то выйти. Мне-то точно было все равно. Выглядели они классно».

Только когда девушки сошли вниз, парни осознали, что не договорились, кому с кем идти. Трип Фонтейн, понятное дело, застолбил Люкс, но три другие сестры пока не были заняты. К счастью, прически и платья окончательно уравняли их в мальчишеских глазах. Ребята опять уже не знали, кто из них кто, и, вместо того чтобы спросить их напрямую, сделали единственное, что могло прийти им в головы: вытащили из карманов букетики, которые прикалывают к корсажам.

— Они все белые, — объяснил Трип Фонтейн. — Мы ведь не знали, в платьях какого цвета вы будете на балу. А парень в магазине сказал, что белый пойдет с каким угодно цветом.

— Я рада, что ты купил белый, — успокоила его Люкс. Она протянула руку и взяла букетик, упакованный, как драгоценность, в маленькую пластиковую коробочку.

— Мы не стали брать цветочные браслеты, — выдавил Парки Дентон. — Они всегда рассыпаются.

— Да, они очень непрактичны, — сказала Мэри.

Никто не проронил больше ни слова. Никто даже не шевельнулся. Люкс рассматривала букетик, заключенный в своем временном убежище. Откуда-то сзади донесся голос миссис Лисбон:

— Позвольте же мальчикам приколоть их на место.

Услышав это, девушки шагнули вперед с застенчивыми улыбками. Парни неловко вертели в руках букетики, вынимая их из коробочек и стараясь не пораниться о декоративную булавку. Они чувствовали на себе испытующий взгляд миссис Лисбон и, несмотря даже на то, что сестры Лис-бон стояли настолько близко, что можно было ощутить на лице их дыхание и почувствовать аромат первых в жизни духов, которыми сестрам было разрешено окропиться, парни приложили все силы, чтобы не уколоть девушек или, не дай бог, не коснуться их. Они осторожно приподнимали ткань платья с девичьей груди и закрепляли белые цветы над их сердцами. Та из сестер, которой парень оказывал эту услугу, становилась его дамой на весь вечер. Приладив все букетики на место, они пожелали миссис Лисбон доброй ночи и вывели девушек наружу, к ожидающему их «кадиллаку», держа над головами сестер опустевшие футляры из-под букетиков, чтобы защитить прически от мороси.

С этого момента события стали развиваться куда лучше, чем ожидалось. Сидя дома, каждый из парней воображал себе сестер Лисбон в

предоставленных скучным воображением избитых декорациях: летящими в прибрежных волнах на доске для серфинга или же игриво убегающими по льду катка, с подпрыгивающими помпонами на лыжных шапочках, так похожими на аппетитные, румяные фрукты. Тем не менее в машине, рядом с живыми, а не выдуманными девушками, парни сообразили, что все это время воображение подсовывало им жалкие подделки. Другая крайность также была отмечена безо всякой жалости — представление о том, будто с сестрами явно что-то не в порядке (вспомните безумную старуху, с которой каждый день едете в лифте: когда вы наконец решитесь заговорить с ней, она окажется вполне разумна и рассудительна). На парней нашло нечто вроде мгновенного просветления. «Они не так уж отличались от моей собственной сестры», — сделал открытие Кевин Хед. Люкс захотела сесть вперед и пожаловалась, что еще никогда не ехала рядом с водителем. Она скользнула на переднее сидение, чтобы устроиться между Трипом Фонтейном и Парки Дентоном. Мэри, Бонни и Тереза скучились сзади, причем Бонни достался центральный выступ сидения. Джо Хилл Конли и Кевин Хед уселись по обе стороны от них, вплотную к дверцам.

Даже вблизи девушки не казались подавленными. Они поерзали, устраиваясь поудобнее, и вроде бы вовсе не огорчились тесноте. Мэри отчасти сидела на коленях у Кевина Хеда. Рассевшись, сестры сразу же принялись щебетать. Мимо проплывали дома, и у девушек обязательно находилась пара слов по адресу каждой из живших там семей, что могло значить лишь одно: они наблюдали за нами с тем же напряженным вниманием, с каким мы наблюдали за ними. Позапрошлым летом они видели, как мистер Таббс, управляющий среднего звена в UAW,<sup>[23]</sup> вышвырнул из дома женщину, которая зашла к его жене после того, как их машины слегка столкнулись. Они подозревали, что Хессены то ли сами были фашистами, то ли симпатизируют наци. Они возненавидели Кригеров за алюминиевые листы, которыми те обшили свой дом. «Мистер Бельведер наносит новый удар», — заметила Тереза, имея в виду президента компании, выпускавшей новейшие стройматериалы (рекламу с его участием крутили по телевизору поздно вечером). Подобно нам самим, сестры Лисbon хранили свои воспоминания, связанные с разными деревьями, кустами и даже крышами гаражей. Они помнили о расовых беспорядках, когда в конце нашего квартала появились танки, а бойцы Национальной гвардии приземлялись в наших дворах вместе с парашютами. В конце концов, эти девушки жили по соседству с нами.

Сперва парни молчали, не на шутку потрясенные многословием сестер Лисbon. Кто бы мог подумать, что они способны столько говорить, имеют

собственные мнения о стольких предметах, тычут в чудеса этого мира сразу несколькими указательными пальцами? После тех редких случаев, когда они попадались нам на глаза, девушки продолжали жить своей жизнью, изменяясь так, что мы просто не могли себе вообразить, запоем проглатывая все книги, попавшие под тщательным контролем на общую семейную полку. Каким-то образом они тоже оказались не чужды этикету официальных свиданий, набравшись сведений то ли с экрана телевизора, то ли наблюдая за другими парами в школе, — поэтому они знали, как поддерживать плавное течение беседы и как заполнить нелепые паузы в разговоре. Их собственная неопытность выказывала себя лишь в высоких, заколотых шпильками прическах, которые сильно напоминали вылезшую наружу набивку матраса или раскуроченную проводку. Миссис Лисбон никогда не посвящала дочерей в секреты красоты, и более того, запретила приносить в дом женские журналы (статья в «Cosmo» под названием «Испытываете ли вы множественные оргазмы?» стала последней каплей). Девушки просто сделали все, что было в их силах.

Люкс всю дорогу крутила ручку приемника, выискивая любимую песню. «Это меня с ума сводит, — оправдывалась она. — Точно знаю, что где-то ее сейчас крутят, но ведь еще надо найти где!» Парки Дентон вел машину по Джефферсон-авеню, мимо дома Уэйнрайта с зеленой табличкой, подтверждающей историческую ценность здания, к особнякам, сбившимся в стайку на берегу озера. Вдоль идеально ровных газонов уже зажглись фонари «под старину». Почти на каждом углу стояла чернокожая служанка, ожидающая автобус. Они поспешили дальше, мимо поблескивающего озера, и вскоре въехали под лохматое сплетение вязов, несших свою вахту на подступах к школе.

— Погодите минутку, — попросила Люкс. — Я затянусь пару раз, прежде чем мы пойдем туда.

— Папа сразу учуяет дым, — предупредила Бонни с заднего сидения.

— Не-а, у меня с собой мятные леденцы. — Люкс погремела коробочкой.

— Тогда наши платья пропахнут, и он все равно почует.

— Скажете, в туалете было накурено.

На то время, пока Люкс курила, Парки Дентон опустил стекло со своей стороны. Она делала это не спеша, выпуская дымок через нос. После особенно глубокой затяжки повернулась к Трипу Фонтейну, сложила губы и, вылитая шимпанзе в профиль, выдула три идеально ровных колечка.

— Не дадим им умереть девственницами, — провозгласил Джо Хилл Конли. Потянувшись вперед, он ловко проткнул одно из колечек пальцем.

— Это грубо, — заметила Тереза.

— И впрямь, Конли, — сказал Трип Фонтеин. — Пора тебе повзрослеть.

По дороге на танцы пары разделились. Один из каблучков Бонни застрял в гравии, и она оперлась о плечо Джо Хилла Конли, высвобождая туфлю. Трип Фонтеин и Люкс шли рука об руку, уже став единым целым. Кевин Хед шел с Терезой, а Парки Дентон предложил локоть Мэри.

Дождик ненадолго утих, и уже загорелись сбившиеся в кучки звезды. Едва туфля Бонни оказалась на свободе, она подняла взгляд и призвала всех посмотреть на вечернее небо.

— Опять этот вездесущий Большой ковш, — сказала она. — На картах каких только звезд нет, а запрокинь голову, и уткнешься в Большой ковш.

— Это из-за огней, — пояснил Джо Хилл Конли, — город светится.

— Угу, — согласилась Бонни.

Входя в спортивный зал мимо выстроенных в ряд светящихся тыкв и огородных пугал в школьной форме, девушки улыбались. Организаторы вечера остановили выбор на урожайной тематике. Баскетбольную площадку выстилали охапки соломы, а на заставленный стаканчиками с сидром стол из импровизированных рогов изобилия извергались тучные тыквы. Мистер Лисбон был уже здесь и расхаживал по залу в галстуке апельсинового цвета, припасенном для подобных праздничных мероприятий. Сейчас он разговаривал с мистером Тоновером, учителем химии. Прибытие дочерей не произвело на него никакого видимого впечатления; впрочем, он мог и не заметить их. Прожектора над спортзалом были приглушенны доставленными из школьного театра оранжевыми фильтрами, так что трибуны окутались тенями. По стенам медленно кружили отблески света, посыпаемые взятым напрокат зеркальным дискотечным шаром, висящим под спортивным табло.

К этому времени мы и сами прибыли на бал со своими спутницами и теперь танцевали словно бы с манекенами: наши взгляды, устремленные поверх их присборенных рукавов, неизменно утыкались в сестер Лисбон. Мы видели, как они вошли, нетвердо держась на высоких каблуках. Широко распахнутыми глазами они обвели спортзал и затем, посовещавшись меж собой, остали кавалеров в сторонке, чтобы предпринять первый из семи походов в уборную. Когда сестры появились в дверях, Хопи Риггс как раз ополаскивала руки. «Сразу было видно, что они стесняются своих нарядов, — рассказывала она. — Вслух ничего не сказали, но я-то не слепая. В тот вечер на мне было платье с бархатным лифом и юбкой из тафты. Я и сейчас еще могу в него влезть». Только Мэри

и Бонни собирались воспользоваться кабинками; Люкс и Тереза просто составили им компанию. Люкс на мгновение задержалась у зеркала, убеждаясь в собственной красоте, а Тереза вообще старалась не смотреть в эту сторону.

— Тут нет бумаги, — донесся из кабинки голос Мэри. — Подкиньте немного.

Люкс оторвала с десяток листков в автомате с туалетной бумагой и перебросила через дверцу.

— Снег пошел, — протянула Мэри.

«Они разговаривали очень громко, — поведала нам Хопи Риггс. — Вели себя так, словно сами устроили этот праздник в собственном доме, но Тереза все же помогла мне снять со спины приставшую к платью соринку». Когда мы спросили, обсуждали ли сестры Лисбон своих кавалеров в конфиденциальной обстановке женской уборной, Хопи ответила: «Мэри заявила, что счастлива уже потому, что ее парень не кажется полным дегенератом. В общем, и все, наверное. Не думаю, что мальчишки заботили их и в половину настолько же сильно, как собственное появление на танцах.

Я и сама испытывала то же, ведь я пришла туда с козявкой Тимом Картером».

Когда девушки выплыли из уборной, танцплощадка была уже заполнена, и по всему спортзалу прохаживались парочки. Кевин Хед пригласил Терезу потанцевать, и вскоре они пропали в суматохе. «Боже мой, я был тогда так молод, — вспоминал Кевин спустя годы, — так напуган. И она тоже. Я взял ее за руку, и мы оба не знали, что делать дальше. Переплести пальцы или не стоит. В итоге переплели. Это я помню лучше всего остального. Ее пальцы».

Парки Дентон помнит тщательно выверенные движения Мэри, ее осанку. «В нашем танце вела она, — признался Парки. — И сжимала в кулаке скомканную в шарик гигиеническую салфетку». Во время танца Мэри поддерживала вежливую беседу: совсем как в старых фильмах, где молодые красавицы непременно разговаривают, вальсируя с графами. Она держала себя очень скромно, подражая Одри Хепберн,<sup>[24]</sup> которую обожали все женщины поголовно и вовсе не замечали мужчины. Казалось, она повторяет в уме фигуры, которые их ногам предстояло выписать на досках пола, и, не выпуская из сознания образ идеальной танцующей пары, всячески стремится не посрамить его. «Ее лицо оставалось совершенно спокойным, но внутри она была напряжена, — вспоминал Парки. — Мускулы спины натянулись, будто струны».

Когда заиграло что-то ритмичное, Мэри танцевала заметно хуже.

«Словно старики на свадьбах, которые вдруг решают вспомнить молодость».

Люкс и Трип пока не танцевали, а прогуливались по спортплощадке в поисках уединенного местечка. Бонни пошла за ними. «Поэтому я тоже двинулся вслед, — рассказывал Джо Хилл Конли. — Она старательно делала вид, будто просто идет, куда вздумается, но уголком глаза непременно следила за перемещениями Люкс». Они прошли толпу танцующих насквозь, помедлили немного под украшенной баскетбольной корзиной и наконец остановились у трибун. Между танцевальными номерами мистер Дарид, декан по работе с учащимися, объявил начало голосования, чтобы выбрать короля и королеву бала, и когда все оглянулись на стеклянный аквариум для бюллетеней, выставленный на стол с сидром, Трип Фонтейн и Люкс Лисбон незаметно скользнули под трибуны.

Бонни последовала за ними. «Я уж подумал, она боится остаться наедине со мной», — рассказывал Джо Хилл Конли. Хоть Бонни и не пригласила его за собой, он все же последовал ее примеру. Под трибунами свет полосами падал меж рядов скамей, и в этом неверном освещении Джо увидел Трипа Фонтейна, держащего перед лицом Люкс бутылку, чтобы та смогла прочесть надпись на этикетке.

— Тебя видел кто-нибудь? — спросила Люкс у сестры.

— Нет.

— А тебя?

— Нет, — сказал Джо Хилл Конли.

Помолчали. Общее внимание было приковано к бутылке в руке Трипа Фонтейна. Зайчики от зеркал дискотечного шара поблескивали на поверхности стекла, подсвечивая охваченный языками пламени фрукт на этикетке.

«Персиковый ликер, — пояснил Трип Фонтейн спустя много лет, в пустыне, куда удалился, чтобы навсегда распрошаться и с алкоголем, и со всем прочим. — Женщинам такой нравится».

Он купил выпивку еще вечером, предъявив продавцу липовый документ, и с тех пор таскал бутылку во внутреннем кармане. Теперь, под напряженными взглядами всех троих, он отвинтил колпачок и сделал осторожный глоток напитка, по консистенции едва уступавшего сиропу или меду. «Его надо пробовать вместе с поцелуем, — объявил он и поднес горлышко бутылки к губам Люкс, предупредив, — не глотай». Затем, отхлебнув еще, потянулся ко рту Люкс своими напоенными персиком губами. Ее горло булькнуло сдержаным смешком. Не выдержав, Люкс рассмеялась, и ручеек ликера сбежал по щеке, где был перехвачен

ладонью, — затем оба посерезнели, сблизили лица и поцеловались, одновременно делая короткие глотки. Когда поцелуй оборвался, Люкс прокомментировала: «Выпивка что надо».

Трип протянул бутылку Джо Хиллу Конли. Тот было поднес ее ко рту Бонни, но она отвернулась.

— Не хочу ни капли, — сказала она.

— Брось, — увещевал Трип. — Только попробуй.

— Не будь такой чистоплюйкой, — добавила Люкс.

В тени трибун виднелась только узкая полоса света с глазами Бонни, и в серебристом отблеске они наполнились слезами. В темноту, где скрывался ее рот, Джо Хилл сунул горлышко бутылки. Подернутые влагой глаза расширились. Щеки надулись. «Только не глотай», — скомандовала Люкс, и затем Джо Хилл Конли выпустил содержимое собственного рта в губы Бонни. Он признался, что на протяжении всего поцелуя Бонни не разжимала зубов, храня веселую ухмылку, присущую черепам. Персиковый ликер переходил туда-сюда, из одного рта в другой, но потом Джо почувствовал, что она глотает, расслабившись. Спустя годы Джо Хилл Конли похвалаился, будто способен распознать эмоциональную природу женщины по вкусу ее рта, и настаивал, что эта догадка впервые осенила его в тот вечер под трибунами, рядом с Бонни. В поцелуе он оказался способен, по его же словам, прочувствовать всю сущность девушки, словно бы ее душа покинула тело через губы, как полагали мыслители эпохи Возрождения. Сначала он испробовал патоку ее жевательной резинки «Чап-Стик», затем ощутил печальный привкус брюссельской капусты времен ее последней трапезы, и после того — пыль одиноких вечеров и вкус солоноватых слез. Персиковый ликер растворился в соках ее внутренних органов, чуточку кисловатых от неизбывной печали. Порой ее губы странно холодели, и, приоткрыв веки, Джо обнаружил, что Бонни целовалась с вытаращенными от ужаса глазами. После этого ликер принял сновать туда и обратно. Мы интересовались, не шептались ли парни каждый со своей девушкой и не спрашивали ли о Сесилии, но оба ответили отрицательно. «Я не хотел испортить хороший вечер», — признался Трип Фонтейн. А Джо Хилл Конли ответил философски: «Есть время говорить и время молчать». Даже изведав вкус таинственных глубин во рту Бонни, он не предпринял попытки докопаться до сути, поскольку не хотел, чтобы поцелуй прекратился.

Мы видели, как девушки вылезали из-под трибун, одергивая платья и вытирая губы. Люкс раскачивалась в такт музыке. Вот тогда-то Трип Фонтеин и пригласил ее танцевать, чтобы по прошествии лет признаться:

бесформенное платье только распалило его. «Сразу видно, насколько же она стройна под слоями этой мешковины. Я сам был не свой». Бал продолжался и девушки понемногу свыклись со своими нарядами, научились двигаться в них. Люкс обнаружила, что, выгнув спину, может натянуть платье на груди. Мы проходили рядом с сестрами всякий раз, как находили предлог, и под эту лавочку по двадцать раз посетили туалет и выпили по двадцать стаканчиков сидра каждый. Мы пытались отвлечь ребят, чтобы и самим побывать в их роли, но те ни на минутку не хотели оставить сестер. Когда голосование было завершено, мистер Дарид воздвиг портативную сцену и объявил имена победителей. Все понимали, что королем и королевой бала могут стать только Трип Фонтейн и Люкс Лисbon, и даже девочки в платьях по сотне долларов аплодировали паре, прокладывавшей путь к пьедесталу. Потом они танцевали, и все мы тоже танцевали, набравшись мужества выманить-таки партнерш у Хеда, Конли и Дентона. К тому времени сестры Лисbon уже раскраснелись, под мышками у них проступили темные пятна, а из-за высоких воротов поднимались теплые волны. Мы сжимали их потные ладошки, вращая партнерш под зеркальным шаром. Мы потерялись в просторе их платьев и затем обрели себя вновь, мы стискивали их тела и вдыхали аромат их напряжения. Некоторые из нас, расхрабрившись, сплетали с ними ноги, словно бы случайно прижимаясь агонизирующими пахом к бедрам девушек. В схожих платьях сестры Лисbon вновь обрели единство; они плыли из одних объятий в другие, улыбаясь, повторяя: спасибо вам, спасибо. Случайная нитка зацепилась за браслет на часах Дэвида Старка, и пока Мэри распутывала ее, тот спросил:

— Неплохо здесь, правда?

— Так хорошо мне еще не бывало нигде, — был ответ.

Мэри сказала чистую правду. Никогда прежде сестры Лисbon не казались такими веселыми, не были столь открыты, не говорили с таким жаром. После очередного танца, когда Тереза и Кевин Хед отошли к дверям глотнуть свежего воздуха, Тереза спросила:

— Что вас, парни, заставило вытащить нас сюда?

— О чём это ты? — не понял Кевин.

— Ну, вы это просто из жалости, так ведь?

— Вот еще.

— Врешь.

— По-моему, вы очень красивые. Из-за этого.

— Мы и вправду кажемся такими дурочками?

— Кому?

Тереза не ответила, только высунула руку в дверной проем, ловя дождевые капли.

— Сесилия и верно казалась странноватой, но мы не такие. — И, помолчав: — Мы просто хотим жить. Если нам, конечно, позволят.

Позже, направляясь к машине, Бонни остановила Джо Хилла Конли, чтобы вновь посмотреть на звезды. Облака не оставили ни единого просвета. Пока они стояли, обратив взоры к бесцветному небу, она спросила:

— Ты веришь в Бога?

— Ага.

— Я тоже.

Было уже десять тридцать, и девушкам оставалось не более получаса на обратный путь. Танцы подходили к концу, и автомобиль мистера Лисбона уже вырулил со стоянки, направляясь домой. Кевин Хед и Тереза, Джо Хилл Конли и Бонни, Парки Дентон и Мэри собирались у «кадиллака», но Люкс и Трип все не появлялись. Бонни сбегала в спортзал поискать их, но нигде не смогла найти.

— Может, они отправились домой с твоим отцом? — предположил Парки Дентон.

— Сомневаюсь, — сказала Мэри, вглядываясь во тьму и теребя измятый корсаж платья. Предпочтя легкость ходьбы комфорту, девушки скинули туфли на каблучках и рассеялись по стоянке; они заглянули меж рядами машин и осмотрели даже площадку с флагштоком, на котором в день смерти Сесилии флаг спустили до середины шеста, — стояло лето, и траурного знака не заметил никто, кроме подстригавших газоны работников. Лучившиеся счастьем какие-то минуты назад, девушки вдруг посерезнели и напрочь забыли о кавалерах. Они двигались единой группой, временно расходясь и вновь собираясь вместе. Они искали у театра, за Научным крылом и даже во внутреннем дворике с установленной в память о Лоре Уайт статуей девочки, чья бронзовая юбка уже начала покрываться патиной. Швы от сварки пересекали широкие запястья, и в этом виделся определенный символ, но сестры Лисбон не заметили его или, в любом случае, ничего не сказали, вернувшись к машине около десяти пятидесяти. Им надо было спешить домой.

Поездка прошла по большей части в молчании. Джо Хилл Конли и Бонни сидели сзади, рядом с Кевином Хедом и Терезой. Парки Дентон вел машину, впоследствии сожалея, что это лишило его возможности предпринять кой-какие шаги в отношениях с Мэри. Впрочем, сама она всю дорогу до дома провела, поправляя прическу и не сводя взгляда с

внутреннего зеркальца. Тереза пыталась остановить сестру:

— Брось ты. Мы все равно погибли.

— Люкс погибла. Но не мы.

— У кого-нибудь есть леденцы или жвачка? — спросила Бонни.

Таковых не нашлось, и она повернулась к Джо Хиллу Конли. Пристально посмотрев на него, она рукой зачесала ему челку на левую сторону.

— Так-то лучше, — сказала она. И теперь еще, почти два десятка лет спустя, те немногие остатки волос, которыми может похвастать Джо, зачесаны налево незримыми пальцами Бонни.

Когда машина остановилась перед домом Лисбонов, Джо Хилл Конли в последний раз поцеловал Бонни, и та не стала противиться. Тереза подставила щеку Кевину Хеду. Сквозь запотевшие стекла ребята оглядели дом. Мистер Лисбон уже вернулся, и в хозяйской спальне горел свет.

— Мы проводим вас до дверей, — сказал Парки Дентон.

— Не надо, — возразила Мэри.

— Почему это?

— Не надо, и все. — Она вышла, даже не пожав ему руки на прощание.

— Мы действительно отлично провели время, — произнесла сзади Тереза.

Бонни же шепнула на ухо Джо Хиллу Конли:

— Ты мне позвонишь?

— Обязательно.

С легким скрипом открылись дверцы. Девушки выбрались наружу, оправили на себе платья и зашли в дом.

Дядюшка Такер как раз выходил в гараж за очередной порцией пива из холодильника, когда к дому Лисбонов, двумя часами позднее, подкатило такси. Он видел, как из машины вылезла Люкс, отыскавшая в сумочке пятидолларовую бумажку; по пять долларов каждой из дочерей выдала миссис Лисбон вечером, перед их отправлением на школьный бал. «Всегда следует иметь при себе деньги на такси», — гласил ее афоризм, хотя тем вечером девушки единственный раз получили разрешение покинуть дом и, следовательно, с тех пор не нуждались в подобных истинах. Люкс не стала дожидаться сдачи. Она шла к дому, приподняв подол платья и поглядывая по сторонам. Спина ее плаща была измазана белым. Входная дверь распахнулась, и на крыльце вышел мистер Лисбон. Уже без пиджака, но все еще с оранжевым галстуком на шее. Он сошел по ступеням и встретил Люкс на полпути к дому. Люкс начала оправдываться, разводя руками;

когда же мистер Лисбон оборвал ее излияния, она низко опустила голову и неохотно кивнула. Дядюшка Такер не смог припомнить, когда же к сцене на крыльце присоединилась миссис Лисбон. Внезапно, однако, он сообразил, что слышит звучащую где-то музыку, и, переведя взгляд на дом, увидел миссис Лисбон, замершую в освещенном проеме двери. Она была одета в простой, без украшений халат и держала в руке стакан с каким-то напитком. Из-за ее спины доносилась торжественная музыка с грозными раскатами органа в сопровождении ангельского журчания арф. Приступив к выпивке еще в полдень, дядюшка Такер почти успел прикончить упаковку пива, употреблявшуюся им ежедневно. Выглядывая из ворот своего гаража, он совсем расчувствовался и заплакал, ибо музыка заполнила, казалось, всю улицу, напитав ее живительным потоком. «Такую ставят, когда кто-то умирает», — пояснил он.

То была церковная музыка, одна из грампластинок, которые миссис Лисбон обожала слушать по воскресеньям, ставя их снова, и снова, и снова. Мы знали об этом из дневника Сесилии («Воскресное утро. Мама опять гоняет эту чепуху»), и спустя месяцы, когда Лисбоны съезжали, мы нашли все три пластинки в груде оставленного у обочины мусора. Альбомы — перечисленные нами в «Списке вещественных свидетельств» — включают в себя «Песни веры» Тайрона Литтла и вокальной группы «Беливерс»,<sup>[25]</sup> «Вечный Восторг» в исполнении Хора баптистов Толедо и «Возносим Тебе хвалу», записанный хором «Гранд-Рапидс Госпелерс».<sup>[26]</sup> На обложке каждого из них пучки солнечных лучей пронзают облака. Эта та самая музыка, на которую натыкаешься порой, крутя ручку настройки приемника, между записями «Мотаун»<sup>[27]</sup> и рок-н-роллом: так сказать, «путеводный свет в царстве тьмы», хуже не бывает ничего. Хор тянет сладкие ноты, гаммы поднимаются к гармоничным крещендо, заполняя уши липкой патокой. Недоумевая, кто же слушает подобную музыку, мы всегда воображали себе одиноких вдов в домах для престарелых или пасторских домочадцев, с улыбками передающих друг другу блюдце с ломтиками ветчины. Ни разу не мнилось нам, как эти благочестивые голоса, возносясь все выше, проникают сквозь щели в полу, стремясь напоить благодатью убежища коленопреклоненных сестер Лисбон, упорно сводящих пемзой мозоли с пяток. Отец Муди слышал эту музыку, когда несколько раз заглядывал на чашечку кофе к Лисбонам по утрам в воскресенье. «Она не в моем вкусе, — позже признался он. — Я предпочитаю более величественные вещи. „Мессию“ Генделя, скажем. Или моцартовский „Реквием“. А подобные, с позволения сказать, вещи вполне можно

услышать в любом протестантском жилище».

Музыка изливалась на улицу, а миссис Лисбон так и стояла в дверях. Мистер Лисбон проводил дочь к дому. Люкс поднялась по ступеням и пересекла крыльцо, но мать не позволила ей войти. Миссис Лисбон произнесла что-то, не достигшее ушей дядюшки Такера. Люкс открыла рот. Миссис Лисбон наклонилась к лицу дочери и вновь застыла без движения. «Дыхнуть попросила», — пояснил нам дядюшка Такер. Проверка длилась секунд пять, не более, прежде чем миссис Лисбон занесла руку, чтобы влепить Люкс пощечину. Та сжалась, ожидая удара, но он не последовал. Миссис Лисбон так и стояла над дочерью с занесенной рукой, оглядывая погруженную во тьму улицу за своим порогом, будто за нею наблюдали сейчас сотни глаз, а не только дядюшка Такер. Мистер Лисбон тоже обернулся. И Люкс. Втроем они глядели на почти лишенную огней округу, где капли все еще срывались с деревьев, а машины видели уже по третьему сну в гаражах и под навесами; моторы тихонько гудели всю ночь, остывая. Семейная группа провела довольно продолжительное время, не шевелясь. Затем рука миссис Лисбон безвольно опустилась, и Люкс увидела в этом шанс на спасение. Она прошмыгнула мимо матери, чтобы бегом устремиться вверх по лестнице, к себе в комнату.

Только годы спустя мы узнали, что в действительности произошло с Люкс и Трипом Фонтейном в ту ночь. Даже и тогда Трип поведал нам это с чрезвычайной неохотой, настаивая, следуя букве «Двенадцати ступеней», [28] что стал теперь совсем другим человеком. Потанцевав в качестве короля и королевы бала, Трип и Люкс пробрались сквозь толпу аплодирующих подданных к той самой двери, где Тереза с Кевином Хедом стояли, наслаждаясь вечерней прохладой. «Мы были разгорячены танцем», — рассказывал Трип. Люкс все еще носила на голове тиару «мисс Америки», возложенную туда мистером Даридом. Через грудь каждого была переброшена алая лента, знак королевской власти.

— Что будем делать теперь? — спросила Люкс.

— Все, чего только захотим.

— Я имею в виду, как король и королева. От нас требуется еще что-нибудь?

— Да все уже. Мы танцевали. Нам выдали по ленте. Это только на сегодняшний вечер, — недоумевал Трип.

— А я уж думала, это на весь год.

— Ну да, в общем. Но делать ничего не нужно.

Люкс с этим смирилась.

— По-моему, дождь кончился, — сказала она.

— Пошли погуляем, — предложил Трип Фонтейн.

— Я лучше останусь. Скоро уже ехать обратно.

— Мы будем поглядывать на машину. Без нас все равно не уедут.

— А мой папа? — спросила Люкс.

— Скажешь ему, что пошла убрать корону в шкафчик.

Моросить действительно перестало, но воздух был еще влажен, когда они пересекли улицу и, рука в руке, вышли на бейсбольное поле, сырое после дождя.

— Посмотри на этот дерн, — показал Трип Фонтейн. — Именно здесь я сегодня и уложил того парня. Перехват корпусом.

Они прошли отметку в пятьдесят, потом в сорок и вышли в концевую зону, откуда никто не смог бы увидеть их. Белая полоса, позднее замеченная дядюшкой Такером, была следом от меловой разметки, отпечатавшейся на расстеленном плаще. Когда они занялись любовью, по полу порой скользили огни от автомобильных фар, высвечивавших отметки на столбике. Спустя какое-то время Люкс произнесла: «Я всегда все порчу. Такая уж родилась», и начала всхлипывать. Рассказав нам об этом, Трип Фонтейн мало что смог добавить.

Мы спросили, посадил ли он ее в такси, но Трип покачал головой. «В ту ночь я отправился домой пешком. Мне было наплевать, как она доберется. Я просто ушел». Немного погодя: «Это ужасно. Ну, то есть она мне нравилась. Очень нравилась. Просто в тот момент меня затошило от нее».

Что же до остальных ребят, то они провели остаток ночи, разъезжая по окрестностям. Проехали мимо «Маленького клуба», мимо «Клуба яхтсменов», мимо «Охотничьего клуба». Они миновали центр, где витрины уже сменили приуроченное к Хэллоуину оформление на экспозиции в честь Дня благодарения. В половине второго, не в состоянии перестать думать о девушках, чье присутствие незримо наполняло салон автомобиля, они решили в последний разок проехать мимо дома Лисбонов. Сделав краткую остановку, чтобы Джо Хилл Конли смог облегчить под деревом мочевой пузырь, промчались по Кадье-стрит, вдоль ряда домиков, некогда служивших бараками для нанятых на лето рабочих. «Кадиллак» проскочил участок, где когда-то стояло одно из самых крупных наших поместий, чьи фигурные сады давно уж были застроены домами из красного кирпича, с дверями под старину и громадами гаражей. Они повернули на Джейферсон-стрит, проехали мимо военного мемориала и выкрашенных черным цветом парадных ворот усадьбы последних наших миллионеров и в полном молчании приблизились к обиталищу девушек, наконец-то

обретших реальность в их глазах. Здесь они увидели свет, зажженный в одной из спален наверху. Парки Дентон поднял ладонь, чтобы об нее по очереди хлопнули остальные. «В самое яблочко», — сказал он. Ликование, однако, длилось недолго. По одной простой причине: еще до того как машина остановилась у дома, парни уже осознали случившееся. «Я задохнулся вдруг при мысли, что девчонки никогда в жизни больше не выйдут на свидание, — спустя годы рассказал нам Кевин Хед. — Старая кляча опять засадила их под замок. Не спрашивайте, как я это узнал. Просто понял, и все». Задернутые оконные шторы походили на сомкнутые веки, а брошенные клумбы придавали дому нежилой вид. Тем не менее в том окне, где еще горел свет, мелькнула чья-то тень. Рука отодвинула штору, открывая взорам желтоватое пятно воззрившегося в уличную тьму плоского лица — Бонни, Мэри, Терезы или даже самой Люкс. Парки Дентон коротко просигналил (последняя безнадежная попытка), но едва к стеклу прижалась девичья ладонь, как свет в окне погас.

## 4

Через несколько недель после того, как миссис Лисбон превратила семейный очаг в тюрьму сверхстрогого режима, на крыше дома впервые заметили занимавшуюся любовью Люкс.

Вслед за событиями на школьном балу миссис Лисбон раз и навсегда затянула шторами окна на первом этаже. Отныне глазам открывался лишь печальный театр теней, что разыгрывали в нашем воображении девушки-узницы. И пока дело шло к зиме, деревья во дворе сгорбились и сгостили тени, прикрыв собою дом, хотя их лишенные листьев ветви скорее должны были бы открыть его. Казалось, над крышей Лисбонов навсегда поселилось серое облако. Объяснения этому нет, за исключением сверхъестественного: дом оказался заперт со всех сторон, потому что так пожелала миссис Лисбон. Небо потемнело, день пошел на убыль, так что вскоре мы оказались в непреходящем мраке, единственным способом определить время в котором оставался вкус собственной отрыжки: по утрам отдающий зубной пастой, а по вечерам — тушеным мясом из школьного кафе.

Безо всяких объяснений сестры Лисбон перестали посещать занятия. Однажды утром они попросту не явились школу, и назавтра тоже. Мистер Вудхаус поинтересовался, в чем дело, но мистер Лисбон, по-видимому, вообще не имел представления, куда его дочери могли запропаститься. «Он все переспрашивал: „А вы не пробовали вернуться в класс попозже?“»

Джерри Берден подобрал комбинацию цифр на замке в шкафчике Мэри и обнаружил там почти все ее учебники. «Изнутри все было оклеено почтовыми открытками. Диковатый набор. Кушетки, диваны и прочее дермо в этом же роде». (На самом деле то были открытки из набора, изданного музеем прикладного искусства; на них, в частности, были изображены бидермайеровское<sup>[29]</sup> кресло и обитая розовым ситцем тахта в стиле чиппендейл.<sup>[30]</sup>) Тетрадки Мэри стопкой лежали на верхней полке, и на каждой — название нового замечательного предмета, изучить который у нее не было ни шанса. На страницах «Истории Америки», среди беспорядочных заметок, Джерри Берден наткнулся на беглый рисунок: девочка с косичками сгибается под тяжестью огромного булыжника. У нее надуты щеки, а из округленных губ вырывается пар. В одном из облачков этого пара стояло густо обведенное слово «Давление».

Принимая во внимание грубое нарушение комендантского часа со стороны Люкс, многие предсказывали, что дома у Лисбонов закрутят

гайки, но мало кто предполагал, что меры окажутся такими жесткими. Когда спустя многие годы мы говорили с миссис Лисбон, та подчеркнула, что принятное ею решение отнюдь не было карательной мерой. «В тот момент посещение школы моими дочерьми только усугубляло и без того скверную ситуацию, — заявила она. — Никто из детей не желал даже разговаривать с ними. Кроме, пожалуй, мальчиков, и я вполне догадывалась, что этим хищникам нужно. Девочкам следовало побывать одним, кому это знать, как не матери? Я думала, посидев дома, они быстрее исцелятся». Наша беседа с миссис Лисбон вышла недолгой. Мы договорились встретиться на автобусной станции в поселке, где она теперь проживает, потому что только здесь можно было выпить кофе. У нее болели суставы на пальцах, а зубы заметно поредели. Трагедия не сделала ее более открытой, фактически придав ей непостижимую стойкость человека, страдавшего больше, чем это можно выразить. В любом случае, мы хотели поговорить именно с ней, хотя бы потому, что, казалось, она лучше, чем кто-нибудь еще, понимала причины самоубийств, — ведь она приходилась девушкам матерью. Но она сказала нам только: «Это и есть самое страшное. Я не знаю. Таковы все дети. Покинув материнское лоно, они становятся чужими людьми». Когда же мы поинтересовались, отчего она так и не пришла на собеседование, на которое их с мистером Лисбоном столь настойчиво приглашал доктор Хорникер, миссис Лисбон не на шутку вспылила. «Этот докторишка хотел свалить всю вину на нас. Он считал, что во всем надо винить меня и Ронни». В этот момент к станции подкатил автобус, и со стороны платформы № 2 в кафе просочилось облачко угарного газа, окутав стойку с жареными пончиками. Миссис Лисбон объявила, что ей пора идти.

Вырвав девушек из школьного окружения, она не остановилась на достигнутом. В следующее воскресенье, вернувшись домой после жаркой проповеди, выслушанной ею в церкви, она приказала Люкс уничтожить все имеющиеся у той пластинки с рок-музыкой. Миссис Питценбергер (случайно оказавшаяся свидетелем этой драмы: она занималась уборкой в своем доме по соседству) слышала яростный спор. «Сейчас же!» — повторяла миссис Лисбон, тогда как Люкс требовала объяснений, выставляла свои условия, а затем попросту разрыдалась. Сквозь окно наверху в холле миссис Питценбергер видела, как напротив Люкс ворвалась в свою спальню, чтобы вскоре вернуться со стопкой картонных коробок. Они были тяжелыми, и Люкс спустила их вниз, будто с горки, прямо по ступенькам лестницы. Казалось, она сейчас пустит их разом, и они просвистят вниз, будто санки. Но всякий раз Люкс хваталась за

коробку, когда та готова была рассыпаться. Миссис Лисбон уже растопила камин в гостиной, и Люкс, не переставая беззвучно плакать, стала бросать свои пластинки в огонь, одну за другой. Мы так и не узнали названий альбомов, бесславно погибших в этом аутодафе, но, очевидно, Люкс поднимала одну пластинку за другой, тщетно призывая миссис Лисбон склониться хотя бы над какой-нибудь из них. Поднявшийся смрад вскоре стал невыносим, а расплавленный винил залил решетку для дров, так что миссис Лисбон велела Люкс прекратить ритуал сожжения (остальные пластинки она выбросила вместе с мусором, скопившимся в доме за неделю). Тем не менее Уилл Тимбер, покупавший в это время ружье-дробовик, уверял, будто запах горелого пластика чувствовался даже в «Мистере Z», оружейной лавке на Керчевал-стрит.

В течение нескольких недель мы вообще не видели девушек. Люкс никогда больше не говорила с Трилом Фонтейном, да и Джо Хилл Конли не позвонил Бонни, хоть и обещал. Миссис Лисбон отвезла дочерей к бабушке, чтобы выслушать совет собственной матери, повидавшей на своем веку всякого. Когда мы позвонили ей в Росуэлл, штат Нью-Мексико, куда она переехала, сорок три года безвылазно прожив в старом одноэтажном домике, старушка (миссис Лима Кроуфорд) не стала отвечать на вопросы, касавшиеся ее роли в наказании сестер, может быть, из-за старческого упрямства, а может, из-за того, что в ее слуховом аппарате, подхватившем гудение телефонной линии, раздался свист. Впрочем, она все же поделилась с нами историей собственной несчастной любви, имевшей место около шестидесяти лет тому назад. «Это нельзя превозмочь, — сказала она. — Но в итоге попадаешь туда, где прошлое уже не беспокоит, как бывало». И перед тем как повесить трубку, добавила: «У нас тут стоит отменная погода. В свое время я бросила лопату и тяпку, перебралась сюда, и не жалею. Лучший поступок моей жизни».

Тусклый старческий голос оживил для нас ту сцену: пожилая женщина за кухонным столом с туго накрученной чалмой на редеющих волосах; в кресле напротив — миссис Лисбон с поджатыми губами на угрюмом лице; вокруг них — четыре раскаявшиеся грешницы с опущенными долу головами перебирают в пальцах попавшиеся под руку фарфоровые безделушки. Что они чувствуют или чего ждут от жизни, неважно — это все не подлежит обсуждению. Существует лишь неуклонная последовательность старшинства (бабушка, мать, дочери), а двор за домом и мертвый неухоженный сад пусть мокнут под струями дождя.

По утрам мистер Лисбон продолжал ездить на работу, а его семейство в полном составе посещало церковь по воскресеньям — но никуда больше,

пожалуй, они не выбирались. Дом Лисбонов окончательно скрылся в миазмах погибающей от удушья юности, и даже наши собственные родители стали замечать, каким же сумеречным и нездоровым, почти нежилым он стал. По ночам у дома стали собираться еноты, привлеченные тяжелыми запахами, и никто уже не удивился, обнаружив поутру трупик одного из них, задавленного случайной машиной при попытке бегства из мусорного бака Лисбонов. Как-то раз мистер Лисбон расставил по всему крыльцу дымовые шашки, испускавшие тяжелый серный дух. Прежде с такими устройствами не сталкивался никто, но ходили слухи, будто шашки как раз и предназначены для отпугивания енотов. И тогда, с наступлением первых заморозков, люди стали замечать на крыше дома Люкс, деловито совокуплявшуюся с безликими парнями и мужчинами.

Признаться, поначалу сложно было сказать, что там происходит. Недоступное, далекое тело корчилось на крыше, поводя обеими руками по плиткам шифера, подобно ребенку, рисующему на снегу ангелочков. Лишь потом, когда глаза уже привыкали к полутьме, можно было различить еще одну, более темную фигуру, порой в униформе работника закусочной, порой украшенную разнокалиберными золотыми цепями, а однажды — в скучном сером костюме бухгалтера. Далеко не сразу мы различили из окошка на чердаке Пит-ценбергеров, сквозь ветвистые руки голых вязов, лицо Люкс, завернутой в шерстяное одеяло и покуривавшей сигаретку: невообразимо близкая в окулярах наших биноклей, она беззвучно шевелила губами всего в нескольких дюймах от нас.

Мы поражались, как она могла решиться устроить такое на крыше собственного дома, в котором мирно спали родители. Это верно, крыша была вне поля зрения миссис и мистера Лисбон, так что, заняв позицию, Люкс и ее партнеры могли пользоваться относительной безопасностью. Перед этим она, тем не менее, подвергала себя невероятному риску, украдкой соскальзывая вниз, чтобы впустить мальчишек и мужчин в дом, а затем проводя их наверх, скрипя ступенями в тревожной темноте;очные шорохи грохотали в ушах, и мужчины покрывались потом, добровольно рискуя законным обвинением в изнасиловании, потерей карьеры и разводом — ради того лишь, чтобы подняться по лестнице, вылезти в окно и оказаться на крыше, где в порыве страсти ободрать себе колени о черепицу и вымокнуть до нитки, катаясь в застоявшихся лужицах. Как Люкс знакомилась с ними, так и осталось для нас загадкой. Насколько мы могли судить, сама она вообще не покидала дома. Она даже не выбиралась по ночам, чтобы сделать это на пустующей автостоянке или у озера, но предпочитала любовные игры на территории собственной тюрьмы. Что до

нас, то мы узнали для себя немало нового по части техники любви, хотя, не зная верных слов для обозначения увиденного, были вынуждены ввести собственные термины. А посему говорили меж собой о «вое в ущелье», о «колпаке на жерди», о «хрипах в яме», о «высунутой голове черепахи» и о «слюнях на хоботе». Прошли годы, и когда нам самим настал черед расстаться с невинностью, в панике мы прибегли к пантомиме, подражавшей коловращениям Люкс на крыше дома Лисбонов. Да и теперь еще (скажем, положа руку на сердце), занимаясь любовью, мы каждый раз скимаем в объятиях тот бледный призрак: в глазах у нас расплывается тонкая ее рука, вцепившаяся в дымовую трубу, а в ушах стучат ее голые пятки, упертые в водосток, — и не важно, чем в этот момент заняты руки и ноги наших теперешних возлюбленных. И еще в одном следует признаться: в самые интимные моменты, когда мы лежим во тьме в абсолютном одиночестве, а сердце бьется так, словно выпрыгнет сейчас из груди, мы молим Господа о спасении, но чаще всего нам является именно Люкс, суккуб<sup>[31]</sup> давнишних ночей, проведенных у биноклей.

Устные доклады об эротических похождениях Люкс мы получали из весьма недостоверных источников — от ребят из рабочих кварталов, с небрежно подстриженными волосами, которые клялись, будто лично бывали на крыше; несмотря даже на вопросы с подвохом, заданные с целью найти хоть одно расхождение в рассказе, нам ни разу не удалось уличить кого-либо во лжи. Они в один голос уверяли, что в доме было слишком темно, чтобы разглядеть хоть что-нибудь, и живой в этом мраке оставалась лишь путеводная ладонь Люкс, одновременно настойчивая и вялая, безостановочно тянувшая их вперед за ременные пряжки. Путь им преграждали невидимые препятствия. Дэн Тико, парень с бычьей шеей, наступил на что-то мягкое на площадке лестницы и подобрал этот предмет. Только после того, как Люкс вывела его через окно на крышу, Дэн разглядел в свете луны то, что держал в руке: наполовину съеденный бутерброд, который отец Муди видел пятью месяцами ранее. Другие парни находили тарелки с окаменевшими спагетти и пустые консервные банки, — видимо, миссис Лисбон прекратила готовить для девушек, вынудив их питаться тем, что они находили на кухне.

Судя по описаниям мальчишек, Люкс заметно исхудала, хотя это не очень-то бросалось в глаза сквозь стекла биноклей. Все шестнадцать опрошенных описали торчащие ребра и хрупкость ее бедер, а один парень, побывавший на крыше во время теплого зимнего дождя, рассказал, что в углублениях ее ключиц скапливалась вода. Кое-кто признавался, что у ее слюны кисловатый привкус — след оставшихся не у дел желудочных

соков, — но ни единый из упомянутых признаков недоедания, или болезни, или отчаяния (маленькие сухие болячки в уголках рта; выданный за левым ухом клок волос) не умалял порожденного ею нелепого образа ангела, охочего до плотских утех. Испытавшие ночное приключение на крыше рассказывали, что их словно пригвоздило к дымовой трубе биением двух гигантских крыл, а легкий светлый пушок над верхней губой Люкс якобы напоминал на ощупь нежное птичье оперение. Сияние ее глаз обжигало, выдавая такую уверенность в своих действиях, какой могло обладать только существо, не имевшее ни малейших сомнений либо в величии Творения, либо в полной его бессмыслице. Выражения, какими ребята описывали происходившее, судорожные движения их бровей, их озадаченность — все говорило о том, что сами они послужили лишь подручными средствами в восхождении Люкс, и, в конце концов, даже если она привела их на самую вершину, никто не был в состоянии описать нам то, что лежало по ту сторону. Некоторые отмечали беспредельную снисходительность и высшее милосердие, которые проявила к ним Люкс: это ощущение, раз возникнув, сразу лишало их всякой возможности испытывать какие-то иные чувства.

Несмотря на то что Люкс почти не говорила со своими «гостями», мы все же получили некое представление о состоянии ее рассудка — из тех немногих ее замечаний, что дошли до нас. Бобу Макбрирли она шепнула, что не сможет жить, если «не испробует этого снова», — но свою похвалу Люкс преподнесла с явным бруклинским акцентом, словно подражая героине какого-то кинофильма. Нарочитая театральность позволяла ей многое. Вилли Тейт признался, что, вопреки рвению, «Люкс, кажется, не испытала особого удовольствия», и многие другие парни описывали похожее безразличие. Приподняв голову с округлого плеча Люкс, они встречали ее рассеянный взгляд, ее глубокомысленно нахмуренную бровь — или же, на пределе страсти, вдруг обнаруживали, что она пощипывает прыщик у них на спине. В любом случае, парни уверяли, будто на крыше Люкс умоляющим, просительным тоном говорила что-то вроде: «Засунь его сюда. На минутку. Это сблизит нас». В иных случаях она трактовала соитие как малоприятную необходимость — выбирала позиции, расстегивала ширинки и ремни со скучающим видом кассирши в супермаркете. Степень бдительности в вопросах контрацепции также испытывала резкие колебания. Кто-то докладывал о чрезмерной сложности сопряженных с этим процедур, о введении трех или даже четырех слоев защитных гелей и кремов, когда в качестве последнего штриха Люкс выдавливала в себя белую антисеменную субстанцию, которую называла «плавленым сырком».

В других же ситуациях она обходилась «австралийским методом», предписывавшим промывание внутренних органов струей хорошо взболтанной шипучки. В дурном настроении она напрямик выкладывала партнеру свой, будто с плаката сошедший, ультиматум: «Есть презерватив — вводи, если нету — уходи». Довольно часто Люкс довольствовалась противозачаточными таблетками; впрочем, порой (видимо, отрезанная от аптек установленной миссис Лисbon блокадой) прибегала и к остроумным средствам, изобретенным знахарками на протяжении минувших столетий. Уксус оказался особенно полезен, равно как и томатный сок. Кислотные моря начисто разъедали борта крошечной лодочки любви. Люкс держала множество бутылочек с содержимым такого рода, а заодно и грязную тряпку, за трубами дымохода. Девять месяцев спустя, когда нанятые только что въехавшей в дом молодой супружеской парой кровельщики нашли склянки, один из рабочих крикнул вниз хозяйке: «Похоже, тут кто-то салат заправлял!»

Заниматься любовью на крыше не самая лучшая идея в любое время года, но занятие любовью на крыше зимой предполагало психическое расстройство, предел отчаяния и страсть к саморазрушению, в совокупности намного пересилившие любое телесное удовольствие, способное устоять под падающими с деревьев холодными каплями. Хотя некоторые из нас видели в Люкс олицетворение природной стихии, равнодушную к холоду ледяную богиню, порожденную самой зимой, большинство все же знали, что она была лишь попавшей в беду девочкой, сознательно подвергавшей себя опасности (или даже искавшей ее) замерзнуть насмерть. Потому мы не особенно удивились, когда спустя три недели после начала ее «демонстраций» между небом и землей фургон неотложки снова возник у дома. К этому, уже третьему своему появлению, фургон стал привычен для нас почти так же, как истеричные нотки в голосе миссис Бьюэлл, зовущей Чайза домой. Когда тот пронесся по улице, знакомые очертания машины ослепили нас, не дав рассмотреть новенькую зимнюю резину с кольцами соляных отложений на ободе каждого колеса. Шерифа — тощего санитара с усищами — мы увидели еще до того, как он выпрыгнул с водительского места, и все, что случилось затем, имело на себе незримую печать: «Внимание, дежавю». Мы уже были готовы увидеть, как замелькают в окнах одетые вочные рубашки сестры, как загорающийся в доме свет отметит маршрут спешащих к жертве санитаров: сначала он загорится в прихожей, потом в холле, потом наверху, потом в спальне справа — пока весь дом, как огромный игральный автомат, не засветится каждой ячейкой. В десятом часу вечера луна еще не успела

показаться на небе. На старых уличных фонарях птицы устроили гнезда, так что свет пробивался теперь сквозь слой соломы и сброшенных во время линьки перьев. Птицы давным-давно улетели на юг, но Шериф с толстяком снова поднимались на крыльце дома Лисбонов в неверных лучах фонарей. Как и ожидалось, они вынесли чье-то тело, но когда на крыльце вспыхнул свет, мы оцепенели от удивления: на носилках восседала Люкс Лисbon, вполне живая на вид.

Похоже, ей было больно, но, когда ее выносили из дома, у Люкс все же хватило присутствия духа стянуть со стола подвернувшийся под руку номер «Ридерз дайджеста», чтобы позже, в больнице, прочесть его от корки до корки. Вопреки частым конвульсиям (она судорожно хваталась за желудок), Люкс отважилась покрыть губы запретным слоем розовой помады, которая на вкус — это открыли нам побывавшие на крыше — отдавала клубникой. Сестра Вуди Клабо пользовалась такой же, и однажды, совершив набег на шкафчик со спиртным в комнате родителей Вуди, мы заставили его накрасить губы и поцеловать каждого из нас, чтобы и самим доподлинно выяснить, какова на вкус эта помада. За сложным букетом коктейля, который смешивался в ту ночь (четверть имбирного эля, четверть бурбона, четверть сока лайма, четверть скотча), на губах Вуди Клабо мы вкусили сладость клубничного воска, воображая, у электрического камина, что это Люкс Лисbon целует нас. Рок-музыка рвалась из магнитофонных колонок; мы ворочались в креслах, время от времени этакими бестелесными духами подплывая к дивану, чтобы окунуть головы в клубничную бездну, — но на следующий день уверяли друг друга, будто не помним ровным счетом ничего, так что сейчас мы впервые за все время упоминаем вслух тот давний эпизод. В любом случае, воспоминания той ночи были вытеснены образом Люкс, погружаемой в фургон неотложки, потому что, вопреки всем расхождениям во времени и пространстве, мы пробовали на вкус именно губы Люкс, а вовсе не Вуди Клабо.

Ее волосы давно уже пора было вымыть. Джордж Паппас, подошедший к фургону прежде, чем Шериф успел захлопнуть дверцу, описал, как кровь с силой прилила к щекам Люкс. «Сосуды просвечивали сквозь кожу», — рассказывал он. В одной руке сжимая журнал, а другой хватаясь за живот, она так раскачивала носилки, словно те были танцующим на волнах спасательным плотиком. Ее крупная дрожь, крики, стоны боли высветили в нашей памяти картину полного спокойствия Сесилии, теперь представшей даже мертвей, чем она была на самом деле. Миссис Лисбон не села в фургон, как в прошлый раз, но осталась стоять на газоне, махая рукой ему вслед, — будто Люкс отправлялась в летний лагерь

на школьном автобусе. Ни Мэри, ни Тереза, ни Бонни не вышли проводить сестру. Обсуждая впоследствии те события, многие из нас заявили, что получили в тот момент некий психический вывих, лишь усугубившийся из-за череды последовавших смертей. Основным симптомом этого болезненного состояния можно считать нашу неспособность вспомнить хотя бы единственный звук. Дверцы фургона захлопнулись в тишине; губы Люкс корчились в беззвучном крике, выставляя напоказ желтоватые зубы (одиннадцать пломб, судя по записям доктора Рота); сама улица — скрип вязов, щелчки переключавшего цвет светофора, гудение электрической коробки со знаком пешеходного перехода — все эти, обычно громкие, звуки оказались приглушенны или же зазвучали в слишком высоком для человеческого слуха регистре. Мы оказались глухи, но вдоль наших хребтов пробежала ледяная вибрация бесшумного грохота. Звук вернулся сразу после того, как увезли Люкс. Телевизоры разразились неживым смехом. Отцы заохали, хватаясь за поясницы.

Прошло не менее получаса, прежде чем из «Бон-Секурс» позвонила сестра миссис Патц с первым сообщением: у Люкс острый приступ аппендицита. Мы были удивлены, узнав, что заболевание не относилось к разряду ранений, нанесенных самостоятельно, но миссис Патц все объяснила: «Это стресс. Бедняжка испытывала такой мощный стресс, что ее аппенди克斯 попросту лопнул. С моей сестрой было то же самое». Брент Кристофер, в тот же вечер едва не отхвативший себе руку электропилой (занимался установкой новой кухонной мебели), видел, как Люкс вкатили в палату первой помощи. Несмотря на забинтованную руку и притуплённое обезболивающим сознание, он помнил, как студенты-санитары переложили Люкс с каталки на соседнюю с Брентом кровать. «Она дышала ртом во всю мощь своих легких и держалась за живот. Постоянно повторяла: „Ой-ёй-ёй“, именно так, как это пишется». Очевидно, в тот момент, когда санитары вышли за врачом, Брент Кристофер и Люкс Лисбон ненадолго остались наедине. Она перестала плакать и посмотрела в его сторону. Брент приподнял замотанную слоями марли руку. Люкс взирала на него без всякого выражения. Потом потянулась вверх и задвинула разделявшую койки занавеску.

Люкс осматривал доктор Финч (или, может быть, Френч, подпись неразборчива). Он спросил, где у нее болит, взял пробу крови, простучал ее, зажал лопаткой язык и пристально осмотрел глаза, уши и нос. Он ощупал ей бок и не нашел припухлости. Кстати говоря, Люкс больше не выказывала признаков острой боли, и уже через пару минут доктор перестал задавать ей вопросы насчет аппендицита. По уверениям знающих

людей, для опытного взгляда медика все признаки были очевидны: выражение тревоги на лице, частые прикосновения к животу. Что бы там ни было, доктор Финч обо всем догадался почти сразу.

— Когда была последняя менструация? — поинтересовался он.

— Давненько.

— Месяц прошел?

— Сорок два дня.

— Не хочешь, чтобы родители знали?

— Нет уж, спасибо.

— А почему весь этот шум? Зачем тебе понадобилась «скорая»?

— Единственный способ выбраться из дома.

Они говорили шепотом. Врач склонился над кроватью, а Люкс приподнялась с подушки поближе к нему. Брент Кристофер услыхал звук, который он определил как зубовный скрежет. Затем Люкс спросила:

— Мне всего только нужен тест. Вы можете это устроить?

Врач не выразил согласия, но отчего-то, выйдя в коридор, бросил только что прибывшей миссис Лисбон: «С вашей дочерью все будет в порядке». Затем доктор прошел к себе в кабинет, где чуть позже медсестра обнаружила, что он сидит и курит трубку, одна затяжка за другой. Мы напридумывали себе различные варианты того, что творилось в уме доктора Финча в то дежурство: возможно, он по уши влюбился в четырнадцатилетнюю девчонку с задержкой menstrualных; возможно, он прикидывал, сколько денег на его банковском счету, сколько бензина в баке, как далеко они смогут уехать, прежде чем обо всем узнают его жена и детишки. Мы так и не выяснили, отчего Люкс предпочла оказаться в больнице, а не посетить кабинет по планированию семьи, но многие сошлись на том, что она говорила чистую правду, и что, в конце концов, она не могла изобрести никакого другого предлога, чтобы встретиться с врачом. Вернувшись к мнимой больной, доктор Финч заявил ей: «Я скажу твоей матери, что мы проводим обследование желудочного тракта». Брент Кристофер вскочил с кровати, дабы поклясться самому себе в том, что поможет Люкс бежать. И услышал, как она спросила доктора:

— Сколько это займет времени?

— Примерно с полчаса.

— Вы и вправду проводите опыты на кроликах?

Доктор Финч рассмеялся.

Стоя навытяжку, Брент Кристофер почувствовал, как пульсирует искалеченная рука. Его взор замутился, у него закружилась голова... Но прежде чем вновь провалиться в блаженное небытие, Брент успел заметить,

как мимо прошагал доктор Финн, направлявшийся на переговоры с миссис Лисбон. Она первой услышала о желудочном обследовании, затем о нем узнали медсестры, а потом и мы. Джо Ларсон перебежал через улицу, чтобы спрятаться в кустах у дома Лисбонов, и именно тогда услышал подевчоночки тонкий плач хозяина дома, звучавший, по словам Джо, довольно мелодично. Мистер Лисбон сидел в своем офисном кресле, поставив ноги на подставку и закрыв лицо ладонями. Зазвонил телефон. Мистер Лисбон взглянул на аппарат. Поднял трубку. «Слава богу, — сказал он. — Слава богу». У Люкс, как выяснилось, случился всего-навсего сильный приступ желудочной колики.

Кроме теста на беременность, доктор Финч устроил Люкс полное гинекологическое обследование. От мисс Анжелики Тернетт, сотрудницы больничного архива, мы получили позднее документы, которые почитаем жемчужиной всей коллекции (зарплата работника, не состоящего в медицинском профсоюзе, едва позволяет свести концы с концами). Врачебный отчет, составленный по большей части из щекочущих нервы чисел, рисует Люкс в жесткой больничной сорочке: ее поочередно попросили встать на весы (45 кг), открыть рот, чтобы измерить температуру ( $36,9^{\circ}\text{C}$ ), и помочиться в пластиковую чашку (6–8 WBC/мкл; сод. белка пов.; лейкоциты 2+). Простая оценка «умеренное истиризм» описывает состояние стенок ее маточных труб, и шагом к изучению этих «потертостей» (не имевшим, впрочем, продолжения) стало фото шейки матки, более всего напоминавшей диафрагму камеры для снимка с чрезвычайно малой экспозицией (теперь она взирает на нас с немым укором, подобно пламенеющему глазу).

«Тест на беременность дал отрицательный результат, но и без того было ясно, что она вела активную сексуальную жизнь, — заключила мисс Тернетт. — У этой девушки имелся вирус, от которого появляются генитальные прыщики. Чем больше партнеров, тем сильнее действие вируса. Проще не бывает».

Случилось так, что доктора Хорникера вызвали в тот вечер к больному, и он сумел уделить несколько минут разговору с Люкс, не ставя в известность миссис Лисбон. «Девушка все еще ждала результатов теста, и поэтому, естественно, была несколько напряжена, — говорит он. — Впрочем, я почувствовал в ней еще кое-что, какое-то особое беспокойство». Люкс успела одеться и сидела на краешке больничной койки в палате приемного отделения. Едва доктор Хорникер успел представиться, она спросила:

— Вы и есть тот доктор, который говорил с моей сестрой?

— Совершенно верно.

— Собираетесь задавать мне вопросы?

— Только в том случае, если ты сама захочешь.

— Понимаете, я здесь только для того, — Люкс понизила голос до шепота, — чтобы попасть на прием к гинекологу.

— Значит, ты не станешь отвечать на мои вопросы?

— Сил все рассказала нам про ваши приемчики. Сейчас у меня нет настроения.

— Какое же у тебя настроение?

— Никакого. Просто устала, и все.

— Тебе не спится по ночам?

— Только и делаю, что сплю.

— Но усталость все же не проходит?

— Ага.

— Как ты думаешь, почему?

Вплоть до этого момента Люкс отвечала легко и быстро, болтая не достававшими до пола ногами. Теперь она остановилась и оглядела доктора Хорникера с ног до головы. Затем откинулась на стенку и так склонила голову на сторону, что под ее щекой собралась пухленькая складочка.

— Железа в крови не хватает, — сказала она. — У нас вся семья такая. Наверное, стоит попросить доктора выписать витамины.

«Люкс Лисбон отрицала все, как на допросе, — по прошествии многих лет объяснил нам доктор Хорникер. — Мне было ясно, что она недосыпала (симптом депрессии, описанный во всех учебниках) и старательно делала вид, что источник ее трудностей и, соответственно, трудностей, имевшихся у Сесилии, тут совершенно ни при чем». Вошел доктор Финч с долгожданным результатом теста, и повеселевшая Люкс соскочила с койки. «Но даже ее явная радость имела маниакальный оттенок. Она запрыгала, как ненормальная».

Вскоре после этой встречи, во втором по счету из множества своих отчетов, доктор Хорникер предпринял попытку пересмотреть свое отношение к сестрам Лисбон. Часто цитируя недавно опубликованную работу доктора Джудит Вейсберг, изучившей «процесс принятия потери подростками, утратившими родного брата или сестру вследствие суицида» (см. «Список научных работ»), доктор Хорникер выдвинул свое объяснение эксцентричного поведения сестер, их замкнутости, непредсказуемых выплесков эмоций или перепадов настроения. Отчет утверждает, что в результате самоубийства Сесилии Лисбон ее сестры стали страдать

посттравматическими стрессовыми нарушениями. «Нередко, — писал доктор Хорникер, — родные братья и сестры подростка, погибшего в результате самоубийства, разыгрывают перед домочадцами суицидальное поведение, таким образом пытаясь овладеть ситуацией, справиться с горем. Уровень повторных самоубийств в рамках одной семьи довольно высок». На полях рукописи, оставив научный стиль, он сделал беглую пометку: «Лемминги».

Став популярной за несколько месяцев, эта теория убедила многих, поскольку значительно упрощала общую картину. Самоубийство Сесилии, если заглянуть в прошлое, приобрело черты давно ожидаемого события. Никто больше не считал его таким уж невероятным, а принимая его в качестве Первопричины, мы избавлялись от необходимости дальнейших обоснований. Как выразился мистер Хатч: «Из Сесилии сделали злодейку». Самоубийство девочки, с этой точки зрения, предстало чем-то вроде заразного заболевания, поразившего ее близких. Лежа в ванной и медленно запекаясь в бульоне собственной крови, Сесилия спустила с поводка передаваемый по воздуху вирус, который, спеша на помощь, вдохнули ее сестры. Никого больше не интересовало, как и где заразилась сама Сесилия — передача микробов воздушным путем объяснила все. Другие девушки, пребывавшие в безопасности собственных комнат, почуяли нечто странное, поводили ноздрями, но не обратили особого внимания. Черные завитки дыма просочились в щели под их дверьми, выросли за их склоненными над учебниками спинами и, поднявшись к потолку, образовали зловещие силуэты того рода, какими пестрят комиксы и мультфильмы: угрожающе размахивающий ножом разбойник в черной широкополой шляпе; занесенный топор, грозящий рухнуть на подставленную шею... Гипотеза о заразности самоубийств сделала образ осозаемым. Колючие бактерии поселились в горле каждой из сестер, чтобы быстро размножиться в этой питательной среде. На следующее утро у них опухли миндалевидные железы, а горло слегка саднило. Ватным одеялом девушек окутала ленивая медлительность. В окнах их дома постепенно померкли огни окружающего мира. Они терли себе глаза, но так и не стали видеть лучше. Они ощущали тяжесть, мысли их утратили всякую подвижность. Предметы домашней обстановки потеряли всякий смысл. Будильник на тумбочке у кровати превратился в расплавленный комок ненужной пластмассы, отмеряющий нечто под названием «время» в мире, которому по какой-то неведомой причине это было важно. Размышляя о сстрахах Лисbon в таком свете, мы и сами начинали видеть в них болезненную лихорадочность; выдыхая липкий разгоряченный воздух, они словно бы таяли день за днем,

постепенно растворяясь в своем скрытом от мира каменном мешке. Смочив волосы, мы и сами выбегали на улицу, надеясь подхватить грипп и хотя бы временно разделить с ними беспамятство медленного угасания.

\* \* \*

Раздававшиеся в ночи вопли дерущихся или спаривающихся кошек, их вечные концерты уверили нас в том, что мир — это одно сплошное чувство, которое царит там и тут среди особей, его населяющих; агония одноглазого сиамского кота ничем не отличалась от страданий сестер Лисбон, и даже деревья купались в самых разнообразных ощущениях. Первая шиферная плитка соскользнула с крыши и, всего на дюйм промазав мимо крыльца, с размаху воткнулась в мягкую землю. Издалека нам была видна смола, чернеющая в отверстии, пропускавшем внутрь воду. Мистер Лисбон поместил под протечкой в гостиной старую банку из-под краски и следил за тем, как она наполняется синевой под цвет потолка в спальне Сесилии (она сама выбрала оттенок в надежде, что потолок будет походить на вечернее небо; опустевшая банка долгие годы валялась в шкафу). В последующие дни ручейки стали собираться и в других банках — на батарее, на каминной доске, прямо на столе посреди столовой, — но никто так и не вызвал кровельщиков, наверное, просто потому, что Лисбоны уже не могли терпеть бесцеремонных вторжений в дом. С протечками ониправлялись самостоятельно, продолжая жить в тропическом лесу собственной гостиной. Мэри регулярно появлялась на крыльце, забирая почту (рекламные листки, счета за отопление, но никаких писем, открыток или иных посланий личного характера), в ярко-зеленом или розовом свитере, расшитом алыми сердечками. Бонни носила нечто вроде рабочего халата, который мы прозвали «власяницей», в основном из-за покрывавших его колючих перьев. «Должно быть, у нее дыра в подушке», — так объяснял их наличие Вине Фузилли. Эти перья не были белыми, как можно было бы ожидать, но имели серо-коричневый окрас, происходя от беспородных уток, окультуренных птиц, чей спрятый запашок подхватывал ветер каждый раз, когда, вся утыканная перьями, Бонни выбиралась из дома. Впрочем, близко к ней не подходили. Никто не отваживался посетить дом — ни наши родители, ни священник; даже почтальон, не желавший больше касаться почтового ящика Лисбонов, приподнимал его крышку корешком свернутого в трубочку «Фэмили Серкл»,<sup>[32]</sup> который выписывала миссис Юджин. Безмолвное разрушение дома становилось все более

заметным. Мы увидели вдруг, какими пятнами подернулись занавеси, и только потом сообразили, что смотрим вовсе не на шторы, а на выстлавшую окна пленку грязи с протертymi в ней круглыми дырочками для подглядывания (огромной удачей было увидеть, как сестры делают очередной кружок: появлялась розовая ладонь, которая затем плющилась о стекло и совершила торопливые круговые движения, чтобы уступить яркой мозаике глаза, изучавшего нас самих). Ко всему прочему, перекосились и водосточные трубы.

Только мистер Лисбон еще покидал примыкавшую к дому территорию, так что наши контакты с сестрами сузились до мелких знаков их внимания, которые мы замечали на своем учителе. Его волосы были теперь причесаны с неизменной аккуратностью, словно бы девушки, не имевшие возможности прихорашиваться сами, стремились придать отцу весь лоск, на какой были способны.

На щеках мистера Лисбона более не появлялись оставленные на всеобщее обозрение знамена из папиросной бумаги, с капелькой крови по центру, подобно маленьким японским флагкам, что, по мнению многих, могло значить лишь одно: дочери сами взялись брить отца по утрам, проделывая это куда с большей осторожностью, чем когда-то братья Дурачка Джо (впрочем, миссис Лумис придерживалась на данный счет особого мнения: она полагала, что после самоубийства Сесилии мистер Лисбон приобрел электробритву). Каковы бы ни были второстепенные детали, математик стал нашим медиумом, с помощью которого мы пытались определить состояние духа сестер. Мы видели девушек сквозь призму дани, которую они с него собирали: припухшие красные глаза, которые почти не открывались, не желая видеть, как сама жизнь по капле вытекает из дочерей; ботинки, стоптанные в вечном блуждании по лестнице, ежеминутно угрожавшей привести к еще одному бездыханному телу; болезненная худоба, отразившая всю бездну жалости и сочувствия к гибнущим юным созданиям; опустошенный вид человека, осознавшего, что тоска увядания наполнила всю его жизнь без остатка, а другой уже не будет. Когда он отправлялся на работу, миссис Лисбон больше не укрепляла силы мужа утренним кофе. Как бы там ни было, садясь за баранку, он все еще тянулся по привычке к дверце, где крепилась дорожная кружка... чтобы поднести ко рту холодную жидкость недельной давности. В школе он бродил по коридорам с улыбкой на устах, о фальшивости которой ясно говорили слезящиеся глаза, а порой, чтобы продемонстрировать мальчишеский задор, взвизгивал: «Отдай шайбу!» и толкал зазевавшихся учеников к стенке. Впрочем, игра слишком затягивалась, когда он, замерев,

чересчур долго удерживал их за плечи. Детям приходилось говорить: «Вбрасывание!» или «Вы попали на скамью штрафников, мистер Лисbon», — что угодно, только бы вывести его из отупения. Кенин Джэнкинс попал однажды в такую переделку и говорил только о чувстве странной безмятежности. «Непонятно, как это получилось. Я чувствовал на себе его дыхание, и все такое, но не пытался высвободиться. Словно в меня вкотили тяжелую сваю, она меня раздавила и расплющила, и все же на меня снизошел такой мир, такое спокойствие...» Многие восхищались тем, что мистер Лисbon продолжает ходить на работу; другие проклинали его за это, упрекая в жестокосердии. Под зеленым костюмом он стал походить на живой скелет, будто со смертью Сесилии меж ними протянулась веревочка, за которую теперь дочь перетягивала отца в загробный мир. Он напоминал нам Абрахама Линкольна, тощего, длиннорукого, молчаливого, влачащего на своих плечах все горести мироздания. Он никогда не проходил мимо питьевого фонтанчика, не отведав даруемого им мимолетного облегчения.

Но потом, не прошло и шести недель после окончательного водворения девушек в темницу, мистер Лисbon внезапно уволился. От Дини Флейшер, школьной секретарши, мы узнали, что во время рождественских каникул директор Вудхаус позвонил мистеру Лисбону и пригласил его на беседу. В кабинете присутствовал также и Дик Йенсен, председатель Попечительского совета. Мистер Вудхаус попросил Дини достать из холодильника в приемной бутылку с яичным ликером. Перед тем как поднести к губам бокал, мистер Лисbon спросил:

— Надеюсь, здесь нет спиртного?

— Рождество все-таки, — растерялся мистер Вудхаус.

Мистер Йенсен заговорил о «Кубке Розы». [33] Он даже спросил у мистера Лисбона:

— Вы ведь тоже «УМ», [34] правда?

Мистер Вудхаус тем временем подал Дини знак выйти, но прежде чем та шмыгнула за дверь, до нее донесся ответ мистера Лисбона:

— Были времена. Но, сдается мне, Дик, я вам об этом не говорил. Похоже, вы недавно перечитывали мое личное дело.

Мужчины рассмеялись, без особого веселья в голосах. Дини прикрыла за собою дверь.

Уже 7 января, когда школа возобновила занятия, мистер Лисbon не числился в списке преподавателей. Формально он решил отдохнуть и ушел в бессрочный отпуск за собственный счет, но новая учительница математики, мисс Колински, по-видимому, чувствовала, что задержится

надолго, поскольку мигом убрала с поддельных орбит все планеты. Падшие небесные сферы притулились в углу, как последний мусор времен распада Вселенной: Марс вжался в Землю, Юпитер развалился надвое, а блестящие кольца Сатурна поцарапали бедолагу Нептуна. Мы так и не знаем, что в точности говорилось на той встрече, но суть ясна: Дини Флейшер рассказала нам, что вскоре после того как Сесилия покончила с собой, родители многих учеников подали жалобы. В них говорилось, что человек, не сумевший установить порядок в собственной семье, не должен обучать чужих детей, и, по мере того как ветшал дом Лисбонов, неодобрительный хор звучал все громче. Манеры и поведение мистера Лисбона только усугубляли дело, вкупе с его вечным зеленым костюмом, отсутствием в учительской на переменах и пронзительным тенором, звучавшим на занятиях секции мужского хора, как визг отбившейся от родственников старухи. Мистеру Лисбону отказали в должности. И он вернулся в дом, где по вечерам порой не зажигался свет, а входная дверь не открывалась сутками.

Теперь дом по-настоящему умер. Ибо тоненький ручеек жизни, протекавший через притихшие комнаты и изредка приносивший девушкам угощение (хрустящее печенье, апельсиновые тянучки и окрашенные всеми цветами радуги кукурузные хлопья), продолжал звенеть, лишь пока мистер Лисbon совершил ежедневные поездки в школу и обратно. Мы могли представить себе, что чувствуют сестры Лисбон: мы точно знали, что они едят. Мы испытывали с ними вместе головную боль от непомерных доз мороженого. Нас могло вырвать от одного только запаха шоколада, который мы запихивали в себя, подражая их диете. Впрочем, когда мистер Лисбон перестал выходить из дома, ручеек сластей иссяк сам собой, и теперь мы вовсе не были уверены, едят ли сестры Лисбон вообще. Оскорбленный запиской миссис Лисбон, молочник больше не оставлял на их крыльце молоко, кислое или нет. Крогер больше не подвозил продукты. Во время заглушённого щелчками и помехами телефонного звонка в Нью-Мехико мать миссис Лисбон, Лима Кроуфорд, упомянула нам, что отдала дочери большую часть своего урожая и заготовленных в то лето консервов (она помолчала перед тем, как сказать «в то лето»: речь шла о годе смерти Сесилии — том времени, когда, несмотря на несчастье, огурцы и клубника на ее грядках пошли в рост, и даже сама она, семидесяти одного года от роду, продолжала жить и здравствовать). Лима также сообщила нам, что миссис Лисбон обладала обширным запасом консервированных продуктов, равно как и свежей воды, а также прочими средствами жизнеобеспечения на случай ядерной атаки. Очевидно, в подвале у них было устроено нечто

вроде бомбоубежища, куда можно было попасть из игровой комнаты, стоя в которой мы наблюдали, как Сесилия поднимается по ступенькам наверх, к смерти. Мистер Лисбон даже установил там биотуалет. Но это было еще в те дни, когда все кругом ожидали, будто опасность придет извне; теперь же ничто не казалось столь бессмысленным, как это помещение для выживания, погребенное в недрах дома, самого превратившегося в большой склеп.

Наша тревога только усилилась, когда мы узнали, насколько исхудала Бонни. Как раз перед рассветом, когда дядюшка Такер уже обычно собирался отправиться спать, он часто видел, как она, ошибочно полагая, что вся улица погружена в сон, выходит на парадное крыльце дома. На ней был неизменный халат в перьях, а с собой она нередко прихватывала подушку — дядюшка Такер называл ее «женой холостяка», имея в виду манеру, в которой Бонни сжимала ту в объятиях. В воздухе вокруг ее головы парили перья, вылетевшие из надорванного уголка. Бонни то и дело чихала. Ее длинная шея казалась тощей и белой, а шаткая, нетвердая подподка напоминала манеру ходить, свойственную голодающим Африки: тазобедренные суставы словно бы нуждались в смазке. Поскольку жидккая пивная диета довела до состояния ходячей тени самого дядюшку Такера, мы поверили рассказу. В его устах это звучало совсем иначе, чем замечание миссис Эмберсон: дескать, что-то Бонни похудела. По сравнению с миссис Эмберсон, все мы болели рахитом. Но начищенная до блеска бирюзово-серебристая ременная пряжка дядюшки Такера смотрелась на нем под стать непомерно огромной, украшенной драгоценными каменьями застежке на ремне борца-тяжеловеса. Он-то знал, о чем говорил. И, выглядывая из гаража, держась за ручку холодильника, наблюдал за неслаженными движениями Бонни Лисбон, за тем, как она сходила с крыльца по ступеням, пересекала газон к небольшому клочку оставшейся от прошлогодних раскопок незаросшей земли и там, на месте гибели сестры, начинала едва слышно шептать молитвы под перебор четок. Прижав к себе подушку одной рукой, она перебирала бусины другой и обыкновенно заканчивала прежде, чем в окнах на нашей улице загорался свет, и квартал приходил в движение.

Мы не знали, в чем крылась причина — в преднамеренном аскетизме или же в вынужденном голодании. Лицо ее казалось умиротворенным, сказал дядюшка Такер, на нем не было и следа лихорадочного аппетита Люкс или высокомерной гордости Мэри. Мы спросили, не держала ли она в руке глянцевой картинки с лицом Девы Марии, но дядюшка Такер не был уверен. В принципе Бонни выходила еженощно, хотя в тех редких случаях,

когда по телевизору шел фильм с Чарли Чаном, дядюшка Такер забывал проверить.

Как раз дядюшка Такер и оказался первым, кто почуял запах, природу которого мы так и не сумели определить ни тогда, ни позже. Однажды в предрассветный час, выйдя помолиться к яме, Бонни оставила входную дверь приоткрытой, и дядюшка Такер, принюхавшись, заметил дуновение чего-то, с чем ему не доводилось сталкиваться прежде. Сперва он посчитал, что это был всего только резкий запах мокрой птицы, но тот ощущался и после того, как Бонни удалилась вместе с подушкою, так что, проснувшись наутро, мы тоже почуяли его. Ибо даже по мере разрушения дома Лисбонов, отмеченного душком сгнивших досок и отсыревших ковров, этот новый запах продолжал струиться из его щелей, заполняя наши сны и заставляя то и дело мыть руки. Запах был таким густым, что казался вязкой жидкостью, и ступить в его струю означало попасть под брызги, летящие из невидимого фонтана. Мы пытались определить его источник, разыскивая во дворе трупики белок или брошенный мешок удобрений, но запах слишком уж отдавал сиропом. В борьбе живого и мертвого он определенно занимал сторону жизни и напомнил Дэвиду Блэкку об одном грибном салате для гурманов, который он пробовал в Нью-Йорке, отправившись туда с родителями.

«Это запах угодившего в силки бобра», — рассудил Пол Балдино голосом древнего оракула, и мы были слишком неопытны, чтобы опровергнуть эти его слова, но в любом случае с трудом бы поверили, что причиной подобного аромата стало концентрированное любовное томление. Отчасти напоминая дурной запах изо рта, сыр, молоко и белый налет на языке больного, он также наводил на мысль о металлическом привкусе рассверленных зубов. Это был неприятный запах того рода, к какому привыкаешь, подходя все ближе к источнику, пока вообще не перестаешь замечать: к этому времени он заполняет твои легкие и становится твоим собственным дыханием, твоим собственным запахом. Разумеется, за минувшие годы приоткрытые рты множества женщин выдыхали нам в лица отдельные составляющие того самого запаха, и порой, склонившись над незнакомыми простынями во тьме ночей измены или случайных связей, мы жадно вдыхали еще какой-нибудь его оттенок только потому, что он в известном смысле напоминал нам об испарениях, просочившихся из дома Лисбонов вскоре после того, как тот оказался закрыт изнутри, и, говоря откровенно, идущих оттуда по сию пору. И теперь еще, хорошенько сконцентрировавшись, мы можем ощутить тот запах. Он отыскивал нас в наших кроватях и на спортивной площадке, где

мы пятнали друг друга мячом; он крался по ступеням в доме Карафилисов, так что старой миссис Карафилис снилось, будто она опять в Бурсе, готовит жаркое на виноградных листьях. Он достигал нас даже в удушливом дыме сигары, раскуриаемой дедушкой Джо Бертона, когда тот показывал нам свой фотоальбом времен службы на флоте, объясняя, что пухленькие девицы в юбках все до единой приходились ему кузинами. Странно, пожалуй, но даже когда запах стал неодолим, нам и в голову не пришло задерживать дыхание или, используя последнее средство, дышать ртом; уже через несколько дней после его появления мы впитывали его, словно материнское молоко.

Наступили дремотные, тусклые месяцы: окованный льдом январь, неумолимый февраль, слякотный, грязный март. В те давние годы у нас еще были настоящие зимы со снежными заносами, когда из-за морозов отменяли занятия в школе. Сидя дома во время утренних снегопадов и прислушиваясь к новостям по радио, где объявляли, какие школы закрыты (настоящий парад округов с индейскими названиями — Ваштенау, Шиавасси, — пока не наступал перед нашего англосаксонского Уэйна), мы еще могли познать животворное чувство тепла в натопленном доме посреди зимы, знакомое, должно быть, еще первопроходцам этих мест. Нынче же, благодаря вечно сменяющимся из-за заводских паров ветрам и глобальному потеплению, снег больше не падает стеной, но лишь сыпется потихоньку по ночам, чтобы наутро исчезнуть, подобно мыльной пене. Мир, этот усталый фокусник, предлагает нам очередной, на скорую руку сляпанный сезон. А ведь во времена сестер Лисbon снег выпадал каждую неделю, и мы лопатами расчищали подъездные дорожки, наваливая по обе стороны сугробы повыше автомобилей. Грузовики разбрасывали соль.

Зажигались рождественские огни, и старик Уилсон наконец водружал ежегодную приманку для зевак: снеговик ростом в двадцать футов правит тремя северными оленями, сидя в санях, где компанию ему составляет краснощекий толстяк Сайта. Зимняя композиция Уилсона всегда наводняла нашу улицу лишним транспортом, но в тот памятный год все машины дважды замедляли на ней свой ход. Мы видели, как улыбающиеся дети и родители показывали на Санту пальцами, чтобы затем в напряжении вытянуть шеи при виде дома Лисбонов — совсем как любопытствующие на месте аварии. Тот факт, что Лисбоны не развесили гирлянд перед Рождеством, придавал их дому еще более унылый вид. На газоне у Питценбергеров, по соседству, три увязших в снегу ангела дули в ярко-красные трубы. У Бейтсов, через улицу, в глубине заиндевевших кустов горели разноцветные лампочки. И лишь в январе, уже с неделю отсутствуя

в школе, мистер Лисбон все же вышел растянуть гирлянду. Он завесил лампочками кусты перед домом, но, подключив провод, остался недоволен результатом. «Одна из них заставляет мигать остальные, — сказал он вышедшему к автомобилю мистеру Бейтсу. — На коробке написано, что у нее красный наконечник, я проглядел все, но такого не нашел. Ненавижу мигающие гирлянды». Возможно, но только огоньки так и продолжали мигать — всякий раз, когда мистер Лисбон вспоминал по вечерам о том, что их нужно включить в сеть.

Всю зиму девушки уклонялись от контактов с внешним миром. Порой кто-то из сестер выходил на мороз, обнимая себя за плечи и окутав лицо облачком теплого дыхания, — но, проведя на улице не более минуты, они возвращались в дом. Вечерами Тереза продолжала пользоваться коротковолновиком, выступивая сообщения, уносящие ее прочь из дома, к теплым южным штатам или к самой оконечности Южной Америки. Тим Вайннер просеивал радиоволны в поисках частоты, которой пользовалась Тереза, и несколько раз докладывал о результатах перехвата. Один раз она общалась с каким-то любителем собак из Джорджии (у пса артрит в бедрах, оперировать или не стоит?); другой раз говорила — если считать разговором обмен фразами в лишенном полов и границ эфире — с человеком, чьи ответы Вайннеру также удалось записать. Сплошные точки-тире, но мы заставили Тима перевести эту белиберду на английский. Разговор шел примерно такой:

«Ты тоже?»

«Мой брат».

«Сколько лет?»

«Двадцать один год. Красивый. Чудесный скрипач».

«Как?»

«Мост неподалеку. Быстрое течение».

«Как совладать с горем?»

«Никак. Не выходит».

«На что похожа Колумбия?»

«Тепло. Спокойно. Приезжай».

«Хотелось бы».

«Ты не права насчет бандидос».

«Надо идти. Мама зовет».

«Крышу покрасили синим, по твоему совету».

«Пока».

«Пока».

Вот и все. Как нам представляется, объяснение налицо, и эта запись

показывает, что даже в марте Тереза еще тянулась к свободе за стенами своей темницы. Примерно тогда же она отослала запросы, чтобы получить необходимую информацию для поступления в целый ряд колледжей (впоследствии репортеры здорово раздуют это обстоятельство). Кроме того, девушки заказали несколько каталогов товаров, которые даже и не думали приобретать, так что почтовый ящик Лисбонов вновь наполнился: мебель от «Скотт-Шраптина», наряды от лучших фирм, экзотические поездки. Сестры не могли покинуть порог родительского дома и устраивали путешествия в собственных мечтах — к покрытым золотом храмам Сиама, мимо старика с ведерком и маленькой метелкой в руках в поросшем мхом крохотном садике где-то в Японии. Как только нам стали известны названия этих журналов, мы и сами заказали такие, чтобы поглядеть, куда же стремились отправиться девушки. «Странствия по Дальнему Востоку». «Пешие прогулки». «По туннелю в Китай». «Восточный экспресс». Мы раздобыли все до единого. Лихорадочно листая яркие страницы, мы вместе с сестрами ловили попутные машины на пыльных трассах, то и дело останавливаясь, чтобы помочь им снять тяжелые рюкзаки, обнимали их за теплые, влажные плечи и вместе глазели на закат цвета папайи. Мы пили с ними чай в плавучем павильончике, где у наших ног поблескивали плавники золотых рыбок. Мы делали все, что только приходило на ум, и Сесилия не совершила самоубийства: нет, это она, с выкрашенными хной ступнями скрывалась под красным покрывалом невесты в Калькутте. Только так мы могли, обманув себя, оказаться вместе с сестрами Лисбон: совершая эти немыслимые экскурсии, забыть о которых мы уже не смогли никогда и благодаря которым научились испытывать счастье скорее в мечтах, чем рядом с собственными женами. Кое-кто из нас смаковал эти разноцветные приглашения к путешествиям, уединяясь с проспектами в своей комнате, или украдкой засовывал их под рубашку. На что-то другое мы были мало способны, а снег валил не переставая, и небо хранило свой угрюмый серый цвет.

Нам хотелось бы со всей ответственностью описать вам, на что походил дом Лисбонов изнутри и что именно чувствовали оказавшиеся в заточении девушки. Вконец измученные этим своим расследованием, мы и сейчас жалеем о том самом «Моменте истины», об этаком Розеттском камне,<sup>[35]</sup> который смог бы объяснить поступок сестер раз и навсегда. Зима выдалась уж точно не самой веселой, но, кроме этого, мы мало что можем добавить. Попытки найти истинную причину мучившей девушек боли смахивают на регулярные самообследования, заняться которыми нас настойчиво уговаривают врачи (да, мы уже достигли этого возраста). От

нас требуется время от времени с клинической беспристрастностью исследовать самую потаенную пазуху нашего тела и, ощупывая ее, замереть перед реальностью собственной анатомии: два голубиных яйца, притулившись в хрупком гнездышке, с тянувшимися к ним и от них хрящеватыми трубками. В этом едва обозначенном на картах месте, среди естественных сгустков и комочеков, нам необходимо обнаружить бесцеремонных захватчиков, посягающих на наше здоровье. Мы и представить себе не могли, сколько там шишек и бугорков, пока не пустились на их поиски. И вот лежим на спинах, выясняя, что там внутри; содрогаясь от отвращения, мы отдергиваем руку, чтобы, отдохнувши, пощупать снова, — а семена смерти таятся до времени в запутанных недрах тел, дарованных нам Создателем.

С сестрами Лисбон примерно так же. В попытке понять природу поразившего их горя мы начинаем задумываться, стала ли смертельной та или иная рана, или же (диагноз, который мы вынуждены ставить вслепую) их не было и в помине. Вполне вероятно, мы могли наткнуться не на рану, а на рот: он столь же влажен и горяч. Обнаруженный нами шрам может оказаться как в области сердца, так и на коленке. Нам это неведомо. Слепцы, мы можем лишь на ощупь подняться — по ногам и рукам, по мягкой двояковыпуклой плоти — к воображаемому лицу. Оно говорит с нами. Но мы не слышим ни слова.

\* \* \*

Каждый вечер мы подвергали пристальному осмотру окна верхних спален в доме Лисбонов. За обедом наши разговоры неизбежно возвращались к одному и тому же: тупик, в котором оказалась эта семья. Захочет ли мистер Лисбон искать себе другую работу? Как сможет он обеспечивать семейство? Сколько еще выдержат в этой клетке девушки? Даже престарелая миссис Карафилис сподобилась на одно из редких своих восхождений на первый этаж (банные дни не в счет), чтобы с крыльца взглянуть на дом Лисбонов, стоящий чуть в стороне, через улицу. Мы не можем припомнить другого случая, когда старушку Карафилис привлекли бы события внешнего мира, потому что все то время, что мы были знакомы с ней, она провела в подвале, ожидая смерти и почти не поднимаясь наверх. Иногда Димо Карафилис отводил нас вниз поиграть в «Фусбол» и, двигаясь по проходу среди старых диванов, сваленных в кучу чемоданов и труб отопления, мы добирались, бывало, до комнатки, обставленной старой

миссис Карафилис так, чтобы она напоминала ей о Малой Азии. С решетки под потолком свешивались пластиковые гроздья винограда; в разукрашенных коробочках покоились мертвые шелкопряды; ведерко для золы было выкрашено небесно-голубой лазурью под цвет неба на родной стороне. Открытки на стенах служили окошками в другое время и место, где и теперь еще жила миссис Карафилис. На заднем плане возвышались покрытые зеленью горы, уступавшие место выщербленным временем гробницам турок-ottomанов и красной черепице крыш. Столбик пара в уголке одного из окрашенных «Техниколором»<sup>[36]</sup> снимков выдавал присутствие торговца горячими лепешками. Димо Карафилис так и не открыл нам, что с его бабушкой было не так, да ему, в принципе, и не казалось странным держать ее в подвале, по соседству с громадиной парового котла и булькающими трубами водоотвода (наш район, расположенный в низине, был беззащитен перед половодьем). С другой стороны, то, как она останавливалась перед открытками, слюнявила большой палец и прижимала все к тому же побелевшему пятну, то, как с золотозубой улыбкой кивала аллеям и просекам, словно бы приветствуя старых знакомых, — все это говорило нам, что старая миссис Карафилис была выпестована, сломлена и опечалена событиями чужой истории, о которой мы и слыхом не слыхивали. Когда же она замечала нас, то говорила: «Прикройте свет, ребятки», и мы повиновались, оставляя ее в темноте помахивать подарочным веером из тех, что высыпала ей к Рождеству некогда склонившая ее супруга погребальная контора (на дешевом веере из наклеенных на палочки картонок был отпечатан Христос, молящийся в Гефсиманском саду; над ним собирались угрожающего вида тучи, а на обороте тянулись строчки рекламы ритуальных услуг). Если не считать необходимости принять ванну, то старая миссис Карафилис поднималась наверх — вокруг пояса обвязана веревка, отец Димо легонько тянет за нее сверху, а сам Димо и его братья подталкивают снизу — исключительно в те дни, когда по телевизору (с промежутком в пару лет) шел фильм «Поезд в Стамбул». Тогда она, охваченная волнением, как девочка, подавалась вперед с дивана, на котором сидела, и с трепетом ждала сцены в десяток секунд длиной: поезд на экране проезжал по зеленым холмам, навеки пленившим ее сердце. Она поднимала обе руки и испускала звериный вопль, когда поезд — всякий раз в том же месте — исчезал в темноте туннеля.

Старая миссис Карафилис никогда особенно не интересовалась здешними сплетнями, оттого в основном, что не сумела бы их понять, но еще и потому, что то немногое, что она улавливала,казалось ей сущим

пустяком. В молодости ей пришлось прятаться в пещере от турок, которые убили бы ее, если б нашли. Целый месяц она не питалась ничем, кроме оливок, причем глотала их вместе с косточками, чтобы почувствовать сытость. Она своими глазами видела, как вырезали всю ее семью, как мужчин заставили съесть собственные гениталии, перед тем как на закате вздернуть. Так что слыши теперь, будто Томми Риггс разбил родительский «линкольн», а рождественская елка Перкинсов загорелась от свечки и рухнула, прикончив кота, миссис Карафилис не могла уразуметь всего драматизма подобных событий. Единственный раз она встрепенулась, когда кто-то упомянул в ее присутствии сестер Лисbon, но и тогда она не стала задавать вопросов или выяснять подробности, а просто установила с ними телепатическую связь. Если нам случалось в пределах ее слышимости заговорить о сстрахах, старая миссис Карафилис поднимала голову, затем натужно вставала с кресла и ковыляла по холодному цементному полу к окну. Подвальное окошко на дальней стене пропускало внутрь слабый свет, и подойдя к пыльным стеклам, старуха подолгу смотрела на кусочек неба, видный в прореху меж слоев паутины. То был весь мир, принадлежащий сестрам Лисbon, который она была в силах увидеть, просто уголок неба над их домом, но и это немногое говорило ей достаточно. Нам стало ясно, что она и сестры владели особым искусством — умением читать письмена отчаяния и горя в очертаниях облаков, и нечто вневременное связывало их, несмотря на всю разницу в возрасте; миссис Карафилис словно бы советовала сестрам Лисbon на своем невнятном греческом: «Не тратьте времени на жизнь». Прелая прошлогодняя листва и уличная пыль со временем забили оконную нишу, похоронив под собой обломки стула, забытые там с той поры, как мы строили форт. Скупое солнце просвечивало сквозь платье старушки, такое же тонкое, с однообразным узором, какой бывает туалетная бумага. Ее сандалии предназначались для того, чтобы носить их в хаммаме, какой-то разновидности бани, а не таскать по голому полу. В день, когда миссис Карафилис услышала о новом заточении сестер, она вскинула голову, покивала с серьезным и грустным видом, — но нам показалось отчего-то, что ей уже все было известно.

Принимая еженедельную ванну с солями, она говорила о сстрахах Лисbon или, может быть, разговаривала с ними — мы так и не смогли этого понять. Мы не стали подходить слишком близко или подслушивать у замочной скважины, потому что те несколько быстро мелькнувших образов старой миссис Карафилис, которые представали нашим любопытным глазам, — ее отвисшие вековые груди, ее синеватые ноги, ее распущенные волосы (на удивление длинные и блестящие, как у девушки), — смущали

нас до глубины души. Даже самый плеск воды заставлял нас краснеть; ее голос, привычно жалующийся на старческие болячки, долетал до нас в минуты, когда служившая в доме чернокожая женщина, сама не первой молодости, помогала старухе устроиться в ванной. Оставшись наедине со своей немощью по ту сторону двери, они обе вскрикивали невпопад и вразнобой запевали, сначала чернокожая служанка, а затем и старая миссис Карафилис, вторившая ей на мотив какой-то греческой песни; потом пение стихало и оставался лишь плеск воды — воды, цвет которой мы и не пытались вообразить. Потом миссис Карафилис казалась столь же бледной, как и прежде, о принятой ванне напоминало только обернутое вокруг головы полотенце. Мы слышали, как пыхтела негритянка, которая, обвязав веревкой поясницу миссис Карафилис, спускала ее по подвальной лестнице. Вопреки своему желанию умереть как можно скорее, старая дама хранила неизменно испуганный вид на протяжении всего спуска, она хваталась за поручень, а глаза ее расширялись от страха за лишенными оправы стеклами очков. Иногда, когда она шествовала мимо, мы пересказывали ей последние новости о сестрах Лисбон, и она вскрикивала: «Мана!», что, по словам Димо, означало нечто среднее между «Боже мой!» и «Вот деръмо!», — но не случалось такого, чтоб она хоть на йоту проявила удивление. Там, за окошком, в которое она еженедельно бросала свой долгий взгляд, за пределами нашей улицы влакил свое горькое существование мир, умиравший вот уже много лет, — и кому, как не старушке миссис Карафилис, было знать об этом?

Ее собственная жизнь близилась к концу, и не смерть поражала ее, но упрямая настойчивость жизни. Она все силилась понять, почему сестры Лисбон вели себя так тихо, отчего не поднимали вой до небес и не сходили с ума. Глядя на то, как мистер Лисбон развешивает рождественские гирлянды, она качала головой, что-то при этом бормоча. Сняла руку со специального поручня, которым по периметру был обнесен весь первый этаж дома, сделала несколько нетвердых шагов безо всякой поддержки и впервые за семь лет не почувствовала боли. Димо так объяснил это остальным: «Мы, греки, народ угрюмый. Самоубийство для нас не пустой звук. Вывешивать гирлянды после того, как твоя собственная дочь наложила на себя руки, с нашей точки зрения, лишено всякого смысла. Моя йиа-йиа никак не может понять одного: почему в Америке все делают вид, будто постоянно испытывают счастье?»

Зима — сезон алкоголизма и отчаяния. Сосчитайте-ка пьяниц в России или самоубийц в Корнелле. Так много студентов во время экзаменов находятся на грани отчаяния в этом студенческом городке на холмах, что

университет, чтобы снять напряжение, давно распорядился устраивать в середине зимы большой праздник (широко известный как День самоубийц, этот праздник выскочил на экране среди результатов устроенного нами компьютерного поиска, наряду с «самоубийственной ездой» и «движущей силой самоубийства»). Нам невдомек, что заставляет всех этих ребят из Корнелла кончать с собой. Что подтолкнуло Бьянку, поставившую первую в жизни спираль, спрыгнуть с пешеходного моста в одном нижнем белье, когда все у нее еще было впереди; что подвигло мрачного экзистенциалиста Билла, который курил дешевые сигареты и ходил в плаще от Армии Спасения, не спрыгнуть, подобно Бьянке, но перелезть через перила и, вцепившись в них, еще долго висеть над водой, прежде чем разжать сведенные судорогой пальцы (растяжения плечевых мускулов выявлены у 33 процентов людей, избравших прыжок с моста в качестве способа расстаться с жизнью; остальные 67 процентов просто бросаются вниз). Мы упоминаем здесь обо всем этом только для того, чтобы показать наглядно: даже учащиеся колледжей (которым в принципе ничто не мешает в любой момент напиться или отвести душу в любовной связи) так или иначе лишают себя жизни. Вообразите теперь, каково же приходилось сестрам Лисbon, запертым в собственном доме, где нельзя было включить на полную громкость любимые записи или побаловать себя травкой.

Газеты, писавшие впоследствии, будто сестры заключили «пакт о суициде» (термин, придуманный репортерами), относились к ним как к автоматам в человеческом обличье, к существам, в которых настолько слабо теплилась жизнь, что смерть уже не могла стать для них большим событием. В отчетах мисс Перл месяцы страданий четырех девушек сведены к одному-единственному параграфу под заголовком «Когда молодежь не видит будущего». Сестры Лисbon предстают там неясными тенями, отмечавшими череду дней жирными черными «иксами» в календаре и сплетавшими руки в ими же придуманном ритуале Черной Мессы. Вообще, предположения о катанизме или о легкой форме черной магии нередко попадают в выводах мисс Перл. Она многое сумела выжать из того инцидента с сожжением пластинок и частенько цитировала тексты рок-песен, хоть как-то намекавшие на смерть или самоубийство. Мисс Перл завела дружбу с местным диск-жокеем и провела всю ночь, слушая любимые записи Люкс, список которых составили ее недавние одноклассники. Из этого своего «исследования» она вынесла одну находку, которой особенно гордилась, — песню группы «Круэл Крукс»<sup>[37]</sup> под названием «Девственница-самоубийца». Несмотря на то что ни мисс Перл, ни нам самим так и не удалось узнать, входила ли эта пластинка в число

сожженных Люкс по приказу миссис Лисbon, приводим припев из этой песни:

Юная девственница-самоубийца,  
Отчего слеза по щеке струится?  
Этот гибельный путь —  
Поверь мне, — лишнее...  
Ты меня угостила вишнкой,  
Девственница-самоубийца.

Можно не сомневаться, песня прекрасно увязывается с предположением о вселившейся в сестер темной силе, о некоем едином зле, что снимало с окружающих всякую ответственность. Их поведение, впрочем, никак нельзя было признать единодушным. Пока Люкс устраивала свидания на крыше, Тереза решила развести светящихся морских коньков в обыкновенном стакане, а чуть дальше по коридору Мэри часами гляделась в свое складное зеркальце. В овале из розовой пластмассы, зеркало было окружено маленькими лампочками, совсем как в театральных гримерных у актрис. Переключатель позволял Мэри выбирать свет в зависимости от времени суток и погодных условий. Ручка принимала положение «утро», «день» и «вечер», а также «солнечно» и «облачно».

Мэри часами могла просиживать перед зеркальцем, наблюдая за собой сообразно тому, как менялся этот искусственный мир. На солнце она носила темные очки и одевалась по погоде — в пасмурные дни. Мистер Лисбон замечал порой, с какой лихорадочной быстротой она щелкала переключателем, за один присест проживая по десять, а то и по двадцать дней; довольно часто Мэри удавалось уговорить кого-то из сестер выслушать перед зеркалом ее советы. «Видишь, эти круги под глазами становятся заметны в пасмурную погоду. Это оттого, что у нас бледная кожа. А вот на солнце... минутку... видишь, вот так, они исчезли. Значит, в облачные дни тебе следует наносить побольше тонального крема. А когда солнечно, лицу не хватает выразительности, так что нам нужен цвет. Помада и даже тени для век».

Луч журналистского расследования мисс Перл тоже как бы размывает черты сестер Лисбон. Описывая девушек, она то и дело навешивает им ярлыки: «загадочные одиночки», например; в одном месте она доходит до того, что заявляет, будто их «притягивал языческий аспект католицизма». Что под этим подразумевалось, мы не уяснили до сих пор, хотя многие

сочли, что речь шла о предпринятой сестрами попытке сохранить жизнь семейному вязу.

Наконец-то пришла весна. На деревьях набухли почки. Оттепель заставила замерзшие мостовые потрескаться. При ежегодном обходе мистер Бейтс насчитал несколько новых выбоин и отоспал свой список в Дорожный департамент. В начале апреля на нашу улицу вернулись сотрудники Парковой службы и принялись менять ленты, обмотанные вокруг приговоренных вязов, — желтые на красные с надписью: «Данное дерево страдает от заболевания, разносимого голландским жуком, и будет удалено с целью предотвращения дальнейшего распространения болезни по распоряжению Парк. ел.». Чтобы прочитать фразу целиком, пришлось бы трижды обойти ствол. Вяз перед домом Лисбонов (см. Экспонат № 1) оказался в списке смертников, и сразу по весне, не дожидаясь потепления, спилить его прибыл набитый рабочими грузовик.

Технология уже была нам знакома. Сначала человек в стеклопластиковой клетке поднимался к верхушке и, просверлив дырку в коре, прикладывался к ней ухом, словно бы прислушиваясь к слабеющему пульсу дерева; затем, безо всяких церемоний, он отсекал тонкие ветки кроны, и они сыпались прямо в подставленные им навстречу оранжевые рукавицы рабочих внизу. Те аккуратно складывали их в штабель, как складывают доски на лесопилке, после чего по одной скармливали электрической пиле в кузове грузовика. Труха летела во все стороны, так что и ныне, спустя многие годы, слой опилок на полу где-нибудь в старомодном баре напоминает нам о казненных вязах. Оголив ствол, рабочие шли к следующему приговоренному, а дерево оставалось стоять в наготе и печали, оно пыталось приподнять жалкие культи ветвей, и только его вынужденное безмолвие заставляло нас понимать, что прежде оно говорило с нами, не умолкая. Теперь наши вязы, будто подготовленные к казни смертники, напоминали жаровню перед домом семьи Балдино, и мы теперь только осознали, что, скрывая свой туннель для побега с помощью этого необычного изваяния, Сэмми-Акула проявил феноменальный дар предвидения: если в будущем обстоятельства заставят его воспользоваться подкопом, он исчезнет под одним из сотни одинаковых обрубков.

Обыкновенно люди выходили попрощаться со своими деревьями. Нередко можно было увидеть семью, собравшуюся на газоне, на безопасном удалении от пил: усталые мать с отцом, два-три длинноволосых подростка и пудель с ленточкой на шее. Люди полагали, что деревья принадлежат им. Их собаки ежедневно помечали их как свою собственность. Их дети устраивали в ветвях навесы для игр. Когда сюда

въезжали жители, вязы уже стояли на своих местах и явно рассчитывали остаться на месте, когда те решат податься в другие края. Но явились Парковая служба и срубила их один за другим. Стало ясно, что вязы принадлежат не горожанам, а городу, а тот может распоряжаться их судьбой по своему усмотрению.

Лисбоны, однако, не вышли из дома, когда обрезали ветки. Девушки с молочно-бледными лицами наблюдали за происходящим из окон второго этажа. То подскакивая вплотную к верхушке, то отступая от нее, человек в «люльке» отстриг могучую зеленую корону вяза. Он отсек и больную ветку, еще в прошлом году поникшую и пустившую желтые листья. Не остановившись на этом, он удалил и здоровые ветки, и на газоне Лисбонов остался в одиночестве скучный серый столб, еще недавно бывший деревом. Когда рабочие отъехали в сторону, мы уже и сами не понимали, живо оно или погибло.

Дней десять мы провели в ожидании, что сотрудники Парковой службы вот-вот вернутся, чтобы завершить начатое, но они появились лишь три недели спустя. На этот раз из грузовика выбрались сразу двое рабочих с электропилами в руках. Они обошли ствол, обмеряя его, а затем приладили пилы на поясе и дернули за шнурки стартеров. В это время мы сидели в подвале у Чайза Бьюэлла, резались в бильярд, но завывания пил настигли нас и там, проникнув сквозь щели и балки потолка. Застучали, сотрясаясь, алюминиевые трубы отопления. Ярко окрашенные шары затрепетали на зеленом сукне стола. Шум электропил наполнил наши головы, подобно визгу бормашины у зубного врача, и мы выбежали наружу, чтобы своими глазами увидеть, как их зубья врезаются в вяз. Спасаясь от летящих опилок, рабочие нацепили защитные очки, но, обходя вокруг дерева, сохраняли скучающий вид палачей, привычных к подобным расправам. Они свернули трепещущие ленты с предупредительной надписью. Один сплюнул табачную жижу. Затем, вновь запустив моторы пил, они уже собирались разрезать вяз на куски, когда из грузовика выпрыгнул, яростно размахивая руками, их бригадир. Прямо по газону тесной фалангой к рабочим бежали сестры Лисбон. Мистер Бейтс, наблюдавший за этим, вспоминал, что подумал в ту секунду, будто девушки собрались броситься прямо на лезвия: «Они спешили к рабочим. И в глазах у них стояло безумие». Работники Парковой службы не могли взять в толк, отчего вдруг бригадир запрыгал и замахал руками. «Очки мешали мне смотреть по сторонам, — рассказывал один из них. — Девушки прошмыгнули под самой пилой. Хвала небесам, я вовремя их увидел». Опешив от неожиданности, оба рабочих отступили, подняв ревущие пилы.

Сестры Лисбон пробежали мимо, играя, возможно, в пятнашки или в какую другую игру. Они пару раз оглянулись, будто опасаясь, что их запятнают. Но вот они оказались в безопасности. Рабочие выключили пилы, и дрожь в воздухе постепенно замерла. Девушки окружили дерево, крест-накрест сцепив руки.

— Убирайтесь, — потребовала Мэри. — Это наш вяз.

Они стояли, повернувшись лицами не к рабочим, а к дереву, прижимаясь к его коре щеками. На ногах у Терезы и Мэри были туфли, а Бонни и Люкс выбежали босыми, отчего многие из нас сочли попытку спасти дерево спонтанной, а не продуманной заранее. Девушки обняли ствол, который возвышался над ними, уходя в пустоту.

— Девочки, девочки, — произнес бригадир. — Вы опоздали. Дерево уже погибло.

— Это вы так считаете, — возразила Мэри.

— Там поселились жуки. Надо его спилить, чтобы зараза не перекинулась на другие деревья.

— Нет никаких научных подтверждений тому, что, убив дерево, вы предотвратите заражение, — заявила Тереза. — Эти деревья очень древние. Эволюция научила их самих бороться с паразитами. Почему бы не оставить все как есть, чтобы природа сама разобралась с жуками?

— Если все пустить на самотек, деревьев вообще не останется.

— Спилить их все, и тоже ничего не останется, — заметила Люкс.

— Если бы корабли не привезли сюда грибок из Европы, — продолжила Бонни, — ничего вообще бы не произошло.

— Девочки, этого джинна уже не загонишь в бутылку. Мы вынуждены применить нашу технологию, чтобы попытаться хоть что-то спасти.

Честно говоря, этого разговора могло и не быть. Мы собрали его воедино, пользуясь отрывочными сведениями, и можем ручаться лишь за общий смысл: сестры Лисбон нажимали на то, что деревья справляются с болезнью собственными силами и что люди слишком много на себя берут, считая, что могут им в этом помочь. Многие, впрочем, решили, что говорилось это, так сказать, для отвода глаз. Именно этот старый вяз, как доподлинно известно, был любимым деревом Сесилии. Его смолистое дупло еще хранило след ее ладошки. Миссис Шир вспоминала, что по весне Сесилия часто останавливалась под этим вязом, пытаясь поймать на лету пропеллеры его семян (у нас и самих возникают перед глазами эти зеленые семечки, спрятанные внутри тонкого волокнистого крыльышка, и то, как, вращаясь, они слетают к земле, но мы не уверены, были это семена вязов или каштанов, а под рукой у нас нет ботанического справочника,

настольной книги всех радетелей природы). Во всяком случае, многие из наших соседей подумали, что дерево просто напоминало девушкам о Сесилии. «Они не пытались спасти вяз, — объясняла миссис Шир. — Они хотели сохранить память о сестре».

Дерево тем временем окружили тройным кольцом: сначала бледные лица сестер Лисбон вокруг ствола, за ними рабочие Парковой службы в зеленых форменных комбинезонах и чуть поодаль — разноцветное кольцо зевак. Постепенно хмурясь, рабочие пытались уговорить девушек, урезонить, предлагали покатать их на грузовике, но в итоге в ход пошли угрозы. Бригадир отпустил подчиненных на ленч, посчитав, что девушки откажутся от своей затеи, но и сорок пять минут спустя они все еще стояли, опоясав дерево живым кольцом. Наконец бригадир направился к дому, чтобы поговорить с мистером и миссис Лисбон, но, к нашему удивлению, те не предложили свою помощь. Они вместе открыли дверь, причем одной рукой мистер Лисбон обнимал жену за плечи, едва ли не впервые так откровенно демонстрируя свою привязанность.

— У нас распоряжение спилить ваш вяз, — заявил бригадир. — Но ваши дочери нам мешают.

— С чего вы взяли, будто дерево болеет? — спросила миссис Лисбон.

— Вы уж мне поверьте. Мы-то знаем. У него желтые листья. Верней, у него были желтые листья. Эту ветку мы уже спилили. Господи боже мой, дерево уже мертвое.

— Мы за аритекс, — вставил мистер Лисбон. — Вам знакомо слово? Дочь показывала нам статью в журнале. Это куда менее агрессивная терапия.

— И она не срабатывает. Послушайте, мы оставим это дерево, и через год погибнут все остальные.

— Судя по всему, именно к этому идет, — возразил мистер Лисбон.

— Мне не хотелось бы вызывать полицию.

— Полицию? — с недоумением переспросила миссис Лисбон. — Девочки стоят на своем участке. С каких пор это считается преступлением?

Бригадиру пришлось отступить, но свою угрозу он так и не выполнил. Вернувшись к грузовику, он обнаружил сразу за ним синий «понтиак» мисс Перл. Штатный фотограф из газеты уже вовсю щелкал камерой (эти снимки появятся затем в печати). Не прошло и часа с тех пор, как сестры начали свою осаду, а мисс Перл была уже тут как тут, но она ни за что не хотела признаться, кто предупредил ее о происходящем. Кто-то предположил, что девушки сами позвонили ей, стремясь устроить скандал погромче, но узнать наверняка уже нельзя. Фотограф продолжал съемку,

когда бригадир велел рабочим сесть в грузовик. На следующий день в газете появилась небольшая заметка, и рядом с ней нечеткая фотография: сестры Лисбон обнимают дерево (Экспонат № 8). Казалось, они поклоняются ему, подобно юным дриадам. По фото никак нельзя сказать, что дерево оканчивается голым обрубком всего в двадцати футах над их набожно склоненными головами.

«В среду четыре сестры Сесилии Лисбон (девочки из восточного пригорода, покончившей с собой прошлым летом, чей поступок привлек внимание к поистине национальному масштабу проблемы подростковых самоубийств) подвергли себя значительному риску в попытке сохранить вяз, который был особенно дорог Сесилии. В прошлом году дереву был поставлен диагноз — заражение голландским жуком, — и нынешней весной его должны были уничтожить». Из этой цитаты видно, что мисс Перл придерживалась теории, которая объясняла поступок девушек желанием спасти вяз в память о сестре; зная о дневнике Сесилии, мы не видели смысла спорить. Так или иначе, когда мы, спустя годы, заговорили об этом с мистером Лисбоном, он решительно воспротивился подобному толкованию: «Деревья были страстью Терезы. Это она знала о них все. Могла перечислить все виды, какие только бывают, рассказать, насколько глубоко каждое пускает корни. По правде говоря, я не помню, чтобы Сесилия интересовалась растительным миром».

Лишь после того как сотрудники Парковой службы отъехали прочь, девушки разорвали свою живую цепочку. Потирая затекшие руки, они вернулись в дом, не бросив даже мимолетного взгляда на нас, высыпавших на соседские лужайки. Чейз Бьюэлл слышал, как, поднимаясь на крыльце, Мэри сказала: «Они еще вернутся». Мистер Патц, стоявший в числе других наблюдателей, вспоминал: «Я был на их стороне. Когда парни из Парковой службы укатили, я чуть в ладости не захлопал».

Дерево выжило, на какое-то время. Руководствуясь своими списками, Парковая служба двинулась дальше по улице, спиливая вязы в нашем квартале, но больше ни у кого не хватило решимости воспротивиться. Так ушел в небытие вяз Бьюэллов, вместе с качелями из автомобильной покрышки; вяз Фузилли исчез, как и не бывало, в один прекрасный день, пока мы не вернулись из школы; да и вяз Шалаансов тоже сгинул. Вскоре Парковая служба занялась другими кварталами, хотя забыть о наших вязах нам, да и сестрам Лисбон тоже, не давал все тот же навязчивый стрекот пилы.

Начался бейсбольный сезон, и мы потерялись в зелени игровых полей. В старые времена мистер Лисбон порой приводил девочек посмотреть

игры городских команд, и они сидели рядом на трибуне, как и все вокруг, завороженные зреющим. Мэри, улучив минутку, подходила поболтать с девчонками из «группы поддержки». «Ей хотелось стать одной из нас, но мать ни за что не разрешила бы, — рассказала нам Кристи Маккалхан. — Я показывала ей, бывало, основные движения, и у нее совсем неплохо получалось». Еще бы, мы-то сами уж точно предпочитали смотреть на сестер Лисbon, а не на дурацкую «группу поддержки». Когда счет бывал почти равным, они кусали кулаки и верили, что каждый мяч, взмывавший высоко над полем, принесет «нашим» желанную победу. Они качали головами, а потом, как раз когда мяч падал, не долетев до зоны, в рукавицу дальнего игрока, вскачивали, готовясь завопить от восторга. В год, когда произошли все эти трагедии, девушки не посетили ни единой игры, да мы и не ожидали встретить их на стадионе. Постепенно мы перестали высматривать их лица на зрительских местах и забираться под трибуны, чтобы увидеть то немногое, что можно было различить издалека — сестры Лисbon, вид со спины.

\* \* \*

Хотя мы сочувствовали сестрам и продолжали думать о них, они потихоньку начали ускользать от нас. Их образы, которые мы лелеяли в памяти, — в одних купальниках девушки перепрыгивают через садовый водомет или убегают от тугого шланга, похожего на гигантскую змею, — стали тускнеть, и неважно, с каким благоговением мы вспоминали их в те интимные моменты, когда лежали в кровати рядом с двумя перетянутыми ремнем подушками, изображавшими спящую подругу. Мы больше не могли в точности воссоздать внутренним слухом мелодию их высоких голосов. Даже жасминовое мыло, купленное в «Якобсенс», бережно хранимое в старой хлебнице, пахло теперь, как размокший коробок спичек. Тем не менее то обстоятельство, что девушки медленно тонули в толще времени, не овладело нашим сознанием до конца, и в отдельные дни, едва проснувшись, мы окунались в мир, не изведавший боли: мы потягивались, выбирались из постели, и только протирая глаза у окна, вспоминали об умирающем через улицу доме с почерневшими от пыли стеклами, прятавшими от нас девушек. Истина была проста: мы начинали забывать сестер Лисbon, но ни о ком другом думать не могли.

Цвет их глаз стал блекнуть, как притупились в памяти все их родинки, ямочки и царапины. Минуло столько времени с того дня, когда сестры

смеялись в последний раз, что мы уже не могли вообразить себе их улыбки с тесным рядом зубов. «Теперь они только воспоминания, — печально сказал Чейз Бьюэлл. — Пришла пора сбросить их со счета». Но даже произнося эти страшные слова, Чейз внутренне воспротивился, как и все мы. И вместо того чтобы окончательно предать девушек забвению, мы вновь достали сувениры, попавшие в нашу собственность за время той странной опеки, что давным-давно мы взяли над ними: сапоги с отворотами, принадлежавшие Сесилии, микроскоп Терезы, мучнисто-белый локон с головы Мэри (на ватной подушечке в футляре для драгоценностей), фотокопия пластиковой карточки Сесилии с изображением Девы Марии, колпачок от тюбика помады, оброненный Люкс. Мы высыпали все это посреди гаража Джо Ларсона, оставив приоткрытой автоматическую дверь, чтобы видеть, что происходит снаружи. Солнце уже село, и небо налилось темнотой. С отступлением Парковой службы улицы снова принадлежали нам. Впервые за целые месяцы в доме Лисбонов включился свет, который почти сразу и погас. Еще одна лампочка, в соседней комнате, моргнула ему в ответ. Вокруг уличных фонарей появился мутноватый ореол, который настолько был нам знаком, что поначалу мы даже не признали его: хаотичный орнамент экстаза и безумия, мельтешение первых в этом сезоне мошек.

Миновал год, а мы так толком ничего и не узнали. Девушки сократили свое число с пяти до четырех, чтобы всем вместе — и живым, и мертвый — превратиться в тени. Даже разложенное у наших ног разнообразное имущество не подтверждало их существования, и уже ничто не казалось таким безликим, как эта шикарная виниловая сумочка с позолоченной цепочкой, которая могла принадлежать любой из сестер или даже любой девушке на свете. Все более и более нереальным казалось нам, что еще недавно они были так близко, что мы могли, проходя мимо, по очереди вдохнуть аромат шампуней, которыми пользовались сестры Лисбон: вдоль цветочного луга, по лимонной аллее, в усыпаный зелеными яблоками сад.

Сколько еще мы могли бы сохранять свою преданность сестрам? Как долго мы могли бы хранить чистоту их памяти? Выходило, что мы теперь не были с ними знакомы, и их новые привычки (открывать окно, например, чтобы выбросить смятое в комок бумажное полотенце) заставляли нас призадуматься: а знали ли мы их вообще, или же все наши старания увенчались тем, что у нас остались лишь отпечатки пальцев бесцелесных фантомов? Наши счастливые талисманы были бессильны помочь. Шотландка, которую Люкс надевала в школу, вызывала на ощупь только слабое воспоминание о том, как она выглядела в классе — усталая рука

тянется к булавке юбки, расстегивает ее, оставляя свободные складки на коленях, они в любой момент могут раскрыться, упасть с колен, но никогда, никогда... Нам приходилось по несколько минут тереть юбку, чтобы увидеть это с прежней ясностью. И любой другой слайд в нашем проекторе успел выгореть подобным же образом; мы щелкали кнопкой, но кусочек цветной пленки так и не попадал в фокус, заставляя нас таращиться на мертвенно-белую гусиную кожу пустого экрана.

Мы могли и вовсе потерять их, если бы сестры Лисbon сами не наладили с нами контакт. Едва мы отчаялись когда-нибудь увидеть их снова или оказаться рядом с ними, нам стали попадаться все новые картинки с Богородицей. Мистер Хатч нашел одну под дворником на стекле своей машины и, не осознав всей важности ситуации, скомкал и бросил в пепельницу. Ральф Хатч обнаружил ее потом под слоем окурков и пепла. Когда он принес ее нам, карточка была прожжена в трех местах, но мы сразу увидели, что она ничем не отличалась от той Девы Марии, которую Сесилия прижимала к груди в ванной, а протерев ее от копоти, ясно различили на обороте номер телефона: «555-Мэри».

Хатч был не единственным, кто совершил подобную находку. Миссис Хессен нашла одну такую карточку прямо на шипе в розовых кустах. Джои Томпсон как-то услышал незнакомый шорох в том звуке, с которым проворачивались колеса его велосипеда, и, опустив голову, увидел изображение Марии, мелькавшее между спиц. Наконец, Тим Вайнэр наткнулся на такую же карточку, приклеенную к окну его комнаты, лицом Святой Девы внутрь. Картинка провисела там какое-то время, сказал он нам, судя по тому, что влага уже сумела пробраться под пленку и покрыла лицо Марии гангренозными пятнами. В остальном она выглядела так же: синяя накидка и шитый золотом парчовый воротник. На голове — корона, точно как на пачке маргарина «Империал», талия опоясана четками, а на лице Пресвятой Матери то блаженное выражение, какое бывает у нервнобольных после приема лития.<sup>[38]</sup> Никто ни разу не видел, как девушки оставляют карточки, и никто не мог догадаться, зачем им это понадобилось. Тем не менее даже и теперь, спустя столько лет, мы с легкостью припоминаем ту дрожь, которая охватывала нас всякий раз, когда кто-то приносил новую Марию. Все это имело определенный смысл, несло в себе некое тайное знание, которое мы не вполне могли ухватить, а рваные края и плесень придавали этим находкам вид археологических редкостей. «Ощущение подобно тому, — записал в своем дневнике Тим Вайнэр, — какое может появиться на раскопках в Помпеях, когда видишь браслет какой-нибудь задохнувшейся едким дымом девочки. Она едва

успела надеть его на ножку и любовалась им у окна, когда прозрачные камешки вдруг сверкнули багровым отблеском льющейся лавы» (Вайнер прочел немало книжек Мэри Рено<sup>[39]</sup>).

Постепенно мы укрепились в уверенности, что сестры Лисбон подают нам и другие сигналы, помимо картинок с Девой Марией. Как-то в мае китайский фонарь в комнате Люкс принял моргать неразборчивой морзянкой. Каждый вечер, когда на улицах сгущались сумерки, в ее окне загоралась лампа и покачивающийся под действием тепла волшебный абажур оставлял на стенах причудливые тени. Мы считали, что эти тени стараются нам что-то передать, и бинокли подтвердили эту догадку, но послания, увы, были написаны китайскими иероглифами. Казалось, лампа загорается и гаснет не просто так, но эта схема менялась раз от раза — три коротких включения, два длинных, два длинных, три коротких — после чего как-то раз вспыхнул верхний свет, осветив комнату, словно музейную витрину. Во время этой краткой экскурсии по интерьерам конца XX столетия мы почтительно стояли за шелковыми шнурками и глазели издалека: вот изголовье кровати от «Сиерс» и ночной столик из того же гарнитура, вот ночник Терезы, с символикой «Аполлона 11», выхватывает из тени плакат с Билли Джеком<sup>[40]</sup> в натуральную величину, в черной шляпе с прямыми полями и поясом индейцев навахо. Осмотр длился не более полуминуты, по истечении которой комната вновь погрузилась во тьму. Затем, словно отвечая сигналом на сигнал, свет дважды зажегся в комнате Бонни и Мэри. За окнами никого не было видно, а свет загорался и вновь потухал так беспорядочно, что это трудно было связать с привычными домашними нуждами. Мы не видели этому объяснения.

Тем не менее каждую ночь мы пытались проникнуть в суть шифра. Тим Вайнер начал отмечать вспышки механическим карандашом, но мы каким-то образом догадались, что все эти «точки-тире» не найдут соответствия ни в одной из известных человеку систем коммуникации. В иные вечера этот неверный свет действовал на нас так гипнотически, что мы возвращались в сознание, напрочь позабыв, где находимся или чем только что занимались, и лишь бордельный от свет китайского фонаря Люкс заполнял наши черепные коробки.

Далеко не сразу мы заметили странное свечение в бывшей спальне Сесилии. Наблюдая за вспышками на другом конце дома, мы не различили красно-белые булавочные уколы, мерцавшие за окном, из которого она выпрыгнула десять месяцев тому назад. И заметив их наконец, мы никак не могли прийти к согласию, решая, что же это такое на самом деле. Кто-то

полагал, что огоньки были тлеющими кончиками благовонных палочек, возжигаемых сестрами во время какой-то тайной церемонии, тогда как другие говорили, что это просто горящие сигареты. «Сигаретная теория», впрочем, сразу доказала свою несостоятельность, мы убедились, что огоньков куда больше, чем вероятных курильщиков, и к тому моменту, как мы насчитали шестнадцать, загадка, по крайней мере отчасти, была раскрыта: в комнате Сесилии девушки соорудили святилище в память о погибшей сестре. Те из нас, кто ходил в церковь, рассказывали, что окно напомнило им грот в католической церкви святого Павла на озере, но вместо правильных ровных рядов, где каждая свеча ставится в память усопшей души, сестры Лисbon устроили целую фантасмагорию сигнальных огней. Они соскребли потеки с обеденных свечей и скатали один большой парафиновый ком, вокруг которого закрепили фитиль. Они смастерили десяток светильников из многослойной ароматической свечи, купленной Сесилией на уличном лотке. Они запалили, кроме того, те шесть коротких свечей, что мистер Лисbon хранил в шкафу на втором этаже на случай перебоев с электричеством. Они подожгли три тюбика принадлежащей Мэри губной помады, которая на удивление хорошо горела. Свечи стояли повсюду — на подоконнике, в чашках, прицепленных к крючкам для одежды, внутри старых цветочных горшков, в обрезанных картонках из-под молока. Ночью мы видели, как Бонни следит за этими огоньками, поддерживая свет. Порой, найдя заплывшую свечу, она ножницами процарапывала канавки для воска, но часто просто наблюдала за мерцанием гаснущего огня — так, словно результат этой борьбы мог оказаться на ней самой: огоньки почти погибали, но каким-то чудом, объяснимым разве что жаждой кислорода, продолжали гореть.

Свечи доносили мольбу не только к трону Господню, но и к нам. Китайский фонарик продолжал посыпать свой неразборчивый SOS. Верхний свет явил нашим глазам запустение в доме Лисбонов и показал напоследок Билли Джека, совершившего месть над насильником своей сестры с помощью ненавистных ему приемов карате. Призывы сестер Лисбон получали только мы одни и никто больше — как те сигналы, которые ловили порой наши самодельные рогатые антенны. По ночам, даже закрывая глаза, мы все еще видели красноватые пятна, окружавшие наши постели подобно стайке светлячков. То, что мы не могли им ответить, наделяло таинственные сигналы еще большим значением. Мы ежедневно усаживались наблюдать за представлением, которое видели лишь мы одни, всякий раз мы вот-вот готовы были поверить, что найден ключ, который сделал бы эти послания более внятными, и Джо Ларсон даже пробовал

ответить, мигая светом в своей спальне. Результат огорошил нас — дом Лисбонов погрузился во тьму, и мы смутились, словно нас отчитали за непозволительную шалость.

Первое письмо появилось 7 мая. Оно попало в ящик Чайза Бьюэлла вместе со всей почтой и не имело ни штампа, ни адреса отправителя, но, вскрыв конверт, мы сразу узнали лиловый фломастер, которым любила писать Люкс.

*Милый Кто-Нибудь,  
Передай Трипу, я не желаю его знать.  
Он настоящий подонок.  
Угадай, кто.*

И больше ни словечка. В ближайшие несколько недель появились и другие письма, очень разные по настроению, и каждое принесли в наши дома сами девушки под покровом глухой ночи. Нам не давала покоя мысль о том, что они выбираются из заточения и ходят по нашей улице, и несколько ночей мы не ложились спать в надежде увидеть их. Каждый раз мы открывали глаза утром, понимая, что заснули на посту. В почтовом ящике, будто монетка, оставленная под подушкой Феей молочных зубов,<sup>[41]</sup> нас ожидало новое письмо. Всего их пришло восемь. И далеко не все были написаны рукой Люкс. Все восемь не имели подписи. Все были предельно кратки. В одном мы прочитали только: «Еще помните нас?» В другом стояло: «Долой противных мальчишек!» В третьем: «Следите за нашими огнями». Самое длинное из всех гласило: «В этой тьме да возникнет свет. Захотите ли вы помочь нам?»

При свете дня казалось, что в доме Лисбонов никто не живет. Но мусор, который семья выносила раз в неделю (также под покровом ночи, поскольку не видел их никто, даже дядюшка Такер), с каждым днем все больше напоминал отходы крепости перед долгой осадой. Лисбоны питались консервированной лимской фасолью. Они приправляли рис тушенкой. По вечерам, когда свет в окнах на втором этаже принимался мигать, подавая нам сигналы, мы ломали головы над тем, как нам все-таки связаться с сестрами. Том Фа-хим предложил запустить перед домом бумажного змея и надписать что-нибудь большими буквами, но его предложение было отклонено большинством голосов, так сказать, по техническим причинам. Малыш Джонни Бьюэлл хотел было забросить девушкам в окно камень с привязанным к нему письмом, но мы опасались, что звон разбитого стекла заставит миссис Лисбон поднять весь дом по

боевой тревоге. В конце концов, ответ был так прост, что нам пришлось выдумывать его целую неделю.

Мы позвонили сестрам Лисбон по телефону.

В пожелтевшей от времени телефонной книге Ларсонов, точнехонько между Ликером и Литтлом мы разыскали нетронутую строку с номером Лисбона, Рональда А. Она помещалась примерно посередине правой страницы, не помеченная каким-либо значком или звездочкой, что вызвали бы в памяти отголосок былых страданий. Какое-то время мы просто смотрели на нее. И затем тремя указательными пальцами, сразу набрали этот номер.

В трубке прозвучало одиннадцать гудков, прежде чем мистер Лисбон ответил на том конце.

— Ну, что там произошло сегодня? — с ходу вопросил он измощденным голосом. Слова эти прозвучали невнятно. Прикрыв микрофон, мы ничего не ответили.

— Я жду. Сегодня я выслушаю всю чепуху, которую вы станете нести.

В трубке послышался какой-то шум, словно дверь приоткрылась в пустой коридор.

— Послушайте. Дали бы вы нам передохнуть, а? — пробубнил мистер Лисбон.

Наступила пауза. Дыхание с обоих концов, с полым механическим призвуком, столкнулось в электронном пространстве. Затем мистер Лисбон заговорил уже не своим голосом, то был резкий, высокий скрежет... Трубку схватила миссис Лисбон.

— Оставьте нас в покое! — возопила она и брякнула трубку об стол.

Мы продолжали ждать. Еще пять долгих секунд ее разгневанное дыхание свистело в наушнике, но, как мы и ожидали, связь не прервалась. На другом конце своей очереди ждал кто-то, скрытый пеленой тягостного молчания.

Наугад мы выдавили робкое «Здрасьте». Миг спустя чей-то сиплый голос чуть слышно ответил:

— Привет.

Слишком давно мы не слыхали сестер Лисбон, и это короткое слово не всколыхнуло воспоминаний. Оно прозвучало — видимо оттого, что было произнесено шепотом, — до неузнаваемости измененным, каким-то зажатым — голос упавшего в колодец ребенка. Мы не рассыпались, кому из сестер он принадлежал, и не знали, что говорить дальше. И все же мы все вместе цеплялись за невидимый провод линии — она, они, мы, — и вскоре в этом пустотелом туннеле телефонной сети к нашему молчанию

подключился посторонний разговор. Откуда-то из-под толщи вод мужчина продолжал говорить с женщиной. Мы отчасти услышали, отчасти угадали содержание их беседы («Я думала, если салат...» — «Салат? Ты доконаешь меня этими салатами»), но потом, наверное, освободился другой узел, потому что оба голоса внезапно свернули в сторону по какой-то незримой стрелке и оставили нас ждать в гудящей тишине, а голос, раздраженный, но уже более сильный, чем прежде, сказал:

— Черт. До скорого. — И на том конце повесили трубку.

На следующий день мы позвонили снова в то же время, и на сей раз трубку сняли сразу. Из осторожности мы подождали немного, прежде чем воплотить в жизнь план, разработанный накануне вечером. Поднеся трубку к одному из динамиков стереосистемы мистера Ларсона, мы поставили песню, которая сполна передавала наши чувства к сестрам Лисбон. Теперь мы уже не помним названия той вещи, и даже тщательный осмотр пластинок той эпохи не принес никакого результата. Вспоминается, впрочем, основная мысль песни, довольно сентиментальной, повествовавшей о тяжелых днях, о долгих ночных, о мужчине, ждущем у сломанного телефона-автомата в надежде, что тот каким-то чудом зазвонит, и о дожде, и о радуге. Аранжировка была по большей части гитарной, не считая одного перехода между куплетами, заполненного сочным, густым баритоном виолончели. Песня прозвучала от начала и до конца, вслед за тем Чейз Бьюэлл назвал наш номер, и мы нажали на рычаг аппарата.

На следующий день, точно в то же время, наш телефон зазвонил. Мы немедленно схватили трубку и после короткого замешательства (аппарат свалился на пол) услышали, как легла на виниловую дорожку игла проигрывателя и Джилберт О'Салливан запел, перекрывая своим глубоким голосом царапины и щелчки. Возможно, вы вспомните эту песню — балладу, где рассказывается о несчастьях, преследовавших молодого человека: родители умерли, а его нареченная не пришла к алтарю, и с каждым новым куплетом героя песни все сильнее и сильнее мучает одиночество. То была любимая песня миссис Юджин, и мы знали слова едва ли не наизусть: она часто напевала ее, колдую в кухне над кастрюлями. Эту песню мы никогда не принимали близко к сердцу, но, услышав знакомые слова, тихонько звучащие в телефонной трубке, попросту обомлели. Эльфийский голосок Джилберта О'Салливана звучал достаточно высоко, можно было представить, что это поет женщина. Текст мог быть страничкой из дневника, которую девушки читали нам на ушко, и несмотря даже на то, что их собственных голосов мы не услышали, песня сделала их образы в нашем воображении более яркими, более живыми, чем когда-либо

прежде. Мы ясно чувствовали, как на другом конце телефонного провода девушки сдувают пыль с иголки, как они держат телефонную трубку над вращающимся черным диском, уменьшив при этом громкость насколько возможно, чтобы их не подслушали. Когда песня кончилась, игла откатилась к последней дорожке, посылая в наши уши один и тот же повторяющийся щелчок (словно кусочек времени, переживаемый снова и снова). Джо Ларсон уже держал наготове наш ответ, и после того как мы поставили его на проигрыватель, сестры Лисбон опять-таки поставили свой, и вечер продолжался в том же духе. Большинство сыганных тогда песен мы запамятовали, но отрывок тех музыкальных переговоров, в карандаше, сохранился на обратной стороне обложки «Чая для земледельца»<sup>[42]</sup> из собрания Димо Карафилиса. Приводим его здесь:

Сестры Лисбон: «Естественно, вновь одинок», Джилберт О'Салливан

Мы: «У тебя есть друг», Джеймс Тейлор

Сестры Лисбон: «Где играют дети?», Кэт Стивенс

Мы: «Дорогая Пруденс», Битлз

Сестры Лисбон: «Свеча на ветру», Элтон Джон

Мы: «Дикие лошади», Роллинг Стоунз

Сестры Лисбон: «В семнадцать лет», Дженис Йан

Мы: «Закупоренное время», Джим Кроне

Сестры Лисбон: «Так далеко», Кэрол Кинг

Признаться, мы не уверены, что песни звучали в таком порядке: Димо Карафилис царапал их как пришлось. Впрочем, приведенные здесь названия вполне дают представление о том вечере. Поскольку Люкс сожгла свой хард-рок, в доме Лисбонов звучали в основном фолк-песни. Не заглушённые инструментовкой, чистые голоса взывали о равенстве и справедливости. Вступавшая время от времени кантри-скрипка вызывала в памяти страну, какой она была еще недавно. У певцов были покрасневшие на ветру грубоватые лица, они носили тяжелые рабочие ботинки. Песня за песней пульсировали тайной болью. Мы передавали теплую, запотевшую трубку от уха к уху, и удары барабанов звучали так ритмично, будто мы прижимаем ухо к груди одной из сестер. Иногда нам казалось, что сестры тихонько вторят куплетам, и это было почти то же самое, что сходить с ними вместе на концерт. Пластинки, которые ставили мы, все как одна пели о любви. С каждой новой песней, которую мы выбирали, мы пытались быть все откровенней, но сестры Лисбон оставались верны общим темам

(подавшись вперед, мы похвалили запах их духов; сестры отвечали, что так, скорее всего, пахнут магнолии). Постепенно наши песни становились все печальнее и слезливее. Вот тогда девушки и ответили нам песней «Так далеко». Мы сразу ухватились за эту перемену в их настроении (словно они задержали руку, случайно легшую на наше запястье) и, в свою очередь, поставили «Мост над бурными водами», увеличив при этом громкость: песня лучше всех прочих выражала наши чувства к сестрам, наше стремление помочь им во что бы то ни стало. Когда песня отзвучала, мы долго ждали ответа. После длинной паузы проигрыватель снова защелкал, и мы услыхали вступление, которое даже теперь, доносясь из репродукторов в супермаркетах, заставляет нас, замерев, невидящими глазами уставиться назад, в давно минувшие дни:

Эй, хотелось тебе когда-нибудь  
По ту сторону радуги заглянуть?  
Я знаю дорогу, ведущую в рай.  
Эй, детка, давай подпевай:  
Сны, они для тех, кто спит,  
Жизнь для тех, кто ею дорожит.  
И если тебе по душе моя песня,  
Давай долетим до радуги вместе.

Полная тишина в трубке. (Без всякого предупреждения сестры заключили нас в объятия, жарким шепотом признались нам в любви и стремглав выбежали из комнаты.) Несколько минут мы не шевелились, только прислушивались к телефонной линии. Потом раздались гневные гудки, и записанный на автоответчик голос потребовал, чтобы мы немедленно повесили трубку.

В самых смелых своих мечтах мы даже не подозревали, что сестры Лисbon могут отвечать нам взаимностью. Это внезапное откровение лишило нас последних сил, и мы улеглись прямо на ковер Ларсонов, пропахший кошачьим дезодорантом и, если принюхаться, кошачьей мочой. Все долго молчали. Мало-помалу разрозненные факты стали выстраиваться в цепочки, и мы, прозрев, увидели все в новом свете. Разве сестры не позвали нас в прошлом году на свою вечеринку? Разве они не помнили наших имен и адресов? Разве не выглядывали они из проделанных в грязных стеклах кружков, чтобы увидеть нас? Мы совсем забылись и, держась за руки, улыбались с зажмуренными глазами. Гарфангел

вытягивал в динамиках свои самые высокие ноты, но мы и не вспомнили о Сесилии.<sup>[43]</sup> Мы думали только о Мэри, Бонни, Люкс и Терезе, заблудившихся в этой жизни, лишенных возможности говорить с нами и только теперь робко подавших о себе весть. Мы перебрали в памяти последние месяцы школьной жизни, вдруг увидев то, на что раньше не обращали внимание. Однажды Люкс забыла дома учебник по математике, и им с Томом Фахимом пришлось пользоваться одним на двоих. На полях книги она написала: «Хотелось бы мне выбраться отсюда». Насколько глубоко было это желание? Поразмыслив, мы решили, что сестры все это время пытались заговорить с нами, попросить нас о помощи, но мы были слишком увлечены, чтобы их услышать. Мы так сосредоточенно за ними наблюдали, что умудрились не пропустить ничего, кроме ответного взгляда, пристально изучавшего нас самих. К кому еще они могли бы обратиться за поддержкой? Уж точно не к своим родителям. И едва ли к соседям. За стенами собственного дома они были узницами, снаружи — отверженными. И посему прятались от мира, ожидая, чтобы кто-нибудь — мы! — явился на помощь.

Но в последующие дни все наши попытки дозвониться до Лисbonов не увенчались успехом. Безнадежные, отчаянно длинные гудки буравили нам уши. Мы воображали себе, как под грудой подушек без конца трезвонит аппарат, в то время как девушки не находят себе места, напрасно ожидая звонка. Так и не добившись толку, мы купили сборник лучших записей группы «Брэд» и без конца ставили песню «С тобою вместе». Какое-то время нас не оставляла мысль о том, чтобы прорыть ход из подвала Ларсонов прямиком через улицу. Землю можно было бы выносить в отворотах штанин и высыпать во время прогулок, как в фильме «Великий побег». Напряжение к тому моменту настолько овладело нами, что мы далеко не сразу вспомнили о водостоке на случай грозы. Вспомнив, мы обследовали трубы, но они были затоплены: в том году вода в озере поднялась особенно высоко. Это тоже отпадало. У мистера Бьюэлла была раздвижная лестница, которую мы с легкостью могли бы приставить к окнам сестер. «Настоящая история с побегом и тайной женитьбой», — восхитился Оджи Кент, и после этих слов перед нашими беспокойными глазами так и встал картина: краснолицый мировой судья из какого-нибудь захолустного городка, спальный вагон в поезде, бегущем в夜里 по голубым пшеничным полям... Чего мы только не навоображали себе, дожидаясь хоть какого-нибудь знака.

Разумеется, ничто из этого — ни пластинки, ни таинственные вспышки света, ни картинки с Девой Марией — не попало в газеты. Мы

считали, что все, связанное с сестрами Лисбон, принадлежит только нам, и хранили свою тайну даже тогда, когда это потеряло всякий смысл. Мисс Перл (позднее опубликовавшая книжку, в которой имелась целая глава, посвященная семье Лисбон) описывала, с какой неотвратимостью таяли душевные силы сестер, подталкивая их к краю пропасти. С особой патетикой останавливается она на их последних попытках примириться с жизнью — Бонни поддерживает огонь в святилище Сесилии, Мэри носит свитера ярких цветов, — но каждый кирпичик, с помощью которого сестры воздвигали свое убежище, по мнению мисс Перл, с изнаночной стороны был покрыт червоточинами и плесенью. Свечи, словно волшебное зеркало, стали границей между мирами: они звали Сесилию вернуться назад, но и призывали других сестер присоединиться к ней. Яркие свитера Мэри лишь подчеркивали ее отчаянное стремление быть красивой, столь свойственное девушкам в ее возрасте, тогда как бесформенные платья Терезы свидетельствовали о «занизженности ее самооценки».

Нам лучше знать. Спустя три ночи после обмена песнями мы увидели, как Бонни внесла в свою спальню черный чемодан. Водрузив его на кровать, она открыла крышку и принялась заполнять одеждой и книгами. Вошла Мэри и бросила в отверстый зев чемодана свое зеркало. Они заспорили о чем-то, и в припадке гнева Бонни вышвырнула кое-что из одежды, чтобы Мэри смогла уложить и свои пожитки — кассетный плеер, электрический фен и странный предмет, о назначении которого мы догадались лишь позже: дверной упор, отлитый из чугуна. Мы не знали, что у них на уме, но сразу отметили перемену в их поведении. Как будто они к чему-то готовились. Бесцельные блуждания по комнатам были позади. Первым их действия истолковал Пол Балдино: «Похоже, они решились на побег, — сказал он, опуская бинокль. Вывод прозвучал с уверенностью человека, который не раз становился свидетелем тому, как родственники исчезают то на Сицилии, то в Южной Америке, и мы сразу же ему поверили. — Ставлю десять долларов против пяти, к концу недели их и след простынет».

Пол оказался прав, хоть и не в том смысле, в каком он это говорил. Последняя записка на обороте глянцевой картинки с портретом Богородицы появилась в почтовом ящике Чейза Бьюэлла 14 июня. Там было только: «Завтра. В полночь. Ждите сигнала».

\* \* \*

Мошкары развелось уже столько, что разглядеть что-нибудь в окно было почти невозможно. Следующим вечером мы собирались на пустой стоянке у дома Джо Ларсона. Солнце успело зайти за горизонт, но небо еще пересекала яркая оранжевая полоса, будто оставленная химическим красителем, но казавшаяся прекрасней, чем все, что способна произвести на свет сама природа. Дом Лисбонов, выжидающее застывший напротив, был погружен во мрак, не считая красноватых отблесков в святилище Сесилии, почти скрытом от постороннего глаза. Снизу нам не был виден верхний этаж целиком, и мы уже хотели забраться на крышу к Ларсонам, когда нас остановил хозяин дома: «Я только что закончил смолить ее», — сказал мистер Ларсон. Мы вернулись на стоянку, а затем вышли на улицу и, присев у обочины, приложили ладони к асфальту, еще хранившему дневное тепло. От дома Лисбонов донесся было кисловатый запах, но тут же истончился настолько, что мы сочли его игрой воображения.

Джо Хилл Конли решил, как бывало, забраться на дерево, тогда как остальные посчитали, что уже вышли из этого возраста. Мы стояли, глядя, как он карабкается на молодой клен. Очень высоко Джо взобраться не мог: тонкие ветки не выдержали бы его вес. Так или иначе, Чейз Бьюэлл крикнул вверх: «Видно что-нибудь?», и Джо Хилл Конли сначала сощурился, а потом еще и оттянул уголки глаз руками (он полагал, что это надежнее, чем просто щуриться), но в итоге молча покачал головой. Впрочем, это подсказало нам идею, и мы перешли к своему старому штабу, устроенному на одном из деревьев. Сквозь листву мы пытались определить, в каком он теперь состоянии. Несколько лет тому назад во время сильной грозы часть крыши унесло ветром, и куда-то пропала наша гордость — дверная ручка; в остальном же строение по-прежнему выглядело обитаемым.

Мы забрались наверх точно тем же маршрутом, как делали это всегда: надо только вставить ногу в дупло, потом перешагнуть на приколоченную к стволу доску, потом на два согнутых гвоздя, а потом уже, ухватившись за обмочаленный канат, подтянуться к входному люку. Мы так выросли, что едва протиснулись внутрь, доски на полу прогибались под нашим весом. Овальное окошко, выпиленное ножовкой много лет назад, по-прежнему смотрело прямо на участок Лисбонов. Рядом с ним к стене штаба ржавыми кнопками были приколоты пять потускневших снимков сестер Лисбон: никто уже не помнил, как они здесь очутились, но они все-таки были тут, со следами времени и непогоды, так что мы едва различили силуэты девочек, каждая из которых казалась теперь светящейся литерой неведомого алфавита. Сверху нам было видно, как соседи выходили из

своих домов, чтобы полить газоны и клумбы, словно бы набрасывая на них серебристые, шелестящие лассо. Хриплый голос местного бейсбольного комментатора донесся до нас из радиоприемников, включенных где-то неподалеку, описывая, как разыгрывается неспешный сценарий, за которым мы не могли наблюдать сами, и крики болельщиков поднимались к верхушкам деревьев, чтобы исчезнуть высоко в небе. Темнота все сгущалась. Люди разошлись по домам. Мы попробовали разжечь фитиль старой керосиновой лампы, который загорелся, питаясь невидимым топливом, но уже через минуту в окно хлынул поток мошек, и лампу пришлось погасить. Мы слышали, как крошечные тельца насекомых барабанили по стеклам уличных фонарей, будто град волосяных шариков, как они лопались под шинами проезжавших мимо автомобилей. Когда мы привстали, за нашими спинами на стенах остались следы раздавленных мошек. Вялые, словно уснувшие, если только не попытаться поймать их, мошки яростно бились крыльями о наши пальцы, не даваясь в руки, а потом садились то здесь, то там на стены и потолок, чтобы опять погрузиться в дрему. Они грязной пеной затенили огни на улице, покрыли тусклые окна домов маскировочной сеткой, похожей на декорации в театре. Мы устроились поудобнее, на веревке втянули в люк упаковку теплого пива, а потом сидели, и пили, и ждали.

Каждый из нас сказал дома, что переночует у друга, так что вся ночь была у нас впереди: мы спокойно могли сидеть здесь, попивая пиво, пока нас никто не тревожил. Но ни в сумерки, ни еще позже мы так и не увидели свет в доме Лисбонов, если не считать огоньков наверху в святилище. Казалось, они тоже едва мерцают, и мы решили, что вопреки всем стараниям у девушек подошли к концу драгоценные запасы воска. Окно в спальне Сесилии светилось мутным пятном, напоминая аквариум, в котором давным-давно не меняли воду. Пристроив у оконца штаба принадлежащий Карлу Тейгелу телескоп, мы разглядели рябой лик Луны, бесшумно скользившей в ночном небе, а потом и голубую Венеру — но направив телескоп к окну Люкс, мы оказались настолько близко, что вообще ничего не увидели. То, что поначалу казалось изогнутым в постели ксилофоном ее позвоночника, превратилось всего лишь в декоративную лепку. Волокнистая ямка в половинке персика, оставленной на столике у кровати еще с тех времен, когда в доме появлялись свежие фрукты, дала повод множеству неприличных догадок. Всякий раз, когда нам казалось, что мы поймали очертания тела Люкс или вообще что-то движущееся, фрагмент оказывался слишком невелик, чтобы мы могли воссоздать общую картину; в конце концов мы сдались, сложили телескоп и теперь

полагались только на собственные глаза.

Полночь минула в молчании. Луна скрылась за тучами. В штабе материализовалась бутылка клубничного вина «Ферма Буна»; ее передавали по кругу, пока та не была осушена и не упокоилась затем в ветвях. Том Богус перекатился к люку штаба и пропал из виду. Спустя минуту мы услышали журчание в кустах у пустой стоянки. Мы оставались начеку достаточно долго, чтобы заметить, как появился дядюшка Такер с рулоном линолеума в руках: он укладывал его у себя в доме уже в тринадцатый раз в попытке совладать с однообразием своей жизни. Достав пиво из холодильника в гараже, он вышел на лужайку и огляделся, обозревая погруженные во мрак окрестности. Зайдя за дерево, он ждал, когда из дома выйдет Бонни, перебирая пальцами свои четки. Заняв эту выгодную позицию, дядюшка Такер так и не увидел заметавшийся в окне спальни свет фонарика и ушел в дом прежде, чем мы услыхали стук распахивающихся створок. К этому времени все наши взгляды были прикованы к окну. Передвигаясь по траве, луч фонарика рассеял тьму внизу. Затем верхний свет включился и погас — три раза подряд.

Поднялся ветерок. В черноте ночи затрепетали листья, и воздух наполнился сумеречным запахом, идущим из глубин дома Лисбонов. Никто из нас не может вспомнить, о чем мы тогда думали (и думали ли вообще?), что мы тогда решили — потому что в те минуты наше сознание забуксовало, отказываясь служить, даря нам то единственное мгновение мира и полного покоя, которое мы когда-либо знали. Мы притаились наверху, над улицей, примерно на той же высоте, что и сестры Лисбон в осыпающихся стенах своих спален, — и они взывали к нам. Послышился скрип дерева. Затем, на краткий миг, мы увидели их — Люкс, Бонни, Мэри и Терезу — в обрамлении оконной рамы. Они смотрели в нашу сторону, они глядели на нас над бездонной пропастью ночной улицы. Мэри послала нам воздушный поцелуй или же просто оттерла ладонью рот. Фонарик погас. Окно закрылось. И они исчезли.

Мы даже не задержались, чтобы обсудить увиденное. Слаженной группой, как десантники на задании, мы спрыгнули с дерева. То был прыжок наугад, и лишь коснувшись земли, мы осознали, насколько она была близка все это время: футов десять, не более. Подпрыгнув, мы почти могли достать рукою доски нашего штаба. Обретенный нами рост ошеломил нас, и позднее многие говорили, что это помогло нам найти в себе мужество: именно тогда, впервые в жизни, мы почувствовали себя мужчинами.

Мы подкрадывались к дому с разных сторон, прячась в тени

ущелевших вязов. По мере нашего приближения (кто-то полз по-пластунски, другие перебегали, согнувшись в три погибели) запах становился все сильнее. Казалось, сгустился сам воздух. Вскоре мы достигли невидимого барьера: многие месяцы никто не подходил к дому Лисбонов настолько же близко. Мы замешкались, но потом Пол Балдино поднял руку, подавая сигнал, и мы шагнули еще ближе. Прижимаясь плечами к кирпичной стене, мы осторожно продвигались вперед, пригибаясь под окнами, собирая волосами обрывки паутины. Остановившись в сырости захламленного заднего двора, Кевин Хед угодил ногой в брошенную там птичью кормушку, та раскололась пополам и на землю просыпался оставшийся внутри корм. Мы замерли, но свет так и не зажегся. Выждав минуту, мы медленно придвигнулись друг к другу. Комары атаковали нас, с пронзительным писком пролетая прямо над ухом, но мы не обращали на это внимания. Мы были слишком заняты, пытаясь различить в темноте под окнами сестер лестницу или связанные вместе простыни, по которым спускались бы сестры в белесыхочных рубашках. Чейз Бьюэлл напомнил нам шепотом, что он только что получил водительскую лицензию, и показал ключ от принадлежащего матери «кугара». «Мы можем уехать на моей машине», — предложил он. Том Фахим обследовал заросшую старую клумбу в поисках мелких камешков, чтобы, если понадобится, бросить их в стекло наверху. В любую секунду окно на втором этаже могло распахнуться, взламывая живую печать мошканы, и наконец показать нам лицо, которое мы видели бы отныне до конца дней.

У окна, выходящего во двор, мы набрались храбрости и заглянули внутрь дома. Пробившись взглядом сквозь хаотичное сплетение засохших комнатных цветов на подоконнике, мы различили убранство комнаты: прибрежный пейзаж из предметов с неясными очертаниями, то приближавшийся, то отдалявшийся от глаз, пока они привыкали к свету. Рабочее кресло мистера Лисбона выкатилось вперед с задранной на манер бульдозерного ковша подставкой для ног. Обтянутый коричневым кожзаменителем диван прокрался назад, притулившись у стены. Когда они двинулись прочь друг от дружки, пол комнаты, казалось, поднялся вверх, как сцена на гидравлическом приводе, и при свете одинокой маленькой лампы с плотным абажуром мы увидели Люкс. Она полулежала, откинувшись, на мешке с бобами, ее приподнятые колени разъехались в разные стороны, верхняя часть тела наполовину утонула в мешке, нависшем над Люкс и сковавшем ее движения, как смирительная рубашка. На ней были голубые джинсы и замшевые тапочки-сабо. Длинные волосы рассыпались по плечам. Во рту Люкс была зажата сигарета с длинной

полоской пепла на конце, вот-вот готовой упасть на пол.

Мы не знали, что предпринять дальше. Нам не у кого было получить необходимые инструкции. Мы касались лбами оконных стекол, прижимая ладони к лицу, чтобы лучше видеть, что там внутри. Стекло отлично проводит звуковые вибрации, и, подавшись вперед, мы могли различить, как ходят сестры где-то наверху, над нами. Что-то заскользило по полу, остановилось, двинулось дальше. Что-то глухо стукнуло. Мы убрали лица от окна, и вновь наступило полное спокойствие; а потом опять прилили к подрагивающему стеклу.

Теперь Люкс пыталась дотянуться до пепельницы. Не найдя ничего подходящего в пределах досягаемости, она стряхнула пепел прямо на джинсы и размазала ладонью. Пошевелившись, она сбросила оцепенение и вскоре поднялась с мешка, дав нам разглядеть свое облачение целиком — на ней был верх от купальника. Завязки лифа шли от шеи вниз по бледным плечам и резко выступающим ключицам, набухая в два желтых кармашка на груди. Лиф сидел немного криво, и когда Люкс потянулась, мы разглядели мягкую белую припухлость под правой полоской. «Июль, позапрошлый год», — шепотом выдавил Джо Хилл Конли, определивший дату, когда мы в последний раз могли видеть этот купальник. В очень жаркий день Люкс примерно пять минут ходила в нем по участку, прежде чем мать велела ей вернуться в дом и переодеться. Теперь же лиф напомнил о том, сколько минуло времени, обо всем, что случилось с тех пор. Прежде всего он заявил нам, что девушки собрались уехать, что с данной минуты они будут надевать лишь то, что придется по вкусу им самим.

«Может, стоит постучать?» — шепнул Кевин Хед, но никто из нас не отважился на столь решительный шаг. Люкс вновь присела на мешок. Затушила сигарету об пол. За ней, по стене, пробежала тень. Люкс быстро обернулась, но на ее губах тут же расцвела улыбка: бродячий котенок, которого мы прежде не видали, вскарабкался ей на колени. Девушка гладила не привыкшее к ласкам тельце, пока пушистый комок не спрыгнул на пол (это еще один факт, который мы должны упомянуть: вплоть до самого конца Люкс находила утешение в обществе бродячего котенка, который впоследствии покинул дом Лисбонов, как и эти страницы). Люкс прикурила еще одну сигарету. Осветив лицо пламенем спички, она скосила глаза на окно и подняла подбородок — мы уж решили, что она видит нас, но затем Люкс запустила в волосы пальцы. Нет, она просто изучала свое отражение. Свет в доме делал нас невидимками, и мы стояли, незримые, всего в нескольких дюймах от окна, словно бы взирая на Люкс из глубины иного пространства. Идущее от окна слабое свечение мерцало у самых

наших лиц. Наши тела растворились во тьме. Над озером, в ясную ночь, раздался стон баржи. Другая отвечала на более глубокой, басовой ноте. Петля купальника в любой момент могла соскользнуть с шеи.

Войдя первым, Том Фахим запятнал свою репутацию юноши скромного и нерешительного. Он поднялся по крыльцу черного хода, тихонько приоткрыл дверь и провел нас в конце концов в дом Лисбонов.

— Мы пришли, — только и сказал Том.

Люкс подняла взгляд, но не тронулась с места. Ее солнечные глаза не выдали удивления от того, что мы действительно решились войти, но ее шея быстро покраснела.

— Вовремя, пожалуй, — ответила она. — Мы вас ждали, ребята.

Люкс затянулась вновь.

— У нас есть машина, — продолжал Том Фахим. — Полный бак. Отвезем в любое место, куда вы только захотите.

— Это всего лишь «кугар», — пояснил Чейз Бьюэлл, — но бак у него довольно вместительный.

— Можно я сяду впереди? — спросила Люкс, скривив рот набок, чтобы вежливо выдохнуть дым в сторонку.

— Само собой.

— И кто же из вас, парни, составит мне компанию на переднем сидении?

Люкс подняла лицо к потолку и выдула одно за другим несколько колечек. Мы проследили за их полетом, и на сей раз Джо Хилл Конли не выбежал вперед, чтобы проткнуть какое-нибудь пальцем. Впервые мы могли осмотреться кругом. В доме запах ощущался сильнее, чем снаружи. То был запах сырой штукатурки, запах сточных труб, забитых бесконечными комками девичьих волос, запах покрытой плесенью мебели и заржавевших кранов. Тут и там еще были расставлены банки с остатками краски, сохранившейся с прежних счастливых времен. Вообще, у гостиной был такой вид, будто здесь побывали грабители. Телевизор со снятым экраном стоял вполоборота к стене, а перед ним был раскрыт принадлежащий мистеру Лисбону ящик с инструментами. У кресел отсутствовали подлокотники или ножки, словно Лисбоны топили ими камин.

— Где твои родители?

— Спят.

— А сестры?

— Сейчас спустятся.

Что-то громыхнуло наверху. Мы отпрянули к двери.

— Пошли, — позвал Чейз Бьюэлл. — Нам лучше убраться отсюда. Уже совсем поздно.

Но Люкс лишь затянулась снова, качая головой. Она просунула палец под полоску лифа на своей груди и поправила ее, открывая красный след на коже, оставленный лямкой. Все замерло вновь.

— Погодите, — сказала она. — Еще пять минут. Мы не успели собраться. Пришлось дожидаться, пока уснут родители. Они с трудом засыпают, особенно мама. Вечно у нее бессонница. Наверное, она и сейчас еще не спит.

Люкс привстала. Мы смотрели, как она поднимается с мешка, наклоняясь вперед, чтобы не упасть. Лиф, державшийся на тонких завязках, отделился от ее тела, так что нашим глазам предстала темная пустота между тканью и кожей, которую тут же заполнила мягкая плоть ее словно припудренных грудок.

— У меня ноги распухли, — заявила Люкс, поднявшись. — Хуже не придумаешь. Вот почему я ношу сабо. Вам нравится? — Она покачала тапочкой, удерживая ее на кончиках пальцев.

— Ага.

Теперь она стояла, выпрямившись во весь невеликий рост. Нам же пришлось напомнить себе, что все это происходит в действительности, что перед нами настоящая Люкс Лисбон и что мы правда находимся с ней в одной комнате. Она окинула себя беглым взглядом, поправила лямку, тронув большим пальцем открывшуюся нашим взорам припухлость справа. Затем Люкс вновь подняла лицо, будто заглядывая в глаза каждому из нас одновременно, и шагнула вперед. Она переставляла деревянные подошвы сабо, и тени обволакивали ее фигуру; Люкс приближалась, и мы слышали, как раздаются в темноте ее шаги. До нас донесся ее голос: «Мы все не поместимся в „кугаре“». Она сделала еще один шаг, и на лицо ее вновь лег слабый от света. Секунду-другую оно представлялось нам застывшей маской: лицо Люкс было слишком белым, изгиб ее щек был чересчур идеален, выгнутые брови казались нарисованными, а полные губы — слепленными из воска. Впрочем, затем она очутилась совсем рядом и в ее глазах мы различили свет, узреть который вновь тщетно пытались всю оставшуюся жизнь.

— Лучше взять машину моей матери, вам не кажется? Она больше. Кто из вас поведет?

Чейз Бьюэлл поднял руку.

— Как думаешь, ты справишься с семейной тачкой?

— Еще бы. — И, помолчав: — У нее автоматическая коробка, верно?

— Да.

— Справлюсь. Без проблем.

— Пустишь меня порулить немного?

— Конечно. Но надо поспешить. Я только что слышал какой-то шорох. Может, это твоя мать.

Люкс подошла к Чейзу Бьюэллу вплотную. Она подошла к нему так близко, что ее дыхание коснулось его волос. И затем, прямо перед всеми нами, Люкс расстегнула ему ремень. Ей даже не пришлось опускать взгляд. Ее пальцы твердо знали, чего хотят, и лишь однажды они встретили какое-то препятствие, что заставило Люкс мотнуть головой, как музыканта, случайно взявшего неверную ноту. Все это время она смотрела прямо в глаза Чейзу, медленно поднимаясь на цыпочки, и в полной тишине, снова овладевшей домом, мы ясно рассыпали, как расстегивается «молния» на брюках Чейза. Она открылась сверху вниз, до конца, от наших шей до самых копчиков. Никто не пошевелился. Чейз Бьюэлл не дрогнул. Глаза Люкс, горящие и бархатистые, сияли в полутиме комнаты. Сбоку у нее на шее тихонько пульсировала жилка — та, которую по этой самой причине полагается сбрызгивать духами. Даже если Люкс расстегивала брюки одного Чейза Бьюэлла, нам всем представлялось, что ее пальцы проделывают это именно с нами; они тянулись, чтобы завладеть нами, и Люкс точно знала, как это делается. И в самый последний миг откуда-то снизу донесся глухой удар. Наверху во сне закашлялся мистер Лисбон. Люкс застыла без движения. Она отвернула лицо, будто спрашивая совета у себя самой, после чего произнесла:

— Сейчас не время.

Она выпустила из пальцев пояс Чейза и отошла к двери.

— Мне надо немного пройтись, подышать свежим воздухом. Вы, ребята, задали мне работу. — Люкс улыбнулась затем некрасивой улыбкой, безыскусно, неловко.

— Я посижу в машине. А вы оставайтесь здесь и ждите моих сестер. У нас полно вещей. — Она пошарила на полке у двери и нашла ключ от машины. Шагнула прочь, но задержалась в дверях:

— Куда поедем?

— Во Флориду, — ответил Чейз Бьюэлл.

— Классно, — сказала Люкс. — Флорида...

Минуту спустя мы услышали стук захлопнувшейся в гараже автомобильной дверцы. Некоторые из нас припоминают чуть слышный мотивчик поп-песенки, сообщившей нам, что Люкс включила приемник. Мы ждали. Мы не знали толком, где находятся другие сестры. До нас

доносились звуки лихорадочных сборов — скрип дверцы шкафа, гул пружин кровати, принявших на себя вес чемодана. Наверху и внизу раздавались чьи-то шаги. Что-то протащили по полу подвала. Хотя природа этих звуков ускользала от нас, им сопутствовала какая-то четкость. Каждое движение казалось отрепетированным, было частью заранее разработанного, сложного плана бегства. Мы знали, что нам самим в этой пьесе отведена роль пешек, чья польза будет оценена лишь со временем, но это ни в коей мере не умаляло нашей радости. Мы только все отчетливее понимали, что уже очень скоро окажемся в одной машине с сестрами Лисbon, мы повезем их прочь из нашего зеленого пригорода, куда-то в абсолютную свободу окольных дорог, о существовании которых мы пока не подозреваем и сами. Мы сыграли в «камень-ножницы-бумага», определяя, кому ехать, а кому — остаться. Все это время нас не покидало чувство, что девушки вот-вот присоединятся к нам; оно делало нас совершенно счастливыми, и это счастье мы держали в себе, не выпуская наружу. Кто мог знать, что мы так быстро привыкнем к этим звукам? К мягкому шуму застегивающихся кармашков на крышках чемоданов? К тихому звону бижутерии? К эху шагов согнувшихся под тяжестью багажа сестер, выносящих вещи в скрытый от наших глаз коридор? Неизведанные трассы, незнакомые дороги уже сплетались в нашем воображении, громоздя узловатые маршруты. Мы представляли, как мы мчимся по бездорожью, оставляем новые просеки в диких лугах, пересекаем лесные ручьи и безлюдные дворы заброшенных фабрик. На какой-нибудь заправочной станции нам придется получить ключ от женской уборной, потому что сестры постесняются спросить его сами. Мы включим радио погромче и опустим стекла на дверцах машины.

В какой-то момент, пока мы с открытыми глазами видели свои сны, дом окончательно погрузился в тишину. Мы решили, что сестры закончили собирать вещи. Питер Сиссен вытащил из кармана фонарик-авторучку и совершил короткую вылазку в столовую, чтобы вернуться с сообщением: «Кто-то из них все еще внизу. На лестнице включен свет».

Мы стояли, поводя фонариком по сторонам, мы ждали девушек, но никто к нам так и не вышел. Том Фахим попробовал шагнуть на лестницу, но первая же ступенька встретила его таким отчаянным скрипом, что он вынужден был вернуться. Тишина в доме отдавалась в ушах гулким звоном. Мимо проехала машина, оживившая тени в столовой, на мгновение высветив фигуры колонистов на картине. Обеденный стол был завален зимними куртками в пластиковых пакетах; там и тут лежали бесформенные узлы. Дом походил на чердак, где годами собирался ненужный хлам, в

отсутствие хозяев наладивший между собой революционно новые отношения: тостер нежится в птичьеи клетке, балетные тапочки-пуанты выглядывают из плетеной корзины для рыбы.

Мы проложили извилистую тропу, обходя беспорядочно сваленные вещи, натыкаясь порой на оазисы, оставленные для игр — доска для трикtrakа, китайские шашки, — а затем вновь зарываясь в кучи, где смешались вместе венчики для взбивания яичных белков и резиновые сапоги. Мы вошли на кухню. Там было слишком темно, чтобы хоть что-то разглядеть, но мы услыхали тихое шипение, похожее на неестественно долгий вздох. Из подвала трапецией вырастал луч света. Мы подошли к ведущим в темноту ступеням и прислушались. Потом решили спуститься вниз.

Чейз Бьюэлл возглавлял нас во время спуска, и пока мы осторожно, держась за петли на ремне друг у друга, сходили вниз, время обернулось вспять, возвращая нас ровно на год, когда мы спустились по тем же самym ступеням, чтобы принять участие в единственном званом вечере, который сестрам Лисbon было позволено устроить. К моменту, когда мы наконец сошли, каждый из нас сполна успел ощутить себя путешественником во времени. Ибо, несмотря на дюймовый слой воды на полу, комната ничуть не изменилась с тех пор, как мы ее покинули: никто не явился сюда, чтобы прибрать за гостями той давней вечеринки в честь Сесилии. Украшенная мышиным пометом, бумажная скатерть так же покрывала стол. Коричневатая жидкость — все, что осталось от пунша, — стояла, запекшись, в хрустальной чаше, покрытая трупиками мух. Шербет растаял давным-давно, хотя черпак все еще торчал из клейкого осадка, а чашки, серые от пыли и паутины, так и не нарушили перед ним равнение в строю. С потолка на тонких лентах гроздью свисали сдувшиеся морщинистые шары. Костяшки домино все еще взывали о тройке или семерке.

Мы не могли понять, куда делись сестры. По воде пробежала рябь, словно что-то вдруг упало на дно. Журчащие трубы то и дело испускали сдавленный хрип, словно бы всасывая воздух. Вода лизала стены, ловя отражение наших розовых лиц и красных с синим флагжков над нашими головами. Произошедшие в комнате перемены — облепившие стены водяные жуки, меховой поплавок в виде мертвой мыши — только подчеркивали то, что в остальном здесь все осталось по-старому. Если бы мы, сощурившись, зажали в придачу носы, нам удалось бы обманом убедить самих себя в том, что вечеринка все еще продолжается. Баз Романо вброд подошел к карточному столику и под устремленными на него взглядами принялся танцевать, переступая ногами по невидимым

квадратам, — как учила его мать в папской роскоши их семейной гостиной. В объятиях он сжимал только воздух, но мы все могли видеть ее... их, всех пятерых сестер Лисbon, танцующих с Базом. «Эти девчонки сводят меня с ума», — объявил он, не замечая, как хлюпают в мокрой грязи его ботинки. Танец База всколыхнул воду, разнося по комнате запашок канализации, а после — сильнее, чем когда-либо — до нас донесся тот самый запах, который нам уже не забыть никогда. Потому что именно тогда мы увидели над головой База Романо то единственное, что появилось в игровой комнате с тех пор, как мы спешно покинули ее год тому назад. Среди наполовину сдувшихся воздушных шаров, в самой их гуще, свешивались вниз две скорлупки коричневых с белым кожаных туфель Бонни. Она привязала веревку на ту же баласину, где пылились оставшиеся с вечеринки украшения.

Никто из нас не шевельнулся. Баз Романо, не замечавший ничего вокруг, продолжал танцевать. Прямо над ним, в своем розовом платье, Бонни казалась чистенькой и праздничной, словно кукла-пиньята.<sup>[44]</sup> Прошла минута, прежде чем до нас дошел смысл этого зрелища. Мы во все глаза смотрели на Бонни, на ее тощие коленки в белых, купленных ко дню конфирмации чулках, и мало-помалу нами овладевал стыд, избавиться от которого нам уже не удастся. Позднее врачи объяснили нашу замедленную реакцию шоком. То наше состояние скорее имело оттенок тяжелого чувства вины, как будто мы явились помочь лишь в последний миг, когда было уже слишком поздно, как будто Бонни нашептывала нам на ухо тайну не только своей смерти, но и самой жизни, тайну жизни всех пяти сестер. Она была такая неподвижная. Ее тело казалось таким тяжелым. На подошвах ее промокших туфель поблескивали капельки слюды; они медленно скатывались вниз.

Мы никогда не знали ее. Нас привели сюда, чтобы мы смогли наконец это понять.

Никто из нас не запомнил, сколько мыостояли вот так, неслышно разговаривая с покинувшей ее тело душой. Наверное, достаточно долго, чтобы от нашего дыхания в комнате поднялся ветерок, заставивший тело Бонни качнуться на натянутой веревке. Она медленно повернулась, и на краткий миг ее лицо выглянуло из-за повисших как водоросли сморщеных шаров, показав нам всю реальность избранной ею смерти. То был мир почерневших глазных впадин, крови, застывшей в нижних конечностях, несгибающихся, затвердевших суставов.

Об остальном мы догадались тогда же — хотя узнать наверняка, как развивались события той ночью, не сможем уже никогда. Мы по-прежнему

спорим об этом. Скорее всего, Бонни умерла, когда мы топтались в гостиной, грезя об огнях ночного шоссе. Мэри сунула голову в зев духовки вскоре после этого, уже услыхав, как Бонни выбила из-под себя чемодан. Они приготовились помочь друг дружке, если возникнет необходимость. Возможно, Мэри еще дышала, когда мы осторожно прошагали мимо, направляясь в подвал, и разминулись с нею всего фута на два (без малого; мы измерили это расстояние потом). Тереза, с набитым таблетками желудком, которые она запивала чистым джином, была все равно что мертва к моменту, когда мы появились в доме. Люкс была последней: она умерла минут через двадцать или тридцать после того, как мы его покинули. Спеша прочь с разинутыми в беззвучном крике ртами, мы не задержались у гаража, откуда все еще доносилась музыка. Люкс Лисbon нашли на переднем сиденье. Ее серое лицо хранило покой, а в кулаке была стиснута зажигалка, оставившая на ладони темные пятнышки ожога. Как мы и рассчитывали, Люкс покинула дом Лисбонов в автомобиле. Но, как выяснилось, она расстегнула наши ремни для того лишь, чтобы, задержав нас, позволить себе и сестрам умереть с миром.

## 5

Мы уже знали их теперь. Мы знали, как водит машину тощий, мы помнили его привычку разгоняться в середине квартала, мы знали, как осторожно он выворачивает руль, и без удивления следили за тем, как он, не рассчитав ширину подъездной дорожки, снова заехал на газон Лисбонов. Тонкий визг сирены привычно вспорол нам слух; этот феномен Тереза верно назвала «эффектом Допплера», когда «скорая» приехала в третий раз, — она не могла сообщить это потом, поскольку к моменту четвертого визита неотложки сама оказалась во власти боли, медленно кружившей вокруг нее по спирали, опускавшейся все глубже — такое чувство, словно тебя высасывают через соломинку твоих собственных внутренностей. Мы уже знали, что у толстяка чувствительная кожа, на щеках виднелись следы раздражения после бритья. Металлическая набойка на его каблуке издавала неритмичный стук, когда он шагал по мощеной дорожке (левая нога была чуть короче правой). Мы помнили, что волосы у тощего санитара быстро засаливаются: когда неотложка впервые явилась за Сесилией, его прическа напоминала копну Боба Сигера,<sup>[45]</sup> но спустя всего год лишь жидкие пряди облепили голову, и санитар скорее походил теперь на утонувшую крысу. Мы все еще не знали, как зовут их обоих, но уже начинали интуитивно постигать законы их невеселой работы: запах бинтов и кислородных масок, вкус предшествовавших несчастьям обедов на чьих-то едва шевелящихся губах, а на их собственных лицах — от свет угасания чужой жизни, кровь, брызги мозговой ткани, голубые щеки, вылезающие из орбит глаза и — в нашем квартале — череда безжизненных тел с поблескивающими браслетами на руках и с золотыми медальонами в форме сердечек на шеях.

К моменту своего появления здесь в четвертый раз они уже потеряли веру в свои силы и в то, что нужны тут. Фургон по обыкновению резко затормозил, шины пробуксовали в траве, распахнулись дверцы, но, уже выпрыгивая из кабины, санитары отчего-то утратили храбрый вид и сразу превратились в двух обычновенных мужчин, втянувших головы в плечи в ожидании упреков. «Опять эти двое», — сказал Захария Ларсон, пяти лет. Толстяк бросил на тощего санитара долгий взгляд, и они заспешили к дому, не захватив на этот раз никакого оборудования. Миссис Лисбон с белым лицом отперла им дверь. Не произнеся ни слова, она указала внутрь дома. Когда санитары вошли, она так и осталась стоять в дверях, покрепче затягивая поясок халата. Вслед за чем дважды поправила носком туфли

лежащий перед дверью коврик с надписью «Добро пожаловать». Вскоре, изменившись в лице, потрясенные санитары выбежали снова, чтобы втащить в дом носилки. Спустя всего минуту они уже выносили лежавшую вниз лицом Терезу. Закрутившееся на поясе платье открывало взглядам кусочек несвежего белья. Пуговицы на спине вылезли из петель, чуть оголив спину, цветом схожую с мякотью гриба. Рука Терезы снова и снова падала с носилок, хотя всякий раз миссис Лисбон укладывала ее на место. «Тихо!» — скомандовала она, очевидно, обращаясь к непослушной руке. Но та немедленно свесилась снова. Миссис Лисбон остановилась, ее плечи поникли, и нам показалось, что она готова сдаться. Но уже в следующую секунду она бежала рядом с носилками, цепляясь за руку Терезы и бормоча под нос слова, в которых некоторым послышалось: «Нет, только не ты», — хотя миссис О'Коннор, посещавшая в колледже театральный кружок, услыхала патетическое: «Но столь жестоко!»

К этому времени мы уже лежали в кроватях, притворяясь, будто уснули крепким сном. Снаружи Шериф, готовясь войти в гараж, надел кислородную маску и стал поднимать автоматическую дверь. Когда она замерла, остановившись, изнутри, вопреки всем ожиданиям, не показалось ровным счетом ничего (так говорили очевидцы): ни дыма, увидеть который рассчитывали все собравшиеся, ни даже газа, который заставил бы предметы колебаться, словно мираж на ветру. Семейный автомобиль стоял в гараже, чуть подрагивая, а поскольку Шериф случайно задел еще один рычажок, щетки-«дворники» нервно засуетились на стекле. Толстяк опять вошел в дом; чтобы снять Бонни с потолочной балки, ему пришлось, как настоящему акробату, балансировать на двух стульях, поставленных один на другой. Мэри нашли на кухне, не живую, но и не мертвую — ее голова и плечи прятались в глубине духовки, будто она пыталась ее отчистить и потеряла при этом сознание. Примчался второй фургон неотложки (единственный раз, когда это произошло), доставивший к месту происшествия еще двоих медиков, работавших быстрее и слаженнее, чем Шериф с толстяком. Они успели на кухню и спасли Мэри жизнь. Не надолго. Стоило им стараться.

Строго говоря, Мэри протянула чуть более месяца, хотя у окружающих сложилось иное впечатление. После той ночи люди стали говорить о сестрах Лисбон в прошедшем времени, и если вообще упоминали Мэри, то для того лишь, чтобы втайне посочувствовать ее неудаче. Ей следовало бы поспешить и разом покончить со всем, словно бы говорили они. Признаться, эти самоубийства мало кого удивили. Даже мы, хоть и пытались спасти девушки, в итоге сочли, что наш разум временно

помутился. Задним числом стало казаться, что потертый чемодан Бонни утратил всякую связь с путешествиями и дальней дорогой, став тем, чем был на самом деле: противовесом для веревки, как мешок с песком в старых вестернах. Так или иначе, все сошлись на том, что самоубийства явились закономерным концом для сестер Лисбон, неотвратимым, как смена времен года или подошедшая старость — вот только и теперь еще мы наотрез отказываемся принять расхожее объяснение произошедшему. Последние самоубийства вроде бы подтвердили теорию доктора Хорникера, объяснившего поведение сестер Лисбон последствиями посттравматического расстройства психики, — хотя сам доктор Хорникер впоследствии отказался от собственных выводов. Даже если самоубийство младшей сестры послужило для остальных девушек образцом для подражания, эта теория никак не объясняла причину рокового поступка самой Сесилии. На экстренном заседании «Львиного Клуба»<sup>[46]</sup> доктор Хорникер, которого пригласили выступить с докладом, выдвинул версию биохимического дисбаланса, цитируя новейшее исследование о «статистике закупорки серотониновых рецепторов у склонных к суициду детей и подростков». Доктор Котбаум из Западного института психиатрии установил, что многие суицидально настроенные люди отличаются недостаточным уровнем серотонина — нейромедиатора, необходимого для регулировки настроения. Ввиду того что исследование о серотонине было опубликовано уже после смерти Сесилии, доктор Хорникер не измерял уровень этого вещества в ее организме. Он взял, впрочем, пробу крови у Мэри Лисбон и обнаружил легкое снижение этого показателя. Ее подвергли соответствующему лечению, и по истечении двух недель психологических тестов и интенсивной терапии ее кровь исследовали вновь. На этот раз уровень серотонина был в норме.

Что касается других девушек, то каждое из тел подлежало вскрытию в соответствии с заведенным в нашем штате порядком, требующим тщательного расследования всех самоубийств. В подобных случаях закон, однако, предоставляет полиции полную свободу действий, и то обстоятельство, что тело Сесилии в свое время не вскрыли, заставило многих посчитать, что на сей раз полицейские подозревают мистера и миссис Лисбон в чем-то предосудительном или, как минимум, надеются заставить их уехать. Единственный коронер, прибывший из города в сопровождении двоих усталых ассистентов, вскрыл девушкам черепа и грудные клетки, чтобы разглядеть внутри холодных тел тайну их отчаяния. Ассистенты подкатывали к медэксперту одно тело за другим, а тот привычно орудовал пилой, шлангом и отсасывающим жидкость аппаратом.

Были сделаны фотографии, которые и сейчас еще где-то хранятся; ни у кого из нас не хватило бы духу бросить на них хотя бы взгляд. Впрочем, мы ознакомились с отчетом, составленным коронером в витиеватом репортерском стиле, сделавшем смерть каждой из девушек какой-то нереальной — просто трагическим событием, вскользь упомянутым в выпуске новостей. В нем говорится о невероятной чистоте девичьих тел, самых юных, с которыми эксперту приходилось работать, без единого признака износа или же следов алкоголя. Их гладенькие синие сердца походили на наполненные водой резиновые шары, да и все прочие органы хранили ту же прозрачную чистоту, какую коронер видел лишь на цветных вкладышах в учебниках. У людей постарше или у хронически больных органы обычно теряют форму, раздуваются, меняют цвет, срастаются с другими, совершенно посторонними органами, так что многие внутренности походят, как выразился коронер, «на груду старого грязного хлама». Сестры Лисбон, напротив, были «как музейные экспонаты за стеклом». В любом случае, коронер был расстроен необходимостью резать и кромсать эти безупречные образцы, так что несколько раз его переполняли чувства. В одном месте он нацарапал на полях: «Семнадцать лет такой работенки кого угодно превратят в тряпку». Впрочем, коронер был мастером своего дела: он быстро обнаружил сгусток полупереваренных таблеток в кишечнике Терезы, ущемленный отрезок пищевода Бонни, следы угарного газа в остывшей крови Люкс.

В вечернем выпуске появилась статья мисс Перл, где она первой обратила внимание на знаменательное совпадение дат. Выяснилось, что девушки покончили с собой 16 июня, в годовщину того дня, когда Сесилия вскрыла себе вены отцовской бритвой. Из одного этого факта мисс Перл, рассуждавшая о «мрачных предзнаменованиях» и «зловещих стечениях обстоятельств», сумела многое выжать, одной левой запустив ком сплетен и домыслов, растущий и по сей день. В последующих статьях, подписанных ее именем (в течение двух недель они печатались каждые два-три дня), мисс Перл сменила тон с сочувственного пересказа событий от лица очевидца трагедии на сухую скрупулезность ведущего журналистского расследование репортера — поприще, на котором она так и не преуспела. Рысая по окрестностям в своем синем «понтиаке», она сплетала туман свидетельств в воздухонепроницаемую ткань безошибочных выводов и умозаключений, имевших гораздо меньшее отношение к истине, чем полные прорех наши собственные. Эми Шрафф, старая подруга Сесилии, которую уже тошило от настойчивых расспросов мисс Перл, буквально выплюнула ей в лицо скучное воспоминание о тех

днях, когда ничто еще не предвещало жуткого конца: одним тоскливым вечером Сесилия уложила ее на свою кровать, под шаром со знаками Зодиака. «Закрой глаза и не открывай», — сказала Сесилия. Дверь отворилась, и в комнату вошли ее сестры. Встав у кровати, они опустили ладони на лицо и тело Эми. «С кем бы ты хотела войти в контакт?» — спросила Сесилия. «С бабушкой», — отвечала Эми. На лице ощущалась прохлада неподвижно застывших рук. Кто-то зажег благовония. Где-то лаяла собака. Ничего не произошло.

Из описанного эпизода, говорящего о спиритизме не более убедительно, чем стол Оуджа,<sup>[47]</sup> который задергался бы в кольце игроков в заурядную «Монополию», мисс Перл вывела свое сенсационное заявление: оказывается, трагедия сестер Лисбон была не чем иным, как эзотерическим ритуалом самопожертвования. Ее третья по счету статья, озаглавленная «Сговор с целью самоубийства», обрисовывает в общих чертах теорию, по которой выходило, будто девушки наложили на себя руки точно в соответствии с ходом неких неназванных астрологических событий. Сесилия попросту сыграла свою роль: она первой вышла на сцену, а остальные дождались своей очереди за кулисами. Сцену освещали благовонные свечи. В оркестровой яме затянули свою заупокойную песнь «Круэл Крукс». Зрители держали в руках программку с изображением Девы Марии... Мисс Перл показала себя непревзойденным хореографом. Вот только она так и не сумела внятно объяснить, отчего девушки остановили свой выбор на годовщине предпринятой Сесилией попытки самоубийства, а не дождались дня ее смерти, наступившей примерно через три недели, 9 июля.

Но эта недосказанность уже никого не смущала. Едва разошлась молва о «самоубийствах по примеру», как нашу улицу оккупировали репортеры. Три местных телеканала прислали съемочные группы, которые собирались осветить трагедию Лисбонов в новостях, а вскоре на трейлере приехал даже корреспондент общенационального канала. Он случайно услышал о самоубийствах на стоянке грузовиков где-то в юго-западном углу нашего штата и приехал, чтобы увидеть все собственными глазами. «Вряд ли я буду что-то снимать, — заявил он, впрочем. — Просто хочу осмотреться до прибытия оператора». Тем не менее свой трейлер он припарковал в квартале от места событий, и с тех пор мы время от времени видели, как он отдыхает на покрытом клетчатым пледом складном стуле или готовит гамбургеры на плитке. Невзирая на состояние родителей погибших, местные новости немедленно пустили в эфир репортажи. Именно тогда мы и увидели отснятые месяцы тому назад кадры дома Лисбонов — скат

мокрой крыши и неподвижную парадную дверь, — вслед за чем каждый вечер повторялось краткое резюме, сопровождаемое показом все тех же фотографий: Сесилия, а потом все сестры по очереди на страницах школьного альбома. Репортажи в прямом эфире в те времена еще были в диковинку, так что микрофоны телевизионщиков нередко отключались, а прожекторы внезапно гасли, и корреспонденты произносили свой текст в полной темноте. Зеваки, еще не уставшие от телекамер, соперничали за право сунуть голову в кадр.

Репортеры ежедневно предпринимали попытки взять интервью у мистера и миссис Лисбон, но каждый день терпели поражение. Однако зрители, внимавшие доскональным отчетам с телеэкрана, могли предположить, будто каждый из репортеров самолично побывал в святая святых, в спальнях сестер. Один из корреспондентов продемонстрировал им свадебное платье, такое же старомодное, как и платье Сесилии, и даже мы не сумели бы усмотреть разницу, если б не ровный подол. Другой телевизионщик завершил репортаж, зачитав письмо, посланное Тerezой в приемную комиссию колледжа Брауна. «По иронии судьбы, — отметил он, — письмо отправлено всего за три дня до того, как она положила конец любым мечтам об учебе... или о чем-либо другом». Постепенно репортеры, упоминая о сестрах Лисбон, стали называть каждую по имени и, предоставляя всеобщему вниманию свидетельства очевидцев, отчего-то так и не взяли интервью у патологоанатомов. Подобно нам самим, они словно бы приняли обязательство сохранить память о сестрах Лисбон, и если бы им, к нашему удовлетворению, удалось довести начатую работу до логического конца, нам уже не пришлось бы плутать по темным тропинкам гипотез и воспоминаний. Ибо все реже и реже репортеры задавались вопросом, почему же сестры решили уйти из жизни. Вместо этого они описывали увлечения девушек и награды, полученные ими на школьных олимпиадах. Ванда Браун с 7-го канала раскопала где-то фото, запечатлевшее Люкс в раздельном купальнике у кромки плавательного бассейна; спасатель, перегнувшись в шезлонге, смазывал ее кроличий носик защитным кремом. Ежевечерне репортеры передавали в эфир новую историю или фотографию, но пересказываемые ими подробности не имели ни малейшего отношения к известной нам истине, и спустя какое-то время нам стало казаться, что все эти люди перемывают косточки каким-то чужим, посторонним девушкам, с которыми мы даже не были знакомы. Пит Патилло с 4-го канала говорил о «страстном увлечении Тerezы лошадьми», в то время как мы сами даже не видели Тerezу рядом с лошадью, а Том Томсон, 2-й канал, частенько путал имена сестер. Репортеры передавали

самые дикие слухи под видом проверенных фактов и путали детали действительно имевших место историй (скажем, черное белье Сесилии оказалось надето на восковую куклу, получившую в устах того же Пита Патилло имя Мэри). Сознание того, что весь город, дождавшись выпуска новостей, внимает всей этой чепухе, будто Святому Писанию, угнетало нас пуще прежнего. Ведь мы считали, что посторонние не имели никакого права называть Сесилию «той чокнутой», потому что подобная вольность никак не позволительна тому, кто не был личным свидетелем всего случившегося. Впервые в жизни мы сочувствовали президенту, поняв, насколько превратно то, что с нами происходит, истолковывается теми, чьи суждения заведомо ошибочны. Даже наши собственные родители все чаще и чаще соглашались с телевизионной версией событий, прислушиваясь к глупостям в сообщениях репортеров так, словно те вот-вот собирались пролить свет истины на их собственные судьбы.

После того как обстоятельства той трагедии стали всеобщим достоянием и обсуждались на каждом углу, мистер и миссис Лисбон перестали делать вид, будто живут нормальной жизнью. Миссис Лисбон больше не посещала церковь, и когда отец Муди пришел к ней домой, чтобы утешить ее, никто не отпер ему дверь. «Я звонил и звонил, — рассказывал он, — да все без толку». Пока Мэри лежала в больнице, миссис Лисбон объявила там лишь однажды. Херб Питценбергер как-то раз стал свидетелем тому, как она вышла на заднее крыльцо с кипой исписанных листков. Смяв их и сложив в кучу, миссис Лисбон подожгла рукопись. Мы уже никогда не узнаем, что там было.

Примерно тогда же мистер Лисбон позвонил мисс Кармине д'Анжело с просьбой вновь выставить дом на продажу (ранее он отозвал свою заявку, вскоре после самоубийства Сесилии). Мисс д'Анжело тактично намекнула, что в нынешнем состоянии дом едва ли пригоден для сделки, но у мистера Лисбон был готов ответ: «Понимаю. Его приведут в порядок».

Выяснилось, что речь шла о мистере Хедли, преподавателе английского из нашей школы. Оставшись на лето без дела, он подкатил к дому Лисбонов в своем жуке-«фольксвагене» с наклейкой на бампере, агитировавшей голосовать за проигравшего на недавних президентских выборах кандидата от демократов. Когда же мистер Хедли выбрался из машины, мы разглядели на нем не знакомые нам по школьным занятиям брюки и куртку, а невиданную прежде рубаху-дашки. <sup>[48]</sup> На ногах мистера Хедли красовалась пара сандалий из кожи ящерицы. Волосы его отросли почти до плеч, и он сам двигался с присущей модным художникам ленцой, о которой во время отпусков вспоминают и некоторые учителя,

освобождаясь на лето от школьной дисциплины. Вопреки хипповой внешности предводителя коммуны, он рьяно взялся за работу, за три дня вытащив из дома Лисбонов целую гору ненужного хлама. В то время пока Лисбоны оставались в местном мотеле, мистер Хедли вплотную занялся уборкой: он вынес из дома зимние лыжи, ученические акварели, сумки с одеждой, гимнастический обруч и прочий мусор. Он даже вытащил наружу потертую коричневую софу (чтобы та смогла пройти в дверь, ее пришлось разломать надвое). Он набил мусорные мешки настенными кашпо, просроченными купонами на покупку со скидкой, скопившимися за годы шнурками от изношенной обуви, ключами от давно снятых замков. На наших глазах он отважно бросился разгребать завалы в каждой комнате, по очереди прокладывая себе путь совком для мусора. Уже на третий день, спасаясь от пыли, он нацепил на лицо что-то вроде хирургической маски. Мистер Хедли больше не бросал нам на ходу странные греческие фразы, не интересовался исходом наших бейсбольных поединков, но появлялся каждое утро, сохраняя на лице безысходность человека, вознамерившегося осушить болото при помощи посудной губки. Скатывая ковры и комкая полотенца, он дал волю тут же поплывшему волнами запаху дома Лисбонов, и многие решили, что повязка нужна ему не столько для защиты от пыли, сколько от мертвящего дыхания сестер Лисбон, все еще прятавшегося в складках постельного белья и портьер, в отстающих от стен обоях, в уголках ковров, сохранивших под защитой шкафов и тумбочек свой первозданный вид. Поначалу мистер Хедли ограничился обходом первого этажа, но уже на второй день отважился подняться наверх, в заваленный подушками и одеялами сераль<sup>[49]</sup> спален сестер Лисбон. Он обошел комнаты, по щиколотку утопая в одеждах, неслышно издававших печальную музыку, исполненную тоски по минувшему. Потянув за край принадлежавшего Сесилии непальского шарфа, висевшего у изголовья ее кровати, мистер Хедли услыхал в ответ звяканье потемневших зеленых бубенцов на его бахромчатых концах. Пружины матрасов выпевали жалобные ноты. С подушек осыпалась сухая кожица.

Мистер Хедли опустошил все шесть выдвижных ящиков платяного шкафа наверху, вслед за чем выбросил найденные там сложенные стопками банные полотенца и мочалки, оттуюженные простыни с розовыми и лимонными пятнами, а также покрывала, не раз впитавшие слезы горячих девичьих снов. На верхней полке он нашел и подробно обследовал семейную аптечку: грелку, поверхность которой напоминала на ощупь воспаленную кожу, темно-синюю мензурку с отпечатками пальцев на внутренней поверхности, обувную коробку, полную баночек с мазями от

стригущего лишая и конъюнктивита, кремы для ног — алюминиевые тюбики изжеваны, выжаты, скручены в тугую спираль. Кроме того, мистер Хедли обнаружил детский аспирин с апельсиновым вкусом, который сестры жевали как конфеты, старый термометр в черной пластиковой коробочке (увы, предназначенный для орального применения), а также прочие средства, которые намазывались, вводились внутрь, наклеивались; короче говоря, тут оказался весь мыслимый набор медицинских штуковин, столько лет помогавших миссис Лисбон сохранять дочерей живыми и здоровыми.

Именно тогда в наши руки попали пластинки: «Гранд-Рапидс Госпелерс», Тайрон Литтл с «Беливерс» и все прочие. Каждый вечер, стоило мистеру Хедли уехать (белый налет на волосах ставил его лет на тридцать), мы зарывались в оставленную им у обочины бесценную груду мусора. Надо сказать, нас поразила свобода действий, дарованная мистеру Хедли, поскольку он избавился не только от тех вещей, отсутствие которых легко можно было восполнить (например, от вытертых до серебристых донышек банок с обувной ваксой), но выбросил и семейный фотоальбом, дистиллятор в рабочем состоянии и пергаментную полоску, на которой каждый год сестры отмечали свой рост. Последним, что выкинул мистер Хедли, был пустой корпус телевизора; Джим Кроттер утащил его к себе и обнаружил внутри чучело игуаны, по которому Тереза изучала биологию, — кроме хвоста, ящерице недоставало дверцы на брюшке, прикрывавшей когда-то пронумерованные пластмассовые внутренности. Мы, разумеется, оставили семейные фотографии у себя и, устроив постоянную выставку в штабе на дереве, поделили остаток, бросая жребий. Фотографии были сделаны много лет тому назад, большинство из них были свидетелями счастливейшей в истории семьи Лисбонов эпохи, казалось, целиком состоявшей из нескончаемых пикников на природе. На одном из снимков сестры Лисбон сидят, поджав ноги, на самодельных качелях из переброшенной через полено доски, на другом конце которой будто бы поднимается дым от костра (в момент съемки объектив дернулся). С большим сожалением мы вынуждены объявить, что эта фотография, Экспонат № 47 по нашему списку, недавно исчезла из конверта. Другой излюбленный нами сюжет — серия снимков около тотемного столба, установленного где-то среди аттракционов для туристов. Каждая из сестер выглядывает из специально проделанного отверстия, подставляя свою мордашку вместо лика священного животного.

Так или иначе, вопреки всем этим новым свидетельствам о жизни сестер Лисбон и еще оттого, что в семье у них так резко все изменилось

(новые фотографии в буквальном смысле перестали появляться в альбоме примерно тогда, когда Терезе исполнилось двенадцать лет), мы мало что смогли узнать о девушках такого, чего бы не знали раньше. Казалось, дом был способен бесконечно истограть из своих глубин приметы былых времен в виде непарных тапочек или платьев, распятых на вешалках на манер огородных чучел, — но если бы мы даже попытались отделить зерна от плевел в этом мутном потоке, мы бы так ничего и не поняли. Впрочем, бездна в конце концов иссякла. Через три дня после своего появления в доме мистер Хедли спустился с крыльца (впервые отворив парадную дверь) и поместил рядом с табличкой «Дом продается» другую, поменьше: «Распродажа имущества». В тот же день и в течение двух последующих дней мистер Хедли составил опись, охватившую не только щербатую столовую посуду и тому подобный скарб, но и дорогие вещи, какие пускают с молотка только в случае полного разорения владельцев. На распродаже побывали все, — не надеясь купить что-нибудь, но просто для того, чтобы оказаться внутри дома Лисбонов, совершившего чудесное превращение: в чисто убранных просторных помещениях пахло сосновыми иголками. Мистер Хедли выбросил вон все скатерти и все белье, избавился вообще от всех без исключения вещей, принадлежавших девушкам, от всего, что когда-то сломалось или разбилось. В доме осталась лишь мебель — столы, до блеска отполированные льняным маслом, кухонные табуреты, зеркала, кровати, — причем на каждый предмет была нацеплена аккуратная белая карточка с проставленной на ней ценой. Выписанные четким почерком мистера Хедли цифры не подлежали обсуждению; он не собирался торговаться. Мы обошли весь дом, побывали и наверху, и внизу. Мы благоговейно дотрагивались до кроватей, на которых уже не заснуть сестрам Лисбон, и до зеркал, в которых никогда больше не отразятся их лица. Наши родители не покупали бывшую в употреблении мебель и уж точно не могли взять ничего отмеченного печатью смерти, — но бродили по комнатам вместе с теми, кто пришел, откликнувшись на объявление в газете. В дом Лисбонов заявился бородатый священнослужитель греческой православной церкви в окружении пышнотелых вдов. Каркая как вороны и то и дело поводя носами, вдовы приобрели для свежевыстроенного домика приходского священника кровать под балдахином, принадлежавшую Мэри, ореховый комод Терезы, китайский фонарик Люкс и католическое настенное распятие Сесилии. Появлялись и другие покупатели, понемногу, одну за другой разобравшие все вещи в доме. Разглядывая разложенные на столике мелочи, Миссис Кригер наткнулась на зубную скобку Кайла и, не сумев убедить мистера Хедли в том, что та принадлежит ее сыну,

приобрела ее за три доллара. Последнее, что мы видели, — то, как мужчина с усиками щеточкой загружал купленную им модель парусника в багажник своего «эльдорадо».

Хотя снаружи дом по-прежнему выглядел обветшалым, внутри он обрел былую внушительность, и уже через пару недель мисс д'Анжело ухитрилась продать его молодой паре; эти люди живут в нем и поныне, хотя теперь уже вряд ли могут называться «молодыми». А тогда, впервые в жизни получив возможность распорядиться на собственное усмотрение внушительной суммой, что была у них на руках, они сделали мистеру Лисбону предложение, которое тот принял, невзирая на то что в свое время заплатил куда больше. На тот момент дом был практически пуст, в нем осталось только святилище Сесилии — застывшая на подоконнике сумятица восковых потеков, которой мистер Хедли пренебрег из безотчетного суеверия. Мы решили, что никогда больше не увидим мистера и миссис Лисбон, и уже тогда попробовали не вспоминать о них. Нашим родителям это, похоже, удавалось лучше, и они вернулись к своим партиям в теннис, парусным прогулкам и коктейлям. Самоубийства сестер заставили их пережить умеренный шок — так, словно они предчувствовали, что нечто подобное должно случиться, словно видели все это и раньше. Поправив узел твидового галстука (который он не снимал, даже выходя подровнять траву), мистер Конли провозгласил: «Капитализм принес нам материальные блага, но опустошил духовно». Развивая мысль, он прочел целую лекцию о потребностях человека и о разрушительном действии принципа конкуренции; мистер Конли был единственным убежденным коммунистом, с которым мы были знакомы, но его идеи лишь ненамного расходились с точкой зрения окружающих. Вирус какой-то неведомой болезни, разъедавший самое сердце страны, поразил и сестер Лисбон. Наши родители полагали, что в этом виноваты наша музыка и наше безбожие, да к тому же потеря моральных принципов в вопросах секса, которым мы еще даже и не занимались. Мистер Хедли заметил, что в конце прошлого века Вена пережила подобный всплеск самоубийств среди молодежи, и приписал это трагедии существования в гибнущей империи. Каким-то странным образом все это было связано с тем, что почту перестали доставлять вовремя, что дороги некому было ремонтировать, с кражами в городе, с выступлениями националистов и вакханалией огня в «Ночь дьявола» (тогда подожгли 801 дом). Сестры Лисбон стали символом болезни, которая охватила страну, символом боли, которую эта страна причиняла самым беззащитным своим гражданам. Стремясь как-то исправить положение, группа родителей собрала средства, и в нашей школе

поставили мемориальную скамейку в память о девочках. Изначально скамья должна была увековечить память об одной Сесилии (проект был задуман восемь месяцев назад, после проведения Дня скорби), но новые несчастья послужили основанием тому, чтобы внести в проект необходимые изменения.

Небольшая скамья была изготовлена из дерева, выросшего где-то на Верхнем полуострове. «Девственный лес», — сказал мистер Кригер, специально для этого установивший новый станок на своей фабрике, где выпускались кондиционеры. Медную табличку украсила безыскусная надпись: «*В память о сестрах Лисbon, дочерях этой общины*».

Конечно же, на тот момент Мэри еще была жива, но табличка никак не отмечала этот факт. Последняя из сестер Лисбон покинула больницу всего через несколько дней после того, как скамья заняла свое место. Мэри провела в палате ровно две недели. Доктор Хорникер даже не пригласил ее родителей посетить занятие групповой терапией, зная, что те не явятся. Он предложил Мэри тот же набор психологических тестов, который ранее прошла Сесилия, но не обнаружил признаков каких-либо психических заболеваний вроде шизофрении или маниакально-депрессивного психоза. «Результаты показали, что она относительно свободно устанавливает контакт с окружающими и является уравновешенным подростком. Разумеется, ее будущее не представлялось мне безоблачным. Я рекомендовал ей длительную терапию, которая помогла бы совладать с перенесенной травмой, к тому же нам удалось поднять ее серотонин, и она совсем неплохо выглядела».

Мэри вернулась в пустой дом. Покинув мотель, это временное пристанище, мистер и миссис Лисбон разбили лагерь в своей спальне. Мэри тоже получила спальный мешок. Мистер Лисбон, по понятным причинам сдержанный в описании дней, последовавших за тройным самоубийством, мало что рассказал нам о состоянии Мэри по возвращении домой. Одиннадцать лет назад, когда девочки были совсем малышками, семья въехала в этот самый дом за неделю до прибытия контейнеров с вещами. Тогда им тоже пришлось жить в походных условиях, они спали на полу, дочкам читали сказки на ночь при свете керосиновой лампы, так что, как ни странно, воспоминания о тех временах ожили для мистера Лисбона в последние дни его пребывания в доме. «Порой, среди ночи, я забывал обо всем, что случилось. Я выходил в холл, и на мгновение время поворачивало вспять. Мы только что приехали. Девочки снова спали в палатке, которую мы поставили для них в гостиной...»

Оставшись в одиночестве на исходе тех дней, Мэри лежала в своем

мешке на жестком полу спальни, которую ей уже не с кем было делить. Это был старый фланелевый спальник с охотничьим рисунком: ряд подстреленных уток над красными кепками охотников, из воды выпрыгивает форель с большим крючком во рту. Несмотря на летнюю жару, Мэри так застегивала мешок, что снаружи виднелась лишь ее макушка. Она поздно просыпалась, говорила мало и принимала душ по шесть раз на дню.

С нашей точки зрения, горе Лисбонов было непереносимым, его глубина оставалась за пределами нашего понимания, и нас поражали любые занятия, за которыми мы замечали их на протяжении тех последних дней. Как они могли усадить себя за стол и есть? Или вечером выскользнуть на заднее крыльцо, чтобы насладиться прохладой слабого ветерка? Как смогла миссис Лисбон посреди бела дня выйти, покачиваясь, из дома, пересечь давно не стриженный газон и сорвать цветок львиного зева с клумбы миссис Бейтс? Она поднесла его к носу, осталась, кажется, не удовлетворена ароматом, небрежно сунула цветок в карман, словно использованный носовой платок, и вышла на улицу, щурясь на солнце без очков. Мистер Лисбон тоже каждый вечер, поставив автомобиль в тенек, открывал капот и сосредоточено разглядывал двигатель. «Надо же чем-то себя занять, — был комментарий мистера Юджина. — Что еще остается?»

Впервые за год Мэри прошлась по улице, чтобы попасть на урок вокала к мистеру Джессапу. Они не договорились об этом заранее, но мистер Джессап не смог отказать ей. Он сел за рояль, проиграл две-три гаммы, чтобы Мэри распелась, а затем сунул голову в металлическое мусорное ведро, чтобы показать, как оно резонирует с его натренированным vibrato. Мэри спела песню, которую они с Люкс репетировали в день, когда начались трагедии (это была песня молодых нацистов из фильма «Кабаре»), и мистер Джессап посчитал, что выпавшие на долю Мэри невзгоды придали ее голосу глубину и печаль, не свойственные юности. «Она ушла, не оплатив урока, — добавил он. — То немногое, чем я мог ей помочь».

Лето вошло в самую силу; пролетел целый год с той поры, как Сесилия, вскрыв вены, выпустила в воздух ядовитые пары болезни. Утечка на заводе «Ривер-Руж» подняла в озере уровень фосфатов, настолько уплотнив водоросли у поверхности, что те стопорили гребные винты. Наше чудесное озеро стало походить на пруд со стоячей водой, покрытый волнистым слоем зеленовато-бурой накипи. Рыболовы бросали с берега камни, чтобы пробить там дыру, в которую затем закидывали удочку. Поднимавшийся от воды болотистый запах был ужасен, особенно по

контрасту с элегантными особняками автомобильных промышленников, ярко-зелеными теннисными кортами и праздничными павильонами, выраставшими на берегу всякий раз, когда в каком-нибудь престижном колледже отмечали выпуск. Выпускницы едва сдерживали слезы: кому же приятно появляться в обществе в год, который останется в памяти благодаря, в основном, дурному запаху! О'Конноры, впрочем, гениально вышли из положения, устроив в честь выхода в свет своей дочери Элис тематическую вечеринку «Удушье». Гости явились туда в смокингах и противогазах, в вечерних платьях и шлемах астронавтов, а сам мистер О'Коннор надел водолазный костюм для глубоководных погружений: ему всякий раз приходилось откидывать стеклянную маску, чтобы глотнуть свой бурбон с водой. В разгар вечеринки, когда Элис выкатила к гостям на установке «искусственное легкое», взятое по такому случаю напрокат в больнице имени Генри Форда (мистер О'Коннор входил в совет директоров), стоявший в воздухе запах гниения казался лишь пикантным дополнением к атмосфере общего веселья.

Как и многие другие, мы отправились на прием в честь Элис О'Коннор с единственной целью — поскорее забыть сестер Лисбон. Чернокожие официанты в красных жилетах наполняли нам выпивкой бокалы, не осведомляясь о нашем возрасте, и в свою очередь мы промолчали, увидев, как часа в три утра они загружали в потрепанный «кадиллак» ящики с оставшимся виски. В тот вечер мы поближе узнали девиц, никогда не помышлявших о том, чтобы свести счеты с жизнью. Мы накачали их вином, танцевали с ними до тех пор, пока они не начали валиться с ног, и выводили одну за другой на отгороженную ширмой веранду. Спотыкаясь на высоких каблуках, они теряли свои туфли, потом целовались с нами в темноте влажного вечера и ускользали затем, чтобы в пристойном уединении, в кустах, исторгнуть из себя все съеденное и выпитое. Некоторые из нас придерживали своих спутниц за шею, пока их рвало, а затем протягивали им пиво (прополоскать рот), и поцелуи возобновлялись. Девушки казались нам чудовищами в своих одинаковых платьях, натянутых на проволочные каркасы. На головах у них покачивались пирамиды уложенных волос. Пьянея, целуясь с нами, засыпая на стульях, они спешили навстречу своим судьбам: колледжи, мужья, воспитание детей, смутное предчувствие неудач — иными словами, им предстояло жить.

На исходе вечеринки лица взрослых приобрели малиновый оттенок. Миссис О'Коннор вывалилась из кресла-качалки, и ее широкая юбка на обруче задралась до самой шеи. Мистер О'Коннор заперся в уборной с

одной из подружек собственной дочери. В доме О'Конноров в ту ночь побывала вся округа; здесь распевали песни старых времен под аккомпанемент облысевших музыкантов, бродили по коридорам в задней части дома, слонялись по пыльной детской и пытались прокатиться на давно не работающих лифтах. Поднимая бокалы с шампанским, люди повторяли, что индустрия начинает возрождаться и наша нация, наш образ жизни — вместе с ней. Гости выходили на улицу и брали к озеру по дорожке, размеченной над их головами пунктиром венецианских фонариков. В лунном свете водоросли на поверхности воды казались мохнатым ковром, а само озеро — гигантской гостиной, вырастающей прямо из земли. Кто-то упал в воду, его вытащили, и он лежал теперь на досках причала.

— Ну, с меня хватит, — выдавил со смешком неудачливый утопленник. — Прощай, жестокий мир! — Он вновь попытался соскользнуть в озеро, но его остановили друзья. — Вы не поняли, — хотел он. — Я подросток. У меня проблемы!

— Тише, — усовестил его женский голос. — Тебя могут услышать.

Сквозь тесный островок деревьев можно было различить задний фасад дома Лисбонов, но света в окнах не было, — видимо, к тому времени электричество уже отключили. Мы вернулись туда, где продолжалось веселье. Официанты разносили маленькие серебряные вазочки с зелеными шариками мороженого. На танцевальную площадку был вынесен баллон с устрашающей надписью «Слезоточный газ»; из него струйкой вырывался безобидный дымок. Мистер О'Коннор танцевал с Элис, и все вокруг пили за ее будущее.

Мы продержались до рассвета. Выходя на улицу, в липкие объятия первого похмельного утра в своей жизни (череда сменяющих друг друга пустых белых кадров — находка, за минувшие годы затертая до дыр бездарным режиссером), мы облизывали распухшие губы, пытаясь избавиться от вкуса женских поцелуев. В некотором смысле все мы уже были женаты и разведены, и Том Фахим нашел в кармане брюк любовную записку, забытую парнем, в прошлый раз бравшим напрокат его смокинг. Вылупившаяся за ночь мошьера все еще шевелилась в листве и вокруг фонарей, тротуар чавкал у нас под ногами, словно мы шли по картофельным очисткам. Вдалеке, у дома Лисбонов, стоял фургон неотложки, с лихорадочно мигающим светом на крыше. Включить сирену не посчитали нужным.

Тем утром санитары появились на нашей улице в последний раз. Им казалось, они двигались слишком медленно, и толстяк еще пошутил, что

телевизионщики работают быстрее. К этому времени они столько раз побывали в доме, что даже не постучали, а просто прошли направо (мимо ограды, которой уже не было) и далее, сперва на кухню (газ был выключен), потом в подвал (балка под потолком пуста) и, наконец, наверх. Во второй по счету спальню, в которую они заглянули, они увидели то, за чем сюда явились, — последнюю из сестер Лисбон, в наглухо застегнутом спальном мешке, с полной пачкой таблеток снотворного в желудке.

На Мэри было столько косметики, что санитарам казалось, будто над ней уже поработал визажист погребальной конторы, и это впечатление сохранялось до тех пор, пока они не разглядели, что помада на губах усопшей и тени на веках были чуть-чуть смазаны. В самом конце Мэри испортила свой макияж, видимо, случайно поцарапав лицо. На ней было черное платье и черная вуаль, что напомнило некоторым о вдовьем трауре Жаклин Кеннеди, и в этом был свой смысл: скорбная процессия спускается по парадным ступеням, два санитара выступают в качестве носильщиков в соответствующей случаю униформе, а взрывы праздничных петард, доносящиеся с озера, воскрешают в памяти торжественную строгость похоронной церемонии национального масштаба. Ни мистер, ни миссис Лисбон не вышли вслед носилкам, и это значило, что именно нам, в последний раз, выпало проводить Мэри. В последний раз мы явились на зов и стояли теперь, вытянувшись по стойке «смирно». Вине Фузилли поднял и держал в руке горящую зажигалку, как на рок-концерте. То был лучший Вечный огонь, какой мы только могли придумать.

\* \* \*

Какое-то время мы старались обойтись общепринятым объяснением, расценившим внутреннюю боль сестер Лисбон как явление эпохальное, явившееся из того же источника, откуда хлынул поток и других подростковых самоубийств, и каждая смерть была частью одной общей трагедии. Мы пытались вернуться к прежней жизни, пусть девушки покоятся с миром — но дом Лисбонов был окутан неким призрачным ореолом, заставлявшим нас увидеть (стоило только взглянуть) то язык пламени, разбрасывавший искры по крыше, то чью-то тень в одном из окон второго этажа. Многим из нас часто снились сестры Лисбон, во сне они казались более реальными, чем в жизни, и мы просыпались, веря, что запах духов, принесенный ими из потустороннего мира, впитался в наши подушки. Едва ли не ежедневно мы собирались вновь и вновь, чтобы

пересмотреть добытые с таким трудом свидетельства, прочитать вслух что-нибудь из дневника Сесилии (в то время особой популярностью у нас пользовалось описание Люкс, пробующей воду — не холодна ли? Она стоит на берегу, подняв ногу, похожая на фламинго). В любом случае, мы всегда заканчивали эти чтения с чувством, будто пытаемся убежать в прошлое по тропинке, ведущей в никуда, и с каждым разом все сильнее испытывали горечь разочарования.

Как нарочно в день самоубийства Мэри забастовка кладбищенских работников прекратилась, после того как 409 дней суд разбирал их жалобы. Из-за забастовки морги давно были переполнены, и тела, не дождавшиеся погребения, были отправлены прочь из штата на грузовиках-рефрижераторах или самолетами, в зависимости от материального положения почивших. На крайслеровском шоссе один из этих грузовиков попал в аварию и перевернулся. В тот день первую полосу местной газеты заняло фото, на котором похожие на серебряные слитки металлические гробы выпадали из чрева трейлера. На похороны сестер Лисбон не явился никто, за исключением мистера и миссис Лисбон; кроме них, там были лишь мистер Кэлвин Хонникутт — могильщик, едва успевший вернуться к выполнению своих обязанностей, — и отец Муди. Свободных мест не хватало, и могилы девушек располагались не бок о бок, а были раскиданы по всему кладбищу, так что всем четверым пришлось переходить от одной могилы к другой в замедленном темпе похоронной процесии. Отец Муди признался нам, что они то и дело садились в лимузин и вылезали из него обратно, и это сбило его со счета, вскоре он уже не знал точно, кого отпевает. «Мне пришлось свести надгробные речи к самым общим фразам, — рассказывал он. — В тот день на кладбище было полно народу, сплошная путаница. Хоронили всех усопших более чем за год, и там все было перекопано». Что касается мистера и миссис Лисбон, то последняя трагедия окончательно подавила их волю, и они принимали происходящее с молчаливой покорностью. Рука об руку, они вслед за священником переходили от могилы к могиле и почти не говорили меж собой. Наглотавшаяся успокоительного миссис Лисбон не сводила взгляда с небес, словно выисматривая там птиц. Мистер Хонникутт сказал нам: «К тому времени я отпахал уже семнадцать часов и держался только на „Ноу-доз“.  
[50] В одну смену похоронил больше пятидесяти человек. Все равно, увидав ту леди, я не мог сдержать слез».

Мы видели мистера и миссис Лисбон, когда те вернулись с кладбища. Они оба с достоинством выбрались из лимузина и направились прямо к своему дому, придерживая разросшиеся по обе стороны дорожки кусты,

чтобы попасть на крыльцо. Они шли, стараясь не наступать на черепки шиферной плитки. Мы же впервые за все время заметили сходство между миссис Лисбон и лицами ее дочерей, — хотя это, наверное, можно отнести на счет черной вуали, которая, как говорили, закрывала ей лицо. Сами мы этого не помним, и в нашем представлении эта романтическая деталь возникла позже, как некое преувеличение. В любом случае, в нашей памяти остался образ миссис Лисбон, оглянувшейся назад и показавшей себя, как никогда прежде: она повернулась лицом к тем из нас, кто подсматривал в окно, стоя на коленях в столовой, кто выглядывал из-за тюлевых занавесок и кто потел на чердаке у Питценбергеров, и ко всем остальным, кто высовывался из-за автомобилей на стоянках или из канавок, отмечавших первую, вторую или третью бейсбольную базу, стоял за жаровнями у себя во дворе или взлетал так высоко, как только позволяли качели, — она обернулась, она метнула свой голубой взгляд во все стороны сразу, она сверкнула глазами того же оттенка, что был у сестер Лисбон, — ледяной, и призрачный, и непостижимый, — а затем отвернулась и вслед за мужем вошла в дом.

Поскольку там вовсе не осталось мебели, мы полагали, что Лисбоны не задержатся. Тем не менее прошло уже три часа, а они так и не появились вновь. Стукнув битой, Чейз Бьюэлл забросил мяч во двор к Лисбонам, но вернулся к нам с рассказом о том, что не встретил ни одной живой души. Позже мы пытались повторить этот трюк с мячом, но тот застрял на дереве. Весь остаток дня, до позднего вечера, мы невольно поглядывали на дом Лисбонов, но так и не увидели выходивших из него бывших хозяев. Они покинули город глубокой ночью, и никто не заметил их отъезда, кроме дядюшки Такера. Спустя годы, когда мы говорили с ним, Такер вполне оправился от долгих лет пьянства и был абсолютно трезв, так что, по контрасту, все окружающие, включая нас самих, выглядели рядом с ним изнуренными, как после долгой болезни. Мы поинтересовались, помнит ли он, как уезжали супруги Лисбон, и дядюшка Такер ответил утвердительно: «Я стоял на улице, вышел покурить. Было часа два ночи. Услыхал, как через дорогу открылась дверь, и увидел, что они вышли из дома. Мать выглядела раздавленной, а отец вроде как помогал ей идти. И потом они уехали прочь. Очень быстро. Убрались отсюда ко всем чертям».

Когда мы проснулись на следующее утро, дом Лисбонов стоял пустой. Он казался еще более заброшенным, чем когда-либо, и осел, будто сдулся изнутри, как воздушный шар. Едва молодая пара въехала туда, у нас появилось время для того, чтобы посреди поднявшейся суматохи, пока скоблили и красили стены, перестилали крышу, выкорчевывали кусты и

перекладывали дерн, собрать воедино все наши измышления, ощущения и теории в складную повесть, с которой мы могли бы прожить остаток своих дней. Новые хозяева сняли с фасада окна вместе с рамами (там еще сохранились следы наших ладоней и носов) и вставили раздвижные зеркальные стекла в воздухонепроницаемых оконных пакетах. Бригада рабочих в белых комбинезонах обработала дом специальным аппаратом, выдувающим струю воздуха с песком, и на протяжении последующих двух недель покрыла его толстым слоем белой шпатлевки. Бригадир с именной нашивкой «Майк» на лямке комбинезона объяснил нам, что новый метод, разработанный компанией «Кенитекс», раз и навсегда снимает необходимость перекрашивать дом. «Очень даже скоро всем вокруг придется заняться кенитексингом», — заявил он, поглядывая на рабочих, покрывающих дом белой пастой при помощи пистолетов-распылителей. Когда они закончили, дом Лисбонов превратился в огромный свадебный торт с глазурью, но не прошло и года, как комки кенитекса стали осыпаться со стен, подобно сгусткам птичьего помета. Мы посчитали, что это достойный отпор хозяевам-молодоженам, так целеустремленно взявшимся искоренить все дорогие нашему сердцу следы пребывания в доме сестер Лисбон: в прошлое канули серая шиферная крыша, на которой Люкс занималась любовью, и большая клумба на заднем дворе, где Тереза как-то исследовала почву на содержание свинца (клумбу теперь выложили красным кирпичом, чтобы молодая хозяйка, срывая цветы, не замочила ножек). Комнаты сестер были переоборудованы в соответствии с интересами поселившейся в доме четы: в старой спальне Люкс и Терезы обосновались письменный стол и компьютер, а в бывшей комнате Мэри и Бонни — ткацкий станок. Ванную, в которой некогда плавали наши наяды (Люкс погружалась под воду, выставляя на поверхность соломинку в виде тлеющей сигареты), безжалостно выломали, чтобы освободить место для стеклопластиковой джакузи. На обочине у дороги, куда выставили ванну, мы внимательно осмотрели ее, борясь с желанием забраться внутрь. Детишки, которые прыгали в ней потом, не могли по достоинству оценить это занятие. Молодая пара превратила дом в обиженное, пустое место для медитаций и безмятежного отдыха, цветастыми японскими ширмами прикрыв наши беспорядочные, болезненные воспоминания о сестрах Лисбон.

Изменился не только дом Лисбонов, но и сама улица. Парковая служба продолжала спиливать деревья, удаляя один больной вяз во имя спасения остальных двадцати, затем еще один, чтобы сохранить девятнадцать, — и так далее, пока не остался лишь одинокий обрубок перед старым домом

Лисбонов. Никто не мог спокойно видеть, как эти люди явились за ним (Тим Вайнер уподобил ствол последнему жителю острова Мэн, говорившему на коренном диалекте), но электрическая пила расправилась и с ним — во имя спасения других деревьев, на других улицах. Во время казни вяза Лисбонов все попрятались в своих домах, но даже в собственных берлогах мы кожей чувствовали слепящий свет, воцарившийся снаружи; весь наш квартал в тот день превратился в передержанную фотографию. Со временем нам суждено было узнать подлинную пустоту округи: все здесь было четко привязано к координатной сетке улиц, чье унылое однообразие до поры скрывали деревья, а старые уловки в виде разных архитектурных стилей утратили свою власть над нами и больше не давали чувства исключительности. Стиль династии Тюдоров (дом Кригеров), французский колониальный (дом Бьюэллов), подражание Фрэнку Ллойду Райту<sup>[51]</sup> (дом Баков) — все они были одно: всего-навсего крыши, одинаково обожженные солнцем.

Прошло совсем немного времени, и ФБР арестовало Сэмми-Акулу Балдино, который не успел воспользоваться своим подземным ходом и, после долгих судебных разбирательств, отправился в тюрьму. По слухам, он и из-за решетки умудрялся проворачивать преступные махинации, так что семейство Балдино продолжало жить в своем доме, хотя люди в пулепробиваемых лимузинах прекратили подъезжать к нему по воскресеньям с тем, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Оставшись без ножниц садовника, лавры разрослись, сразу утратив былую гармоничность. Ужас, который наводило семейство Балдино на горожан, день за днем улетучивался, и однажды кто-то набрался достаточно храбрости, чтобы обезобразить каменных львов у парадной лестницы их усадьбы. Пол Балдино стал похож на прочих толстых мальчишек с тенями вокруг глаз, а однажды он поскользнулся (или его толкнули) в школьном душе; мы своими глазами видели, как он лежал на кафеле, баюкая пострадавшую ногу. Вскоре обвинения были предъявлены и другим членам семьи, так что в итоге Балдино тоже уехали, загрузив картины эпохи Ренессанса и три бильярдных стола в три огромных грузовика. Пожелавший остататься неизвестным миллионер купил их дом. И надставил забор, подняв его еще на фут.

Все, с кем мы только ни говорили, в один голос связывают упадок в наших местах с самоубийством сестер Лисбон. Хотя поначалу большинство жителей порицали этот шаг, постепенно море повернуло вспять, и ныне девушек считают чуть ли не провидицами. Все дальше и дальше уходили тайные причины, вынудившие сестер покончить с собой, их стрессы,

неуравновешенность и «недостаточность нейромедиатора» — вместо всего этого люди стали приписывать смерть девушек их дару предвидения, их способности предсказать грядущие перемены. Их ясновидение сквозило везде — спиленные вязы, безжалостный солнечный свет, от которого негде стало скрыться, упадок автомобильной промышленности. Впрочем, это изменение в общем образе мыслей прошло, в основном, незамеченным, потому что мы стали встречаться куда реже. Без деревьев уже не было нужды убирать со дворов листья, чтобы сгрести их в одну кучу и сжечь в торжественном обряде очищения. Да и зимой снег уже не валил, как бывало. У нас не стало сестер Лисbon, за которыми мы могли бы подглядывать. Но, разумеется, медленно приближаясь к исполненному грусти закату жизни (место, куда сестры Лисbon, как нам постепенно стало казаться, предпочли не попадать), мы то и дело замирали, чаще в одиночестве, пристально вглядываясь в выбеленную гробницу их бывшего дома.

Сестры Лисbon познакомили нас с самоубийством. Позднее, когда наши друзья решали расстаться с жизнью — порой взяв почитать книгу у кого-то из нас всего за день до катастрофы, — мы всегда представляли, как они снимают тяжелые башмаки и уходят в пропасть окутанного знакомыми тенями семейного коттеджа на холме у берега моря. Каждый из них умел прочесть греческие письмена страданий, начертанные в облаках старой миссис Карафилис. Бродя по иным улицам, оглядываясь вокруг глазами другого цвета, чуть иначе вскидывая голову, они наконец расшифровали для себя тайну трусости или мужества, что бы это ни было. И сестры Лисbon всегда ждали их в том коттедже. Они покончили с собой, скорбя о наших лесах, которые безжалостно истребляли, о разрубленных гребными винтами ламантинах, погибающих в грязной воде; они убили себя, устав смотреть на горы использованных покрышек, поднимавшихся выше пирамид; они оборвали свои жизни, не сумев отыскать любовь, которую мы были бессильны им даровать. В итоге все нестерпимые муки, разрывавшие сестер Лисbon на части, сводились к простому взвешенному отказу принять тот мир, который им пытались всучить, — мир, погрязший в пороках.

Но это пришло позднее. Сразу вслед за самоубийствами, пока наш пригород купался в лучах мимолетной дурной славы, упоминать сестер Лисbon в разговоре стало дурным тоном, это была запретная тема, почти табу. «Говорить о них было все равно что перетряхивать грязное белье, — вспоминала миссис Юджин. — И шумиха в либеральной прессе ничуть не помогала. Спасите сестер Лисbon! Спасите редких цапель! Кусок деръма».

Семьи покидали свои дома или разъезжались кто куда, каждый пытался подыскать себе другое местечко в солнечных штатах, и какое-то время казалось, будто сестры Лисbon завещали нам лишь одно — убраться отсюда куда глаза глядят. Бросив город в надежде избавиться от запаха гниения, мы покинули и зеленые берега этого кусочка земли, окруженного водою, который французские первооткрыватели назвали «Жирным концом», благодаря грязной шутке трехсотлетней давности, которую так никто и не понял с тех пор. Исход, впрочем, длился недолго. Один за другим, люди возвращались из временного изгнания, постепенно собрав воедино тот нескладный архив памяти, из которого мы почерпнули материал для расследования. Два года назад последний большой автомобильный завод в наших краях был уничтожен, чтобы профинансировать создание дочерней фирмы. Итальянский мрамор, выстилавший фойе (редкого розового оттенка, его добывали в одной-единственной каменоломне на целом свете), был распилен на блоки и продан с молотка, как и позолоченная арматура и потолочные фрески. С исчезновением последних вязов в городе остались лишь жалкие саженцы, пришедшие им на смену. И мы. Нам больше не позволено жарить мясо во дворах (это запрещено законодательным актом, взявшим под контроль загрязнение воздуха в городах), но даже если бы мы продолжали собираться у жаровен, то целью этих встреч — кто знает, по крайней мере, хоть кто-то из нас точно приходил бы именно за этим, — стали бы воспоминания о доме Лисбонов и о сестрах, чьи запутавшиеся в зубьях расчесок волосы мы бережем до сих пор, они все больше походят теперь на искусственный мех животных за стеклами витрин в историческом музее. Так будет и с прочими реликвиями, Экспонатами от № 1 до № 97, что спрятаны в пяти чемоданах с наклеенными сверху, подобно коптским погребальным маскам, фотографиями покойниц. Эти чемоданы все еще хранятся в перестроенном штабе на ветвях одного из последних наших деревьев: № 1 — снимок, сделанный «поляроидом» мисс д'Анжело, — он покрыт похожим на лишайник зеленоватым налетом; № 18 — старая косметичка Мэри с высохшей помадой и бежевой пылью румян; № 32 — парусиновые кеды Сесилии, желтеющие без зубной пасты и моющего средства; № 57 — обетные свечи Бонни, — по ночам их норовят обгрызть мыши; № 62 — слайды Терезы, демонстрирующие прирост бактерий в питательной среде; № 81 — бюстгалтер Люкс (Питер Сиссен стянул его с распятия, теперь мы можем в этом признаться). С каждым годом наши сокровища кажутся все более нелепыми и никчемными, как бабушкины наряды. В щели нашей гробницы просочился воздух, и священные для нас

предметы медленно приходят в негодность.

В конце концов в руках у нас оказались звенья головоломки, но в каком бы порядке мы ни пытались сложить их вместе, в общей картинке зияют дыры, остаются темные пятна — как неизведанные страны на карте, назвать которые мы не можем. «Любую мудрость венчает парадокс», — сказал нам мистер Бьюэлл в самом конце нашей последней с ним беседы, и мы поняли, что он советует забыть о сестрах Лисbon, оставить их в дланях Господней. Мы твердо знали: Сесилия совершила самоубийство, потому что не сумела приспособиться к жизни вокруг нее, потому что потусторонний мир звал ее к себе. Мы знали, что ее сестры, оставшись одни, тоже услышали этот зов. Но даже понимая это, мы ощущали комок в горле, поскольку это была одновременно и правда, и ложь. Столько было написано о сестрах Лисbon в газетах, столько разных слов переброшено через заборы, столько признаний сделано в кабинетах психотерапевтов, что теперь мы уверены только в одном: нам недостает проверенных сведений, чтобы сделать выводы. Наши объяснения ничегошеньки не объясняют. Мистер Юджин рассказал нам, что ученые, стоящие на грани открытия «ущербных генов», вызывающих рак, депрессию и прочие болезни, возможно, вскоре смогут найти еще и ген суицида. В отличие от мистера Хедли, он не считал самоубийства сестер Лисbon ответом на большие и маленькие трагедии нашего времени. «Какого черта! — воскликнул он. — Какие могут быть заботы у современных детей? Если им хочется трудностей, пусть отправляются куда-нибудь в Бангладеш».

«Причиной суицида явилась комбинация множества взаимодополняющих факторов», — написал в своем последнем отчете доктор Хорникер. Он составлял эти отчеты, исходя не из какой-то профессиональной необходимости, но просто потому, что не мог забыть о сестрах Лисbon. «Для большинства людей, — писал он, — самоубийство подобно игре в „русскую рулетку“. В барабане револьвера крутится только одна пуля. С сестрами Лисbon все иначе. Их револьвер был заряжен полностью. Одна пуля — давление в семье. Другая пуля — генетическая предрасположенность. Еще пуля — неблагоприятный исторический момент. Еще одна — неумолимый рок, тянувшая их вперед инерция. Назвать две другие причины сейчас уже невозможно, но это вовсе не значит, что отверстия в барабане были пусты».

Все эти домыслы — не что иное, как попытка догнать ветер. За трагедией самоубийства скрывается, в действительности, не отчаяние или непостижимая тайна, а простой эгоизм. Девушки взяли на себя решение, которое лучше было предоставить Господу Богу. Закалившись в своих

горестях, они стали чересчур сильны, чтобы жить среди нас, слишком замкнулись в себе, слишком напрягали глаза, пытаясь постичь свои призрачные видения, чтобы разглядеть реальный мир. Уйдя, они оставили за собой не жизнь, которая так или иначе преодолевает смерть, а просто незатейливый ряд обыденных фактов: тиканье настенных часов, полуценный полумрак в комнате и беспощадность юной девушки, думающей только о себе. Мозг ее, оставаясь равнодушным созерцателем, не принимает многообразия окружающей жизни, но лихорадочно вспыхивает в отдельных критических точках, вновь и вновь переживая полученные обиды и хороня потерянные мечты. Все, кого она любила прежде, отдаляются, словно уплывая во тьму на большой льдине, превращаются в черные точки и машут крошечными ручками, но они слишком далеко, чтобы можно было расслышать их голоса. И тогда веревка обвивает потолочную балку, кучка таблеток ложится на ладонь с длинной, лживой линией жизни посредине, распахивается окно, включается газ в духовке — что угодно. Сестры Лисbon заразили нас своим безумием, ибо мы не могли удержаться от того, чтобы не вспомнить вновь каждый их шаг, пережить каждую их мысль, от того, чтобы убедиться наконец: ни шаги эти, ни мысли не вели к нам, стоявшим так близко. Мы не могли вообразить себе пустоту в душе живого существа, поднесшего к венам бритву и полоснувшего по ним, всю ее пустоту и спокойствие. Нам пришлось выпачкать свои лица прахом их следов, грязной жижей луж на полу, пылью, поднятой рухнувшим из-под ног чемоданом. Нам пришлось по самое горло вдыхать затхлый воздух тех комнат, в которых они убили себя. В конце концов, важно уже не то, сколько им было лет, и не то, что они были красивыми девчонками, — только одно преследует нас теперь: мы любили их, а они не услышали нашего зова. Они и сейчас не слышат его, здесь, в покосившихся стенах детского штаба, когда мы, с поредевшими волосами и круглыми животами, зовем их вернуться к нам из той пустоты, куда они ушли, чтобы навеки остаться наедине с самими собой и навсегда пропасть в одиночестве самоубийства. Это одиночество страшнее самой смерти, и нам уже никогда не найти в его бездонной глубине недостающих звеньев головоломки, которую мы так и не сумели сложить.

---

notes

## **Примечания**

# 1

Уайт Берри Стапп Эрп (1848–1929) — легендарный авантюрист и полисмен, чьи похождения как солдата, ковбоя, шерифа, беглого убийцы, золотоискателя впоследствии вдохновили авторов множества книг и создателей фильмов в жанре «вестерн». На сохранившихся фотографиях Эрп носит длинные, густые усы, «как у Буденного», только с загнутыми вниз концами. (Здесь и далее — примеч. пер.)

## 2

«Субмарины» — популярный в США «сложный» бутерброд с мясом, сыром, помидорами и т. д.

# 3

Лига Плюща — собирательное название старейших учебных заведений Новой Англии, поступление в которые считается своеобразным пропуском в интеллектуальную элиту США.

# 4

Строки из поэмы «Песня о себе» (1855), пер. К. Чуковского.

# 5

Автор имеет в виду знаменитую скульптурную группу Ф. Д. Уэлдона «Водружение флага на Иводзиме» (1954), центральную часть военного мемориала морской пехоты в пригороде Вашингтона Арлингтоне, штат Виргиния.

# 6

Речь идет о пластинке «Abbey Road» (1969), выпущенной рок-группой «Битлз». С дизайном ее конверта связан широко бытовавший миф о хранящейся в тайне смерти участника группы Пола Маккартни, якобы замененного впоследствии двойником. Сторонники этой теории и теперь уверяют, что настоящий Пол скончался, пока записывалась пластинка, а оформление конверта явилось шифрованным сообщением, ребусом, сообщившим поклонникам группы прискорбную правду.

## 7

Т. н. «геодезический стиль» был привнесен в американскую архитектуру Ричардом Б. Фуллером (1895–1983): в его зданиях легкие, ажурные конструкции полусферической формы собраны из стандартных элементов-ячеек, треугольных или шестиугольных.

## 8

Куб Сома — трехмерная пространственная головоломка, изобретенная в 1936 году датским поэтом и математиком Пиетом Хейном; обрела недолгую популярность в Соединенных Штатах после ее массового выпуска «братьями Паркер» в 1969 году. Состоит из семи деталей разной формы, образующих вместе правильный куб, но способных составить и массу других фигур.

# 9

Пиноколада — сладкий слабоалкогольный напиток на основе кокосового и ананасового соков с добавлением джина.

# 10

Амилнитрит — эфир азотистой кислоты, легкоподвижная желтоватая жидкость с фруктовым запахом; сосудорасширяющее средство, противоядие при отравлении синильной кислотой. Вдыхание амилнитрита через нос создает эффект усиления ощущений при оргазме.

# 11

«Асти-спуманте» — известная марка итальянских вин (по названию города Асти), в большинстве своем белых игристых, полусладких или сладких; по популярности уступает лишь кьянти.

## 12

«Монтичелло» — усадьба Томаса Джейфтерсона, третьего президента Соединенных Штатов Америки, выстроенная по его чертежам в 1768–1808 гг. Расположена в предместье Шарлоттесвилля, штат Виргиния. Выдающийся пример римского неоклассицизма.

# 13

Марсель Марсо (р. 1923) — знаменитый французский актер, мастер пантомимы.

## **14**

«Говорящее имя»: Дью (dew) — утренняя роса; Хоупвелл (hopewell) — надежда на лучшее (англ.).

**15**

Эспадрильи — сандалии на веревочной подошве.

# **16**

Тревис Уильяме и Вилли Хортон — знаменитые в 70-е гг. темнокожие бейсболисты.

Симона Вейль (1909–1943) — французская писательница и философ, обратившаяся в католичество после испытанного ею в 1938 году переживания мистического характера. Ее позднейшие эссе оправдывают политическую пассивность.

## **18**

Фовизм — особое направление живописи, к которому, в частности, принадлежал и Матисс.

## 19

«Женский портрет» (1881) — роман, принесший славу жившему в США английскому писателю Генри Джеймсу (1843–1916). Затронул тему воздействия утонченной европейской культуры на простодушных американцев.

## 20

Кристина Росетти (1830–1894) — английская поэтесса, сестра художника и поэта Данте Габриэля Росетти, основателя «Братства прерафаэлитов».

**21**

День скорби (лат.).

**22**

Аманиты — религиозная секта, одна из ветвей американского менонитизма; последователи епископа Аммана (XVII в.).

## **23**

UAW (сокр. от United Auto Workers) — Союз работников автотранспорта, профсоюзная организация работников сферы автоперевозок в США; имеет отделения в каждом штате.

## 24

Одри Хепберн-Раштон (1929–1993) — британская киноактриса, часто исполнявшая роли наивных, по-детски простодушных героинь. Появившись в Голливуде в конце 50-х гг., именно она ввела в моду миниатюрность и стройность, по контрасту с внушительными формами прежних эталонов женской красоты.

**25**

«Верующие» (англ.).

**26**

«Проповедники из Гранд-Рапидс» (англ.).

«Мотаун» — изначально название американской компании звукозаписи, выпускавшей пластинки в стиле «соул», в подавляющем большинстве записанные чернокожими исполнителями. К началу восьмидесятых (позднее описываемых событий) приобрело более широкое нарицательное значение, выражающее стилистические особенности определенной ветви поп-музыки.

## **28**

«Двенадцать ступеней» — традиционное название брошюры с определенным набором советов для людей, желающих избавиться от той или иной вредной привычки. Эти издания раздаются бесплатно на занятиях групп «Анонимных алкоголиков» и т. п.

## 29

Бидермайер (нем.) — историко-художественный стиль, сложившийся в 1815–1848 гг. в Германии и Австрии; прослеживается в живописи, графике, оформлении интерьеров, мебели, росписи фарфора и стекла.

**30**

Чиппендейл (англ.) — стиль английской мебели XVIII в.

# 31

Суккуб (араб., миф.) — демон в женском образе, посещающий по ночам спящих мужчин для совокупления.

**32**

«В кругу семьи» (англ.), популярный журнал.

## 33

«Кубок Розы» — ежегодная встреча двух лучших бейсбольных команд американских колледжей, чемпионов Восточного и Западного побережий США. Проводится с 1922 года как основное спортивное мероприятие в рамках «Розового турнира» — конкурса садоводов, флористов и декораторов, впервые состоявшегося в Пасадене, штат Калифорния (1890 г.), по инициативе местного охотниччьего клуба.

## 34

«УМ» (U. o/M.) — широко распространенное разговорное сокращение от официального названия Мичиганского университета (The University of Michigan), обозначает не только само заведение, но и его выпускников; в начале 70-х гг. бейсбольная команда этого университета неоднократно завоевывала право выступать на «Кубке Розы».

## 35

Розеттский камень — постановление в честь фараона Птолемея V (196 г. до н. э.), выбитое на куске базальта. Найден французскими солдатами близ города Розетты в 1799 г. Содержит текст на двух языках (египетский, греческий), составленный тремя системами письма (иероглифическая, демотическая, греческая), что послужило отправным пунктом к расшифровке древнеегипетских иероглифов Шампольоном(1822 г.).

## 36

«Техниколор» — компания, обладавшая патентом на распространенную в 30-х — 60-х гг. XX века одноименную систему передачи цвета в кино- и фотопроцессе. Система подразумевала съемку трех фильмов (разного оттенка: зелено-голубой, пурпурный и желтый) через один набор линз, и последующее наложение всех трех слоев на пленку с желатиновой подложкой, что позволяло передать все цвета радуги, и даже больше. Постепенно данный способ цветопередачи был замещен другими системами и окончательно вышел из употребления в начале 1970-х гг.

**37**

«Жестокий крест» (англ.).

## **38**

Соль лития (литиум) — средство, широко используемое для лечения психозов и депрессивных состояний.

## 39

Мэри Рено (1905–1983) — английская писательница, автор прославленных исторических романов об эллинистическом мире, мастерски использующих в том числе сюжеты древнегреческой мифологии.

## 40

Билли Джек — главный персонаж одноименного фильма (режиссер и исполнитель главной роли — Том Лафлин), снятого в 1971 году. Великолепный каратист и бывший «зеленый берет», Билли Джек отстаивает справедливость в отношениях современного общества с индейцами, детьми-сиротами и лошадьми, пропагандируя жизнь в гармонии с природой.

## **41**

Существует поверье, что если маленькие дети оставят под подушкой свой выпавший зубик, то Фея молочных зубов взамен этого принесет им какой-нибудь подарок или монетку.

## 42

«Tea for the TiUerman» (1970) — классическая пластинка американского исполнителя софт-рока Кэта Стивенса, признанная критиками одной из лучших записанных им работ. Представляет собой подборку положенных на музыку и стихи детских сказок и легенд.

## 43

Арт Гарфандел (р. 1941) — участник рок-дуэта «Саймон энд Гарфандел», в 1970 году выпустившего альбом «Bridge Over Troubled Water» («Мост над бурными водами»). Одноименная песня открывает этот альбом, тогда как дорожка под названием «Сесилия» («Cecilia») следует за ней третьей по счету. Обе входят в число наиболее популярных композиций дуэта.

## **44**

Пиньята (исп.) — приз в детской игре, лежащий в подвешенном глиняном горшке, который должен найти и разбить ребенок с завязанными глазами.

## 45

Боб Сигер (р. 1945) — певец, музыкант, автор песен; в составе группы Bob Seger System добился крупного успеха с альбомом «Mongrel» (1970), выдержаным в стилистике раннего хард-рока. В 1971 году распустил группу и занялся сольной карьерой.

«Львиный Клуб» — единая сеть одноименных элитарных клубов, созданная в 1917 г. в Чикаго для объединения усилий бизнесменов, политиков и влиятельных граждан в решении конкретных проблем отдельных сообществ и нации в целом. В основу всей сети лег принцип: «Ни один из клубов, входящих в данный союз, не может ставить целью финансовое процветание своих членов», провозгласивший тем самым основной задачей объединения бескорыстную помочь тем, кто в ней нуждается.

**47**

Стол Оуджа — приспособление для занятий спиритизмом; включает алфавит и указатель на сдвижной доске и позволяет прочитывать сообщения из загробного мира.

## **48**

Дашики — мужская рубашка «в африканском стиле», с круглым горловым вырезом и короткими рукавами.

**49**

Сераль — на Востоке женская половина дома или дворца, закрытая для доступа мужчин.

**50**

«Ноу-доз» — популярная в США марка тонизирующего средства.

## 51

Фрэнк Ллойд Райт (1869–1959) — американский архитектор, противопоставивший неоклассицизму понятие «органичности» в архитектуре; в его представлении каждое строение должно как можно яснее отражать естественный ландшафт, в котором находится. Среди классических работ Райта — усадьба «Падающая вода» (1936) близ Питтсбурга, выстроенная над водопадом.